

175928

ЗНАМЯ

1942г.

№ 11.

XXV ГОДОВЩИНА ВЕЛИКОЙ ОКТЯБРЬСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

Доклад Председателя Государственного Комитета Оборонны товарища И. В. СТАЛИНА

на торжественном заседании Московского Совета депутатов трудящихся с партийными и общественными организациями г. Москвы
6 ноября 1934 года

Т о в а р и щ и !

Сегодня мы празднуем 25-летие победы Октябрьской революции в нашей стране. Прошло 25 лет с того времени, как установлен у нас Советский строй. Мы отмечаем этот день на пороге следующего, 26-го года существования Советского строя.

На торжественных заседаниях в годовщины обычно принято подводить итоги работы за истекший год. Мне поручено подвести итоги работы за истекший год — за 1934-й год.

Деятельность наших государственных и партийных органов протекала за этот год в двух направлениях: в направлении мобилизации сил для нашего строительства, — с одной стороны, и в наступательных операциях Красной Армии — с другой стороны.

О РАЗВИТИИ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ РАБОТЫ В ТЕЧЕНИЕ ГОДА

Важнейшая работа наших руководящих органов выразилась за этот период в мобилировании промышленности как военной, так и гражданской промышленности, в эвакуации и устройстве на новые места рабочих и оборудования предприятий, в расширении посевных площадей, наконец, в коренном улучшении работы наших предприятий, рабочих и колхозов и совхозов. Нужно отметить, что это была труднейшая и сложнейшая организаторская работа большого штаба всех наших хозяйственных и административных наркоматов, в том числе и нашего железнодорожного наркомата. Однако трудности удалось преодолеть. И теперь на наших заводах, колхозах и совхозах, работа от бесперебойно идет. Мы все же не должны забывать о тех трудностях, с которыми предстоит бороться нашим предприятиям, рабочим и колхозам. Наши колхозы и совхозы так же нуждаются в помощи Красной Армии и Красной Армии. Нужно признать, что наша страна когда-то еще не имела такого крепкого и организованного

В результате всей этой сложной организаторской и строительной работы преобразились не только наша страна, но и сами люди в тылу. Люди стали более подтянутыми, менее расхлябанными, более дисциплинированными, научились работать по-военному, стали сознавать свой долг перед Родиной и перед ее защитниками на фронте — перед Красной Армией. Рогозев и разгильдяев. лишенных чувства гражданского долга, становится в тылу все меньше и меньше. Организованных и дисциплинированных людей, исполненных чувства гражданского долга, становится все больше и больше.

По истекший год является, как я уже говорил, не только годом мирного строительства. Он является вместе с тем годом Отечественной войны с немецкими захватчиками, подло и вероломно напавшими на нашу миролюбивую страну.

2. ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ НА СОВЕТСКО-НЕМЕЦКОМ ФРОНТЕ

Что касается военной деятельности наших руководящих органов за истекший год, то она выразилась в обеспечении наступательных и оборонительных операций Красной Армии против немецко-фашистских войск. Военные действия на советско-немецком фронте за истекший год можно разбить на два периода: первый период — это по преимуществу зимний период, когда Красная Армия отбив атаку немцев на Москву, взяла инициативу в свои руки, перешла в наступление, погнала немецкие войска и в течение 4-х месяцев прошла местами более 400 километров, и второй период — это летний период, когда немецко-фашистские войска, пользуясь отсутствием второго фронта в Европе, собрали все свои свободные резервы, прорвали фронт в юго-западном направлении и взяв в свои руки инициативу, прошли местами в течение 5 месяцев до 500 километров.

Военные действия в течение первого периода, особенно же успешные действия Красной Армии в районе Ростова, Тулы, Калуги, под Москвой, под Тивном и Ленинградом — вскрыли два знаменательных факта. Они показали, во-первых, что Красная Армия и ее боевые кадры выросли в серьезную силу, способную не только устоять против напора немецко-фашистских войск, но и разбить их в открытом бою и погнать их назад. Они показали, во-вторых, что немецко-фашистские войска при всей их стойкости имеют такие серьезные организационные недостатки, которые при некоторых благоприятных условиях для Красной Армии могут привести к поражению немецких войск. Нельзя считать случайностью тот факт, что немецкие войска, прошедшие триумфальным маршем всю Европу и сразившие одним ударом французские войска, считавшиеся первоклассными войсками, встретили действительный военный отпор только в нашей стране, и не только отпор, но оказались вынужденными под ударом Красной Армии отступить от занятых позиций более чем на 400 километров, бросая по пути отступления колоссальное количество орудий, машин, боеприпасов. Одним зимними условиями войны никак нельзя объяснить этот факт.

Второй период военных действий на советско-немецком фронте отмечается переломом в пользу немцев, переходом инициативы в руки немцев, прорывом нашего фронта на юго-западном направлении, продвижением немецких войск вперед и выходом в районы Воронежа, Сталинграда, Новороссийска, Пятигорска, Моздока. Воспользовавшись отсутствием второго фронта в Европе, немцы и их союзники бросили на фронт все свои свободные резервы и, нацелив их в одном направлении, на юго-западном направлении, создали здесь большой перевес сил и добились значительного тактического успеха.

Невидимому немцы уже не столь сильны, чтобы повести одновременно наступление по всем трем направлениям, на юг, на север, на центр, как это имело место в первые месяцы немецкого наступления летом прошлого года, но эти еще достаточно сильны для того, чтобы организовать серьезное наступление на каком-либо одном направлении.

Какую главную цель преследовали немецко-фашистские стратеги, открывая свое летнее наступление на нашем фронте? Если судить по откликам иностранной печати, в том числе и немецкой, то можно подумать, что главная цель наступления состояла в занятии нефтяных районов Грозного и Баку. Но факты решительно опровергают такое предположение. Факты говорят, что продвижение немцев в сторону нефтяных районов СССР является не главной, а вспомогательной целью.

В том же, в таком случае, состояла главная цель немецкого наступления? Она состояла в том, чтобы обойти Москву с востока, отрезать ее от волжского и уральского тыла и потом ударить по Москве. Продвижение немцев на юг в сторону нефтяных районов имело своей вспомогательной целью не только и не столько занятие нефтяных районов, сколько отвлечение наших главных резервов на юг и ослабление Московского фронта, чтобы тем легче добиться успеха при ударе по Москве. Этим собственно и объясняется, что главная группировка немецких войск находится теперь не на юге, а в районе Орла и Сталинграда.

Независимо в руки наших людей попал один немецкий офицер германского генштаба. У этого офицера наши люди нашли карту с обозначением плана продвижения немецких войск по срокам. Из этого документа видно, что немцы намеревались быть в Борнеоглебске 10 июля этого года, в Сталинграде — 25 июля, в Саратове — 10 августа, в Руйбышеве — 15 августа, в Арзамасе — 10 сентября, в Баку — 25 сентября.

Этот документ полностью подтверждает наши данные о том, что главная цель летнего наступления немцев состояла в обходе Москвы с востока и в ударе по Москве, тогда как продвижение на юг имело своей целью, помимо всего прочего, отвлечение наших резервов подальше от Москвы и ослабление Московского фронта, чтобы тем легче было провести удар по Москве.

Короче говоря, главная цель летнего наступления немцев состояла в том, чтобы окружить Москву и кончить войну в этом году.

В ноябре прошлого года немцы рассчитывали ударом в лоб по Москве взять Москву, заставить Красную Армию капитулировать и тем добиться окончания войны на Востоке. Этими иллюзиями кормили они своих солдат. Но эти расчеты немцев, как известно, не оправдались. Обожгшись в прошлом году на лобовом ударе по Москве, немцы вснамерялись взять Москву в этом году уже обходным движением и тем кончить войну на Востоке. Этими иллюзиями кормят они теперь своих одураченных солдат. Как известно, эти расчеты немцев также не оправдались. В результате, погнавшись за двумя зайцами — и за нефтью, и за окружением Москвы, — немецко-фашистские стратеги оказались в затруднительном положении.

Таким образом, тактические успехи летнего наступления немцев оказались незавершенными ввиду явной переальности их стратегических планов.

3. ВОПРОС О ВТОРОМ ФРОНТЕ В ЕВРОПЕ

Чем объяснить тот факт, что немцам все же удалось в этом году взять в свои руки инициативу военных действий и одержать серьезные тактические успехи на нашем фронте?

свободные резервы, бросить их на восточный фронт и создать на одном из направлений большой перевес сил. Не может быть сомнения, что немцы без этих мероприятий не смогли бы добиться успеха на нашем фронте.

Но почему им удалось собрать все свои резервы и бросить их на восточный фронт? Потому что отсутствие второго фронта в Европе дало им возможность произвести эту операцию без какого-либо риска для себя.

Стало быть главная причина тактических успехов немцев на нашем фронте в этом году состоит в том, что отсутствие второго фронта в Европе дало им возможность бросить на наш фронт все свободные резервы и создать большой перевес своих сил на юго-западном направлении.

Допустим, что в Европе существовал бы второй фронт, также как он существовал в первую мировую войну, и второй фронт отвлек бы на себя, скажем, 60 немецких дивизий и 20 дивизий союзников Германии. Каково было бы положение немецких войск на нашем фронте? Не трудно догадаться, что их положение было бы плачевным. Более того, это было бы начало конца немецко-фашистских войск, ибо Красная Армия стояла бы в этом случае не там, где она стоит теперь, а где-нибудь около Искова, Минска, Житомира, Одессы. Это значит, что уже летом этого года немецко-фашистская армия стояла бы перед своей катастрофой. И если этого не случилось, то потому, что немцев спасло отсутствие второго фронта в Европе.

Рассмотрим вопрос о втором фронте в Европе в историческом разрезе.

В первую мировую войну Германии пришлось воевать на два фронта, на Западе, главным образом, против Англии и Франции, и на Востоке — против русских войск. Стало быть в первую мировую войну существовал второй фронт против Германии. Из 220 дивизий, имевшихся тогда у Германии, на русском фронте стояло не более 85 немецких дивизий. Если к этому прибавить войска союзников Германии, стоявшие против русского фронта, а именно, 37 австро-венгерских дивизий, 2 болгарских и 3 турецких дивизий, то всего составит 127 дивизий, стоявших против русских войск. Остальные дивизии Германии и ее союзников держали фронт главным образом против англо-французских войск, а часть из них несла гарнизонную службу в оккупированных территориях Европы.

Так обстояло дело в первую мировую войну.

Как обстоит дело теперь, во вторую мировую войну, скажем, в сентябре месяце этого года?

По проверенным данным, не вызывающим каких-либо сомнений, из 256 дивизий, имеющихся теперь у Германии, на нашем фронте стоит не менее 179 немецких дивизий. Если к этому прибавить 22 румынских дивизии, 14 финских дивизий, 10 итальянских дивизий, 13 венгерских дивизий, 1 словацкую дивизию и 1 испанскую дивизию, то всего составит 240 дивизий, дерущихся сейчас на нашем фронте. Остальные дивизии немцев и союзников несут гарнизонную службу в оккупированных странах (Франция, Бельгия, Норвегия, Голландия, Югославия, Польша, Чехословакия и т. д.), часть же из них ведет войну в Ливии за Египет, против Англии, причем ливийский фронт отвлекает всего 4 немецких дивизии и 11 итальянских дивизий.

Стало быть вместо 127 дивизий в первую мировую войну, мы имеем теперь против нашего фронта не менее 240 дивизий, а вместо 85 немецких дивизий мы имеем теперь 179 немецких дивизий, дерущихся против Красной Армии.

войск на нашем фронте летом этого года.

Пашествие немцев на нашу страну часто сравнивают с пашествием Наполеона на Россию. Но это сравнение не выдерживает критики. Из 600 тысяч войск, отправившихся в поход на Россию, Наполеон довел до Бородино едва 130—140 тысяч войск. Это все, чем он мог располагать под Москвой. Ну, а мы имеем теперь более трех миллионов войск, стоящих перед фронтом Красной Армии и вооруженных всеми средствами современной войны. Какое же может быть тут сравнение?

Пашествие немцев на нашу страну сравнивают иногда также с пашествием Германии на Россию в период первой мировой войны. Но это сравнение также не выдерживает критики. Во-первых, в первую мировую войну существовал второй фронт в Европе, сильно затруднивший положение немцев, тогда как в этой войне нет второго фронта в Европе. Во-вторых, в эту войну против нашего фронта стоит вдвое больше войск, чем в первую мировую войну. Ясно, что сравнение не подходит.

Теперь вы можете представить, насколько серьезны и необычайны те трудности, которые стоят перед Красной Армией, и до чего велик тот героизм, который проявляет Красная Армия в ее освободительной войне против немецко-фашистских захватчиков.

Я думаю, что никакая другая страна и никакая другая армия не могла бы выдержать подобный натиск озверелых банд немецко-фашистских разбойников и их союзников. Только наша Советская страна, и только наша Красная Армия способны выдержать такой натиск. (БУРНЫЕ АПЛЮДИСМЕНТЫ). И не только выдержать, но и преодолеть его.

Часто спрашивают: а будет ли все же второй фронт в Европе. Да, будет, рано или поздно, но будет. И он будет не только потому, что он нужен нам, но и прежде всего, потому, что он не менее нужен нашим союзникам, чем нам. Наши союзники не могут не понимать, что после того, как Франция вышла из строя, отсутствие второго фронта против фашистской Германии может кончиться плохо для всех свободолюбивых стран, в том числе — для самих союзников.

4. БОЕВОЙ СОЮЗ СССР, АНГЛИИ И США ПРОТИВ ГИТЛЕРОВСКОЙ ГЕРМАНИИ И ЕЕ СОЮЗНИКОВ В ЕВРОПЕ

Теперь уже можно считать неоспоримым, что в ходе войны, навязанной народам гитлеровской Германией, произошла коренная размежка сил, произошло образование двух противоположных лагерей, лагеря итапо-германской коалиции и лагеря англо-советско-американской коалиции.

Неоспоримо также и то, что эти две противоположные коалиции руководствуются двумя разными противоположными программами действия.

Программу действия итапо-германской коалиции можно охарактеризовать следующими пунктами: расовая несправедливость; господство «избранных» наций; покорение других наций и захват их территорий; экономическое порабощение покоренных наций и расхищение их национального достояния; уничтожение демократических свобод; повсеместное установление гитлеровского режима.

Программа действия англо-советско-американской коалиции: уничтожение расовой исключительности; равноправие наций и неприкосновенность их территорий; освобождение порабощенных наций и восстановление их суверенных прав; право каждой нации устраниваться по своему желанию; экономическая

помощь потерпевшим нациям и содействие им в деле достижения их материального благополучия; восстановление демократических свобод; уничтожение гитлеровского режима.

Программа действия итало-германской коалиции привела к тому, что все оккупированные страны Европы — Норвегия, Дания, Бельгия, Голландия, Франция, Польша, Чехословакия, Югославия, Греция, оккупированные области СССР — пылают ненавистью к итало-германской тирании, вредят немцам и их союзникам, как только могут, и ждут удобного момента для того, чтобы отомстить своим поработителям за те унижения и насилия, которые они переносят.

В связи с этим одна из характерных черт современного момента состоит в том, что прогрессивно растет изоляция итало-германской коалиции и истощаются ее морально-политические резервы в Европе, растет ее ослабление и разложение.

Программа действия англо-советско-американской коалиции привела к тому, что все оккупированные страны в Европе полны сочувствия к членам этой коалиции и готовы оказать им любую поддержку, на какую только они способны.

В связи с этим другая характерная черта современного момента состоит в том, что морально-политические резервы этой коалиции изо дня в день растут в Европе, — и не только в Европе, — и что эта коалиция прогрессивно обрастает миллионами сочувствующих людей, готовых биться вместе с ней против тирании Гитлера.

Если рассмотреть вопрос о соотношении сил двух коалиций с точки зрения человеческих и материальных ресурсов, то нельзя не прийти к выводу, что мы имеем здесь бесспорное преимущество на стороне англо-советско-американской коалиции.

Но вот вопрос: достаточно ли одного лишь этого преимущества, чтобы одержать победу? Бывают ведь такие случаи, когда ресурсов много, но расходуются они так бестолково, что преимущество оказывается равным нулю. Ясно, что кроме ресурсов необходима еще способность мобилизовать эти ресурсы и умение правильно расходовать их. Есть ли основание сомневаться в наличии такого умения и такой способности у людей англо-советско-американской коалиции? Есть люди, которые сомневаются в этом. Но на каком основании они сомневаются? В свое время люди этой коалиции проявили умение и способность мобилизовать ресурсы своих стран и правильно расходовать их для целей хозяйственного и культурно-политического строительства. Спрашивается, какое имеется основание сомневаться в том, что люди, проявившие способность и умение в деле мобилизации и распределения ресурсов для хозяйственных и культурно-политических целей, окажутся не способными проделать ту же работу для осуществления военных целей? Я думаю, что таких оснований нет.

Говорят, что англо-советско-американская коалиция имеет все шансы на победу и она наверняка победила бы, если бы не было у нее одного органического недостатка, способного ослабить и разложить ее. Недостаток этот, по мнению этих людей, выражается в том, что эта коалиция состоит из разнородных элементов, имеющих неодинаковую идеологию и что это обстоятельство не даст им возможности организовать совместные действия против общего врага.

Я думаю, что это утверждение неправильно.

Было бы смелко отрицать разницу в идеологии и в общественном строе государств, входящих в состав англо-советско-американской коалиции. Но исключает ли это обстоятельство возможность и целесообразность совместных действий членов этой коалиции против общего врага, несущего им угрозу порабо-

щения? Безусловно, не исключает. Более того, — создавшаяся угроза повелительно диктует членам коалиции необходимость совместных действий для того, чтобы избавить человечество от возврата к дикости и к средневековым зверствам. Разве программа действия англо-советско-американской коалиции недостаточна для того, чтобы организовать на ее базе совместную борьбу против гитлеровской тирании и добиться победы над ней? Я думаю, что вполне достаточно.

Предположение этих людей неправильно еще и потому, что оно полностью опровергается событиями истекшего года. В самом деле, если бы эти люди были правы, мы наблюдали бы факты прогрессивного отчуждения друг от друга членов англо-советско-американской коалиции. Однако мы не только не наблюдаем этого, а наоборот, мы имеем факты и события, говорящие о прогрессивном сближении членов англо-советско-американской коалиции и объединении их в единый боевой союз. События истекшего года дают прямое к тому доказательство. В июле 1941 г., через несколько недель после нападения Германии на СССР, Англия заключила с нами соглашение «О совместных действиях в войне против Германии». С Соединенными Штатами Америки мы еще не имели тогда никаких соглашений на этот предмет. Через 10 месяцев после этого, 26 мая 1942 г. во время посещения Англии т. Молотовым, Англия заключила с нами «Договор о союзе в войне против гитлеровской Германии и ее сообщников в Европе и о сотрудничестве и взаимной помощи после войны». Договор этот заключен на 20 лет. Он знаменует собой исторический поворот в отношениях между нашей страной и Англией. В июне 1942 года, во время посещения США т. Молотовым, Соединенные Штаты Америки подписали с нами «Соглашение о принципах, применимых к взаимной помощи в ведении войны против агрессии», соглашение, делающее серьезный шаг вперед в отношениях между СССР и США. Наконец, следует отметить такой важный факт, как посещение Москвы премьер-министром Великобритании г-ном Черчиллем, установившее полное взаимопонимание руководителей обеих стран. Не может быть сомнения, что все эти факты говорят о прогрессивном сближении СССР, Великобритании и Соединенных Штатов Америки и об объединении их в боевой союз против итало-германской коалиции.

Выходит, что логика вещей сильнее всякой иной логики.

Вывод один: англо-советско-американская коалиция имеет все шансы, чтобы победить итало-германскую коалицию и она без сомнения победит.

5. НАШИ ЗАДАЧИ

Война порвала все покровы и обнажила все отношения. Положение стало до того ясно, что нет ничего легче, как определить наши задачи в этой войне.

В своей беседе с турецким генералом Эрклиет, опубликованной в турецкой газете «Аджумхурнет», людоед Гитлер говорит: «Мы уничтожим Россию, чтобы она больше никогда не смогла подняться». Кажется, ясно, хотя и глуповато. (СМЕХ). У нас нет такой задачи, чтобы уничтожить Германию, ибо невозможно уничтожить Германию, как невозможно уничтожить Россию. Но уничтожить гитлеровское государство — можно и должно. (БУРНЫЕ АПЛОДИСМЕНТЫ).

Наша первая задача в том именно и состоит, чтобы уничтожить гитлеровское государство и его вдохновителей. (БУРНЫЕ АПЛОДИСМЕНТЫ).

В той же беседе с тем же генералом людоед Гитлер продолжает: «Мы будем продолжать войну до тех пор, пока в России не останется организованной военной силы». Кажется, ясно, хотя и безграмотно. (СМЕХ). У нас нет такой зада-

чи, чтобы уничтожить всякую организованную военную силу в Германии, но любой грамотный человек поймет, что это не только невозможно в отношении Германии, как и в отношении России, но и нецелесообразно с точки зрения победителя. Но уничтожить гитлеровскую армию — можно и должно. (БУРНЫЕ АПЛЮДИСМЕНТЫ).

Наша вторая задача в том именно и состоит, чтобы уничтожить гитлеровскую армию и ее руководителей. (БУРНЫЕ АПЛЮДИСМЕНТЫ).

Гитлеровские мерзавцы взяли за правило птязать советских военнопленных, убивать их сотнями, обрекать на голодную смерть тысячи из них. Они насильуют и убивают гражданское население оккупированных территорий нашей страны, мужчин и женщин, детей и стариков, наших братьев и сестер. Они задались целью обратить в рабство или истребить население Украины, Белоруссии, Прибалтики, Молдавии, Крыма, Кавказа. Только низкие люди и подлецы, лишённые чести и навшне до состояния животных, могут позволить себе такие безобразия в отношении певинных безоружных людей. Но это не все. Они покрыли Европу виселицами и концентрационными лагерями. Они ввели подлую «систему заложников». Они расстреливают и вешают ни в чем неповинных граждан, взятых «под залог», из-за того, что какому-нибудь немецкому животному помешали насильовать жещин или ограбить обывателей. Они превратили Европу в тюрьму народов. И это называется у них — «новый порядок в Европе». Мы знаем виновников этих безобразий, строителей «нового порядка в Европе», всех этих повонслеченных генерал-губернаторов и просто губернаторов, комендантов и подкомендантов. Их имена известны десяткам тысяч замученных людей. Пусть знают эти палачи, что им не уйти от ответственности за свои преступления и не миновать карающей руки замученных народов.

Наша третья задача состоит в том, чтобы разрушить ненавистный «новый порядок в Европе» и покарать его строителей.

Таковы наши задачи. (БУРНЫЕ АПЛЮДИСМЕНТЫ).

Товарищи! Мы ведем великую освободительную войну. Мы ведем ее не одни, а совместно с нашими союзниками. Она несет нам победу над подлыми врагами человечества, над немецко-фашистскими империалистами. На ее знамени написано:

ДА ЗДРАВСТВУЕТ ПОБЕДА АНГЛО-СОВЕТСКО-АМЕРИКАНСКОГО БОЕВОГО СОЮЗА! (АПЛЮДИСМЕНТЫ).

ДА ЗДРАВСТВУЕТ ОСВОБОЖДЕНИЕ НАРОДОВ ЕВРОПЫ ОТ ГИТЛЕРОВСКОЙ ТИРАНИИ! (АПЛЮДИСМЕНТЫ).

ДА ЗДРАВСТВУЕТ СВОБОДА И НЕЗАВИСИМОСТЬ НАШЕЙ СЛАВНОЙ СОВЕТСКОЙ РОДИНЫ! (АПЛЮДИСМЕНТЫ).

ПРОКЛЯТИЕ И СМЕРТЬ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИМ ЗАХВАТЧИКАМ, ИХ ГОСУДАРСТВУ, ИХ АРМИИ, ИХ «НОВОМУ ПОРЯДКУ В ЕВРОПЕ»! (АПЛЮДИСМЕНТЫ).

НАШЕЙ КРАСНОЙ АРМИИ — СЛАВА! (БУРНЫЕ АПЛЮДИСМЕНТЫ).

НАШЕМУ ВОЕННО-МОРСКОМУ ФЛОТУ — СЛАВА! (БУРНЫЕ АПЛЮДИСМЕНТЫ).

НАШИМ ПАРТИЗАНАМ И ПАРТИЗАНКАМ — СЛАВА! (БУРНЫЕ, ПРОДОЛЖИТЕЛЬНЫЕ АПЛЮДИСМЕНТЫ, ВСЕ ВСТАЮТ. ОВАЦИЯ ВСЕГО ЗАЛА).



МАРГАРИТА АЛИГЕР

ЗОЯ

Поэма

В первых числах декабря 1941 года в селе Петрищево, близ города Верей, немцы казнили восемнадцатилетнюю комсомолку, назвавшую себя Татьяной.

Она оказалась московской школьницей Зоей Косьмодемьянской.

(Из газет)

ВСТУПЛЕНИЕ

Я так приступаю к решению задачи,
как будто конца и ответа не знаю.
Протертые окна бревенчатой дачи
раскрыты навстречу московскому маю.

Солнце лежит на высоком крыльчке,
девочка с книгой сидит на пороге.

«На речке, на речке,
на том бережечке,
мыла Марусенька белые поги...»

И сквозь пропизапа песенка эта
журчащим речки и смехом Маруси,
окрашена небом и солнцем прогрета...

«Плыли к Марусеньке
серые гуси...»

Отбросила книгу, вокруг поглядела.
Над медными соснами солнце в зените...
Откинула голову, песню додела:

«Вы, гуси, летите,
воды не смутите...»

Бывают на свете такие мгновения,
такое жертвие солнечных пятен,
когда до конца исчезают сомнения
и кажется: мир абсолютно понятен.
И жизнь твоя будет отныне прекрасна
и это навек, и не будет иначе.

Все в мире устроено прочно и ясно
для счастья, для радости, для удачи.

Особенно это бывает в начале
дороги,

когда тебе лег еще мало
и, если и были какие печали,
то грозного горя еще не бывало.
Все в мире открыто глазам человека.
Он гордо стоит у высокого входа.

...Почти середина двадцатого века.
Весна девятьсот сорок первого года.

Она палилалась экзаменом школьным,
тревогой пейзаю и дорогою,
маняла на волю мячом волейбольным,
игрью реки, тонелиной пургою.

Московские неповторимые вёсны.
Лесное дыхание хвои и влаги.

...Райся Тимлязевки, медные сосны,
белья на веревках веселые флаги.

Как мудро, что люди не знают заранее
того, что стоит неуклонно пред ними.
— Как звать тебя, девочка? —

— Зоей. —

А Таля?

Да, есть и такое хорошее имя.

Ну, что же, поскольку в моей это власти
тебя отыскать в этой солнечной даче,
мне хочется верить, что ждет тебя
счастье,
и я не желаю, чтоб было иначе.
В спящей рамке зеленого зноя,
на пыточки приподнявсь пеможко,
выходит семнадцатилетняя Зоя,
московская школьница-длинноножка.

1-я ГЛАЗА

Жизнь была скудна и небогата.
Дети подрастали без отпа.
Маленькая мамца зарплата,—
месяц не дотянешь до конца.

Так-то это так,
а на поверку
не скучали.

Венюпи хоть ее
как купила мама этажерку,
сколько было радости у нас
Столик переставь, кровати
шума и спленок не жалей.
Этажерка краше с каждой к
с каждым переплетом рессе
Скуки давешней как не бы
Стало быть, и вывод будет
человеку нужно очень мало,
чтобы счастье встало в полн

Девочка, а что такое счастье
Разве разобрался мы с тобой
Может, это значит — двери
в ветер окупуться с головой
Чтобы хвойный мир колом
и герчил на вкус

и чтобы т
в небо поднялась.

— чего уж
а потом спустилась с выско
Чтоб перед тобой влясь до
ни конца, ни краю не вид
Нам для счастья нужно оче
Столько, что и в сказке не

Если в сказке не сказать, т
золотая песня, верный сти.

Пусть мечта земной тропи
у чиненных туфельек твоих
Все, за что товарищи бор
все, что увидать Ильич с
Чтоб уже не только через
вкруг планеты Чкалов про
Чтобы меньше уставала ма
за проверкой письменных
Чтоб у гор Сиерра-Гвадара
победил неистовый народ.
Чтоб вокруг сплывалось все,
вести из газет, мечты и с
И чтобы шапанниевая льд
доплыла отважно до весны.

Стала жизнь богатой и вес
ручейком прозрачным потев

о разве мы могли б иначе
на свете жить?

Вины ничьей
вижу в том, что мы поплачем,
задало, из-за мелочей.
Все-таки всерьез дружили,
были, верили всерьез.
Чем жалеть?

Мы славно жили.
Б получилось, как пришлось.
сразу,

вихрь,

толчок,

минута,

ничего не пощади,
на полутоне сорван круто
трусом палаженный мотив.
Ласкаленной полосой
в плеча хлестнула нас гроза,
духою молнией косяю

в размаху опалив глаза.
Свинцовым зноем полыхнула,
вошла без стука в каждый дом
и наши окна зачеркнула
чумным безжалостным крестом.
Крест-на-крест синие полоски
на небо, солнце и березки,
на паше прошлое легли.

Чтоб мы перед собой видали
ойпой зачеркнутые дали,
чтоб мы забыться не могли.
Глаза спросонок открывая,
куда хлестнет по окнам свет,
мы встрепенемся, вспоминая,
что на земле покоя нет.
Покой нет и быть не может.
И что, как раненая грудь.

Исхитрый путь допыне прожит.
Дальше пачат новый путь.
Все в мире стало по-другому.
Изверец шум, коварна тишь.

Выйдешь вечером из дому,
вдруг пытливо поглядишь.
Но даже в этой старой даче,
тревожный погруженный мрак,
уже изменилось, все иначе,
еще никто не знает как.

С девятого класса, с мпнувшего лета,
у тебя была книжечка серого цвета.
Ее ты в отдельном кармане носила
и в месяц по двадцать копеек вносила.

Мы жили настолько свободно и вольно,
не помня о том, что бывает иначе,
что иногда забывали певольно,
что мы комсомольцы и что это значит.
Все праздником было веселым и дерзким.
Жилось нам на свете светло и про-

сторно.

Развевалось детство костром шиперским,
растаяло утренней песенкой горна.

Вы в мирное время успели родиться
и горьких пренятствий не знали вна-
чале,
но ритмом былых комсомольских тради-
ций

сердца возмужавшие застучали.

И в знойные ночи военного лета
вы всей своей кровью почували это.

Еще тебе нгр педоигранных жалко,
и книг непрочитанных жаль, и еще ты
припрячешь,— авось пригодится,—
шпиргалку.

А вдруг еще будут какие зачеты.
Еще вспоминаешь в тоске неминуемой
любимых товарищей, старую парту..
Ты все это помнишь и любишь? Тем
лучше.

Все это поставлено пыиче на карту.
Настала пора, и теперь мы в ответе
за каждый свой взнос в комсомольском
билете.

И родина нынче с нас спрашивать
вправе
за каждую букровку в нашем уставе.
Тревожное небо клубится над нами.
Подходит война к твоему изголовью.
И больше нам взносы платить не руб-
лями,
а может быть, собственной жизнью и
кровью.

Стояло начало учебного года.
Был утренний воздух прохладен и сла-
док.

Глебовая, злая, сухая погода,
шуршание листьев и порох тетрадок.
Но в этом учебном году по-другому.
Зепитки, взведенные в сквериках ры-
жих.

В девятом часу ты выходишь из дому,
совсем палегке,

без тетрадок и книжек.

Мне эта дорога твоя незнакома.
В другой стороне двести первая школа.
Осенней Москвой,
но путевке райкома,
идет комсомолец в МК комсомола.

Осенней Москвой,
октябрьской Москвою.

Мне видится взгляд твой бессонный
жесткий.

И только глаза от волнения закрою
и сразу увижу твои перекрестки.
Душе не забыть тебя,

сердцу не бросить,

как женщину в горе,
без маски, без позы.

Морщинки у глаз,
промелькнувшая проседь,
на горьких ресницах повисшие слезы.
Все запахи жизни, проведенной вместе,
опять пабегали и опять палегтели.
Обрызганной дождиком кровельной

жести

и острой листовы, отметенной к панели.
Все двигалось,

шло,

продолжалась работа,

и каждая улица мимо бегала.
Но тихая, тайная, тонкая нота
в осенних твоих переулках дрожала.
Звезели твои подожженные клешы,
но ты утешала их теплой рукою.
Какой же была ты тогда?

Оскорбленной?

Страдающей?

Плачущей?

Нет, не такую.

Ты за ночь одну на глазах возмужала,
собралась,

ремни подтянула потуже.

Как просто ты лишних людей прог-
жала
и между бойцами делала оружие.
Какую ты сделала вдруг деловитой.
Рассчитаны, взвешены жесты и взгля-
ды
Вколочены рельсы

и улицы взрываются
и в переулках стоит баррикады.

Как будто с картины о битвах на
Пресне

которая стала живой и горячей.
И лету похожих стихов или песни.

Была ты
Москвой.—

и не скажешь иначе.

И те, кто родились на улицах этих,
кто здесь, на глазах у Москвы, по-
растали,

о ком говорили вчера, как о детях,
сегодня печально взрослыми стали.
Они не могли допустить, чтоб чужа-
железная смесь их судьбу затоптала.
А там,

у Звенигорода,

у Можая

шла грозная битва людей и металл

В твоих переулках росли баррикады.
Железом и рвами Москву окружали.
В МК

отбирали людей в отряды.

В больших коридорах
толпились,

жужжал

вчерашние мальчики,

девочки,

дети,

встревоженный рой золотого народа.

Сидел молодой человек в кабинете,
москвич октября сорок первого года.
Пред ним проходили повадки и лица
Должно было стать ему сразу чужаком
который из них безусловно годится,
которого надо отправить обратно.

И каждого он оглядывал сразу,
едва появлялся тот у порога,
улавливал еле заметные глазу
смущенье,

случайного взгляда тревогу.

Он с разных сторон их старался увидеть,
от гнева в глазах до невольной улыбки,
смутить

ободрить,

никого не обидеть,
любую цену не сделать ошибки.
Сначала встречая, потом провожая,
иных презирал он,

гордился другими.

Вопросы жестокие им задавая,
он сам себя тоже спрашивал с ними.

И если ответить им было печем,
и если они начинали теряться...

Он всем своим юным чутьем человеческим
до сути другого старался добраться.

В октябрьском деньке,

невеселом и мглыстом,

в Москве, окруженной немецкой подково-
вой,

товарищ Шелепов,

ты был коммунистом

со всей справедливостью нашей суровой.

Она отвечала сначала стоя,
сдвигая брови при каждом ответе:

— Фамилия?

— Космодемьянская.

— Имя?

— Зоя.

— Год рождения?

— Двадцать третий.

Потом она села на стул.

А дальше

следил он, не кроется ли волнение
и нет ли рисовки

и нет ли фальши

и нет ли хоть крошечного сомнения.

Она отвечала на той же ноте:

— Нет, не заблудится.

— Нет, не бояться.

И он, наконец, записал в блокноте
последнее слово свое:

— Годится.

Заметил ли он на ее лице
играющий отблеск далекого света?

Ты

не ошибся

в этом бойце.

секретарь Московского Комитета.

Отгорели жаркие леса,
нод дождем погасли листья клена,
осень поднимает в небеса
отсыревшие свои знамена.

Но они и мокрые горят,
занимаясь с западного края.

Это полыхает не зажат,
это длится бой, не угасая.

Осень, осень.

В век не позабудь

тихий запах сырости и плесня,
выбитый, размытый, ржавый путь,

мокрые дороги отступленья.

И любимый город без огня,
и безлюдных улочек морщины...

Ничего, мы дожили до дня
самой долгожданной годовщины.

И возник из ветра и дождя
смутного дымящегося века

гордый голос нашего вождя,

утомленный голос человека.

Длинный фронт — живая полоса
человечьих судеб и металла.

Сквозь твоих орудий голоса

слово невредимым пролетало.

И разпоязыкий нестройный тыл.

Дождь и звезды, солнце и поэмка.

И повсюду Сталин говорил,

медленно, устало и негромко.

Как бы мне надежнее сберечь
сталинскую гордую усталость?

Чем бы мне запомнить эту речь,

чтоб она в крови моей осталась?

Я запомню неотступный взгляд
вставшей в строй московской моло-

дежи

и мешки нехитрых баррикад,—
это, в сущности, одно и то же.

И на фронт идущего бойца,

ставшего задумчивей и строже,

и сухой огонь его лица,—

это, в сущности, одно и то же.

Он сказал:

— Победа!

Будет так.

И запомню, как мой город ожил,
сразу став и старше и моложе,
первый выстрел наших контратак,—
это, в сущности, одно и то же.
Это полновесные слова
невесомым схвачены эфиром.
Это осажденная Москва
гордо разговаривает с миром.

Дети командиров и бойцов,
бурей разлученные с отцами,
будто голос собственных отцов
этот голос слушали сердцами.
Женщины, отдавшие мужей,
цепенеющие в ожидании,
в одинокой тишине своей
слушали его, как обещаенье.

Севастополь.

Трудная пора.
Артобстрел, педальный грохот боя,
длинный гул осеннего прибоя.
Только вдруг взорвались рупора,
Это Сталин говорит с тобою.

Ленинград.

безлюдный и седой.
Не пши слезы в бессонном взгляде.
Встретившись лицом к лицу с бедой,
Ленинград не молит о пощаде.
Доживешь?

Дотерпишь?

Достойшь?

Достою, не сдамся.

Раскололась
чистая, отчетливая тишь
и в нее ворвался тот же голос.
Между ленинградскими домами
о фанеру, мрамор и гранит
бился голос сильными крылами,—
это Сталин с нами говорит.
— Предстоит еще страданий много,
но твоя отчизна победит.—
Кто сказал:

— Воздушная тревога!

Мы спокойны — Сталин говорит.

Что такое радиоволна?

Это колебания эфира.

Это значит речь его слышна
в самых разных уголочках мира.
Прижимают к уху эбонит
коммунисты в харьковском подполье,
клонится березка в чистом поле,—
это Сталин с нами говорит.

Что такое радиоволна?

Я не очень это понимаю.

Прячется за облако луна.

Ты бежишь, кустарники ломаю.

Все свершилось.

Все совсем всерьез.

Ты волочишь хвороста вязанку.

Между расступившихся берез

ветер шастает партизанку.

И она, вступая в лунный круг,

ветром захлебнется на минуту.

— Что со мною приключилось вдруг?

Мне легко и славно почему-то.

Что такое радиоволна?

Ветер-то московский,—

ты и рада.

И внезапной радостью полна

Зоя добежала до отряда.

— Как у нас в лесу сегодня сыро.

Хоть умри, а не горит костер.

Ветер пальцы толкние простер.

Может быть, в нем та же дрожь

эфира?

Только вдруг, как вспыхнула береста!

Это кто сказал, что не разжечь?

Вот мы и согрелись!

Это просто

к вам домчалась сталинская речь.

— Будет день большого торжества.

Как тебе ни туго — верь в победу!

И летит осенняя листва

по ее невидимому следу.

За остановившейся рекою
партизаны жили на снегу.

Сами, отренившись от покоя,

не дали покоя и врагу.

Ко всему привыкнешь понемногу.

Жизнь прекрасна!

Горе не беда!

Аккуратно портили дорогу,
резали связные провода.

Начались декабрьские метели,
дули беспощадные ветра.
Под открытым небом три недели,
греясь у недолгого костра.

Спит отряд и звезды над отрядом...
Как бы близко пуля ни была,
если даже смерть почти что рядом,
люди помнят про свои дела,
думают о том, что завтра будет,
что-то собираются решить.
Это правильно.

На то мы люди.

Это нас спасает, может быть.

И во мраке полночи вороньей
Зоя вспоминает в свой черед:
Что там в Тимирязевском районе?
Как там мама без нее живет?
Хлеб, паверно, ей берет соседка.
Как у ней с дровами?

Холода!

Если дров же хватит, что тогда?

А на утро допесла разведка,
что в селе Петрищеве стоят,
отдыхают вражеские части.
— Срок нам вышел, можно и назад.
Можно задержаться... В нашей власти.—
— Три недели мы на холоду.
Отогреться бы малелько падо.
Смотрит в землю командир отряда.
И сказала Зоя:

— Я пойду.

Я еще не очень-то устала.
Я еще успею отдохнуть.
Как она пегадапно пастала
жданная минута.

Добрый путь!

Узкая ладошка холодна
от мороза или от тревоги?
И уходит девочка одна
по своей безжалостной дороге.

Тишина, ах, какая стоит тишина.
Даже шорохи ветра печасты и глухи.
Тихо так, будто в мире осталась одна
эта девочка в ватных панахах и тре-
ухе.

— Эпачит, я пичего не боюсь и
смогу

сделать все, что приказано...—

Завтра не близко.

Догорает костер, разожженный
в снегу,
и последний дымок его стелется
низко.

Погоди еще чуточку, не потухай.
Мне с тобой веселей. Я согрелась
теплого.

Над Петрищевым мечутся три петуха,
Там наверно шум, суета и тревога.
Это я подожгла!

Это я!

Это я!

Все исполню, верна боевому приказу.
И сильнее противника воля моя,
И сама я невидима вражьему глазу.
Засмеяться?

Запеть?

Погоди, погоди...

Вот, когда я с ребятами встречусь,
когда я...

Сердце весело прыгает в жаркой
груди,
и счастливей колотится кровь моло-
дая.

Ах, какая большая стоит тишина!
Приглушенные елочкп к шороху
чутки.

Как досадно, что я еще крыл лишена.
Я бы к маме слетала, хоть на две
минутки.

Мама, мама,
какой я была до спх пор?
Может быть, недостаточно мягкой и
нежной?

И другую вернусь.

Догорает костер.

И одна остаюсь в этой полночи снеж-
ной.

Я вернусь,
я пойду себе верных подруг.
Стану сразу доверчивей и откровенней...

Тишина, тишина нарастает вокруг.
Ты сидишь, охвативши руками колени.

Ты одна.

Ах, какая стоит тишина!

Но не верь ей, прислушайся к ней,
дорогая.

Тихо так, что отчетливо станет слышна

вся страна,

вся война,

до переднего края.

Ты услышишь все то, что не слышно врагу.

Под защитным крылом этой почти воробьей

заскрипели полозья на крепком снегу,
тащат трудную пошу разумные кони.

Мимо сосенок четких и лунных берез,
через линию фронта, огонь и блокаду,

нагруженный продуктами красный обоз

осторожно и верно ползет к Ленинграду.

Люди, может быть, месяц в пути и назад,

не вернет их ни страх, ни железная сила.

Это наша тоска по тебе, Ленинград.

Наша русская боль из немецкого тыла.

Чем мы можем тебе дать немного помощи?

Мы пошлем тебе хлеба и мяса и сала.

Он стоит,

погруженный в осадную почву,

этот город,

которого ты не видала.

Он стоит под обстрелом чужих батарей.

Рассказать тебе, как он на холоде дышит?

Про его матерей,

потерявших детей

и тащивших к спасенью чужих ребятшек.

Люди поняли цену того, что зовут немудрым таинственным пнем

жизни,

и они нестепленно ее берегут,

потому что — а вдруг? — пригодится отчизне.

Это проще усталое тело сложить,
так-таки и не выйдя к переднему

краю.

Слава тем, кто решил до победы дожить.

Понимаешь ли, Зоя?

— Я все понимаю.

Понимаю.

Я завтра проникну к врагу
и меня не заметят,

не схватят,

не свяжут.

Ленинград, Ленинград!

Я тебе помогу!

Прикажи мне!

Я сделаю все, что прикажут.

И как будто в ответ тебе,

будто бы в лад

застучавшему сердцу,

услышь канонаду.

На высоких базах начинается Кронштадт

И Малахов курган отвечает Кронштадту.

Проплывают больших облаков паруса
через тысячи верст железного горя.

Артиллерия русской гремёт голоса
от Балтийского моря до Черного моря.

Севастополь.

Но как рассказать мне о нем?

На светящемся гребне девятого вала
он причалил к земле боевым кораблем,

этот город,

которого ты не видала.

Сходят на берег люди.

Вдыхает вода.

Что такое героизм?

И так и не знаю.

Севастополь...

Доброй помолчим.

По тогда,

понямаешь, он был еще жив.

— Понимаю.

Понимаю.

И завтра пойду и зажгу
и колючки, и склады, согласно при-
казу.

Севастополь, я завтра тебе помогу!
Я логична и невидима вражью глазу!

Ты невидима вражью глазу?

А вдруг?

Как тогда?

Что тогда?

Ты готова на это?

Тишина, т. тишина нарастает вокруг.
Подымается девочка вместо ответа.

Далеко-далеко умпрает боец...
Задыхается мать, иступленно рыдая.
Страшной глыбой заваленный стопет
отец,
и сирот обнимает вдова молодая.

Тихо так, что ты все еще слышишь
в ту ночь
потрясенной планеты взволнованный
житель:

— Дорогие мои, я хочу вам помочь!
Я готова.

Я выдержу все.

Прикажете.

А кругом тишина, тишина, тишина,
и мороз

не дрожит,

не тает,

не тает...

И судьба твоя завтрашним днем ре-
шена
и дышанья

т. голоса

мне нехватает.

Вечер освещен сиянием снега.
Тропки завалило, занесло.
Запахами теплого почлега
густо дышит русское село.

Путьки, путьки, поверни па запах,
в сказочном лесу не заблудись.
На тапшественных еловых лапах
луной бахромою снег повис.

Мы тебя, как гостя, повстречаем.
Место гостю красное дадим.
Мы тебя согреем крепким чаем,
молоком душистым напоим.

Посиди, подсолнушки полускай.
Хорошо в избе в вечерний час.
Сердцу хорошо от ласки русской.
Что же ты сторонисься от нас?

Будто все, как прежде.

Пышет жаром
докрасна натопленная печь.
Но звучит за русским самоваром
непевучая чужая речь.

Грязью перепачканы овчьи.
Людам страшно, людам смерть грозят.
И тяжелым духом мертвечины
от гостей непрошенных разит.

Хоронись от их горючей злобы.

Обойди нас,

страшен наш ночлег.

Сторопись в леса, в поля, в сугробы,
добрый путьки, русский человек.

Что же ты идешь, сутулы плечи?
В сторону сворачивай корей!
Было здесь селенье человецье,
а теперь здесь логово зверей.

Были мы радушны и богаты,
а теперь бедней худой земля.

В сумерки
путьки
и допросу привели.

Как собачий лай, чужая речь.
Привели ее в избу большую.
Куртку ватную сорвали с плеч.
Старенькая бабка тонит печь...
Пламя вырывается, бунуя...
Сапоги с трудом стянули с ног.
Гимнастерку сняли, свитер сняли.
Всю, как есть,

от головы до ног,
всю обшарили и обыскали.
Малые ребята на печи.
Припаялись.

Смотрят и не дышат.
Тихие, тихие, сердце, не стучи.
Пусть враги тревоги не услышат.
Каменная оторопь, не страх.
Плечки острые, и руки тонки.
Ты осталась в стеганых штанах
и в домашней старенькой кофтенке.
И на шей мелькают там и тут
мамины заштопки и заплатки,
и родные запахи живут
в каждой сборочке и в каждой
складке.

Все, чем ты дышала и росла,
вплоть до этой кофточки измятой,
ты с собою вместе припесла,—
пусть глядят шеменики солдаты.
Ностарался поудобней сестрь
офицер,

бумаги вышмая.

Ты стоишь пред ним какая есть —
тоненькая,
русская,
прямая.

Это все не спится, все всерьез.
Вот оно надвинулось, родная.
Глухо начинается допрос.
— Отвечай!

— Я ничего не знаю.

Вот и все.

Вот это мой конец.

Не конец. Еще придется круто.
Это все враги,
а я — боец.

Вот и пастушила та минута.

— Отвечай, не то тебе кажут!

Оп подходит к ней развалкой пьяной.

— Кто ты есть и как тебя зовут?

Отвечай!

— Меня зовут Татьяной.—

(Можно мне признаться?)

Почему-то

ты еще родней мне оттого,
что назвалась в странную минуту
именем ребенка моего.
Топенькая смуглая травинка,
нас с тобой разбило, распесло.
Унесло тебя, моя кровинка,
в пыльное татарское село.
Как мне страшно!

Только бы не хуже.

Как ты там, подруженька, живешь?
Мучаешь kota,

купаешь куклу в луже,

прыгаешь и песенки поешь.
Дождь шумит над вашими полями.
Облака проходят над Москвой.
И гудит пространство между нами
всей моей беспомощной тоской.

Как же вышло так, что мы не вместе?
Длинным фронтом вытянулся бой.
Твой отец погиб на поле чести.
Мы одни на свете,

я — с тобой.

Почему же мы с тобою разны?
Чем же наша участь решена?
Дымен ветер,

небо дышит грозно,

требует к ответу тишина.
Начинают дальние зенитки
и перед мучителем своим
девочка молчит под страхом пытки,
называясь именем твоим.
Родина,

мне нет другой дороги.

Пусть пройдут, как пули сквозь меня,
все твои рапсоды и тревоги,
все порывы твоего огня!
Пусть во мне страданьем отзовется
каждая печаль твоя и боль.
Кровь моя твоим порывом бьется.
Дочка,

отпусти меня,

позволь.

Все, как есть, прости мне, дорогая.

Вырастешь, тогда поговорим.

Мне пора.

Горя и не сгорая,
тернит пытку девочка другая,
называясь именем твоим).

— — —

Хозяйка детей увела в закут.

Нахнет капустой, скребутся мышп.

— Мама, за что они ее бьют?

— За правду, дочепька. Тише, тише...

— Мама, глянц-ка в щелочку, глянц.

У нее сорочка в крови.

Мне страшно, мама, мне больно.

— Тише, доченька, тише, тише...

— Мама, зачем она не кричит?

Опа, небось, железная?

Живая бы давно закричала.

— Тише, дочепька, тише, тише.

— Мама, а если ее убьют,

стало быть, правду убили тоже?

— Тише, доченька, тише...

Нет!

Девочка, слушай меня без дрожи.

Слушай,

тебе одиппалцать лет.

Если ни разу она не заплачет,

что бы ни делали изверги с ней,

если умрет,

по не сдастся,

значит,

сделалась правда на жизнь сильней.

Лучшими силами в человеке

я бы хотела тебе помочь,

чтобы запомнила ты навеки

эту кровавую страшную почу.

Чтобы чудесная Зопна сила,

как вдохновеешь тебя послала,

стала бы примесью крови твоей.

Чтобы, когда ты станешь большою,

сердцем горячим,

верной душою

ты показала, что помнишь о ней.

— — —

Неужели на свете бывает вола?

Может быть, ты ее не пила никогда

голубыми,

большими, как лебо,

глотками?

Помнишь, как она сладко врывается
в рот?

Ты толкаешь ее языком и губами,
и она тебе в самое сердце течет.

Воду пить.

Вспомни, как это было.

Постой!

Можно пить из стакана —

и вот он пустой.

Можно черпать ее загорелой рукою.
можно к речке сбегать,

можно к луже припасть
и глотать ее,

пить ее,

пить ее велясть.

Это сон,

это бред,

это счастье такое!

Воду пьешь, словно русскую песню
поешь,

словно ветер глотаешь пад лупной
рекою.

Как бы славно, прохладно она по-
текла!

— Дайте пить... —

истомленная девушка просит.

Но горящую лампочку, без стекла,
к опаленным губам ее пемец под-
посит.

Это детские губы,

сухие огни,

почерпшие, стиснутые упрямо.

Как недавно с усильем лешли они
очень трупное,

самое главное

«мама».

Нели песенку,

чуть повелились во сле,

раскрывались изволпованы страпкою
сказкой,

перепачканы ягодами по вешле,

выручали подругу удачной подказ-
кой.

Эти детские губы,

сухие огни,

своевольпо очерчены женскою силой.

Не успели к другим прикоснуться
они,
никому не сказали:

«люблю»
или
«милый».

Кровяная залепшаяся печать.
Как они овладели святою наукой
не дрожать,
ненавидеть
и грозно молчать,
в надменной сжиматься под смерт-
ною мукой.

Эти детские губы:
сухне огни,
воспаленно тоскующие по влаге.
Без движения,
без шороха
шепчут они,
как признаше,
слово бойцовской тишины.

Стала ты под пыткой Татьяной,
онемела, замерла без слез.
Воснком,
в одной рубашке рваной,
Зою выгоняли на мороз.
И своей летающей полодкой
пла она под окриком врага.
Теперь ее, очерченная четко,
надала на лунные снега.
Это было все на самом деле,
и она была одна, без нас.
Где мы были?
в комнате сидели?
Как могли дышать мы в этот час?
На одной земле,
под тем же светом,
по другую сторону черты.
Что-то есть чудовищное в этом.
— Зоя, а ты как не ты?

Снегом заворошенные прядки
коротко остриженных волос.
— Это я,
не бойтесь,
все в порядке.
Я молчала.
Кончился допрос.

Только б не упасть, цепой люблю...
Окрик:

— Русе! —

и ты идешь назад.
И бнать глумится над тобою
гитлеровской армии солдат.

Русский воин,
любовя, одетый
в справедливую пивель бойца.
Ты обязан помнить все приметы
этого зверивого лица.
Ты его преследовать обязан,
как бы он ни отступал назад,
чтоб твоей рукою был наказан
гитлеровской армии солдат.
Чтобы он припомнил, умная,
на спегу кровавый Зоян след.
Но постой, постой, ведь я не знаю
всех его отличий и примет.
Малого, большого ль был он роста?
Черпомазый,
рыжий ли?
Бог весть.

И не знаю.

Как же быть?

А просто.

Бей любого!

Это е. в ести.

Гитлеровский вынормыш, грабитель,
варвар и убийца и пэзер.
Ты его настани
воин-мститель!

Пусть он слышит е. риный приго-
вор!

Встань над ним карающей грозой.
Твердо поведи.

Что бы он ни был,
это он кетезавную Зою
по свету Натрив ва водил.
И откуда собственной рукою
ты его не свавашь пановал,
я хачу, чтоб счастья и покоя
воспаленным сердцем ты не знал.
Чтобы видел

будто бы воочию,
русское село,—

светло, как днем.

Залит мир декабрьской лунной почью,
пахнет ветер дымом и огнем.

И уже почти что над спегами,
легким телом устремясь вперед,
девочка,

последними шагами,
босиком в бессмертие идет.

—

Коптящая лампа, остывшая печка.
Ты спишь или дремлешь, дружок?
...Какая-то ясная-ясная речка,
зеленый крутой бережок.

Приплыли к Марусеньке серые гуси,
большими крылами шумят...
Вода достает по колено Марусе,
но белые ноги горят...
Вы, гуси, летите, воды не смутите,
пускай вас домой отнесет...

От песенки детской до пытки немецкой
зеленая речка течет.

Ты в ясные воды ее загляделась,
но вдруг повалилась ничком.
Зеленая речка твоя загорелась
и все загорелось кругом.

Идите, скорее, ко мне на подмогу!
Они поджигают меня.
Трубите тревогу, трубите тревогу!
Спасите меня от огня.

Допрос ли проходит?
Собаки ли лают?

Все сбилось и спуталось вдруг.
И кажется ей,
будто села пылают,
деревни пылают вокруг.

Но в пламени этом шаги раздаются.
Гремят над землею шаги.

И падают наземь
и в страхе сдаются

и гибнут на месте враги.
Гремят барабаны, гремят барабаны,
труба о победе поет.

Идут партизаны, идут партизаны.
Железное войско идет.

Сейчас это кончится.

Боль прекратится.

Недолго осталось терпеть.
Ты скоро увидишь любимые лица,
тебе не позволят сгореть.

И вся твоя улица,
— вся твоя школа
к тебе на подмогу спешит...

Но это горят не окрестные села,
избитое тело горит.
Но то не шаги, не шаги раздаются,
стучат тоноры у ворот.
Собновые бревна стоят и не гнутся.
И вот он готов, эшафот.

—

Лица неспросившиеся хмуры,
будто бы в золе или в пыли.
На рассвете из комендатуры
Зонау одежду принесли.
И старуха, ежась от тревоги,
кое-как скрывая дрожь руки,
на твои пылающие ноги
натянула старые чулки.
Светлым ветром память пробежала
по ее неяркому лицу:
как-то дочек замуж отдавала,
одевала бережно к венцу.
Жмурялись от счастья и от страха,
прижимались к высушенной груди...
Свалебным чертогом встала плаха,
Голубица белая, гряди.
Нежили,

голубили,
растали,

а чужие провожают в путь.
— Как тебя родные окрестили?
Как тебя пред богом помянуть?

Девушка взглянула краем глаза,
повела ресницами, верхней...

Хриплый лай немецкого приказа,
офицер выходит из дверей.

Два солдата со скамьи прирветали
и, присев на хромоногий стул,
он спросил угрюмо:

— Где ваш Сталин? —

Она сказала:

— Сталин на посту. —

Сталин на работе.

Это значит:

над землей рассвет еще плывет.
Дымы розовеют.

Это пачат

новый день сражений и работ.
Управляясь с хитрыми станками,
в складке губ достойно скрыв печаль,
женщина

домашними руками
вынимает новую деталь.
Семафоры,

рельсы,

полустанки,
скрип колес по мерзлому песку.

Бережно закутанные тапки
сдут на работу под Москву.
Просыпаются в далеком доме
дети, потерявшие родных.
Никого у них на свете, кроме
родины.

Она согреет их.

Вымоет, по голове погладит,
валенки натянет,—

пусть растут!

Молока пальет,

за стол посадит.

Это значит — Сталин на посту.

Это значит:

вдоль по горизонту,

где садится солнце в облака,
по всему немислимому фронту
бой ведут советские войска.

Это значит:

до сердцебиенья,

до сухого жжения в груди,
в черные недели отступленья
верить, что победа впереди.

Это значит:

наши самолеты

главно набирают высоту.

Дымен ветер боя и работы.

Это значит — Сталин на посту.

Это значит:

вставши по приказу,

только бы не вскрикнуть при врагах,—
ты идешь,

не остывая ни разу,

на почти обугленных ногах.

Как морозно.

Как светла дорога.

Утрепняя, как твоя судьба.

Поскорей бы!

Пет, еще немного?

Пет, еще не скоро...

От порога...

по тропинке...

до того столба...

Надо ведь еще дойти дотуда,
этот длинный путь еще прожить...
Может, ведь еще случится чудо...
Где-то я читала...

Может быть...

Жить...

Потом не жить...

Что это значит?

Видеть день.

Потом не видеть дня?

Это как?

Зачем старуха плачет?

Кто ее обидел?

Жаль меня!

Почему ей жаль меня?

Не будет

ни земли,

ни боли...

Слово «жить»...

Будет свет

и снег

и эти люди.

Будет все, как есть.

Не может быть!

Если мимо виселицы прямо
все идти к востоку — там Москва.
Если очень громко крикнуть «Ма-
ма!»

Люди смотрят.

Есть еще слова...

— Граждане,

не стойте,

не смотрите!

(Я живая, — голос мой звучит).

Убивайте их, травите, жгите...

Я умру, но правда победит!

Родина! —

Слова звучат как будто

это вовсе не в последний раз.

— Всех не перевешать,

много нас!

и — сталинской традиции и стали.
ей кровью ненавдя и любя,
и вынесли,
дожили,
достояли.

и достоин!
Он прожит этот год.
ы выросли, из нас иные седы.
о это все пустое!

Он придет,
и будет,
он наступит
день победы.
юка мы можем мыслить, говорить
и подыматься по команде: «К бою!»
юка мы дышим и желаем жить,
мы видим этот день перед собою.

дна взойдет усталая заря,
огретая дыханием горячим,
клявою кровью над землей горя
зсех тех, о ком мы помним и не пла-
чем.

Не можем плакать.
Слишком едок дым,
и солнце светит слишком редким све-
том...

Он будет этот день.
" но не таким,
каким он представлялся прошлым ле-
том.

Пускай наступят в мире тишина.
Без пышных фраз,
без грома,
без парада,
судьба земли сегодня решена.

Не падо песен.
Ничего не падо.
Снять сапоги и ноги отогреть,
посеть, умыться и поспать по честн...

Но мы не сможем дома усидеть
и все-таки мы соберемся вместе.
И все-таки, конечно, мы споем,
ту тихую,
ту русскую,

ту нашу.
И встанем и в молчалив разопьем
во славу павших дружескую чашу.

За этот день отдали жизнь ояп.
И мы срываем затемпье с оюк.
Пусть загорятся чистые огни
во славу павших в воздухе высоком.

Смеясь и плача, мы пойдём гулять,
не выбирая улиц,
как понало,
и незнакомых будем обнимать
затем, что мы знакомых встретим мало
Мой милый друг,
мой свидетель,
мой сосед!

Пам этот день за многое награда.
Война окопчена.

Фашизма в мире пет
Во славу павших радоваться падо.
Пусть будет солнце,
пусть цветет сирень,
пусть заплочь затянутся бессды...
Но вот настанет следующий день,
тот первый будний день за праздником
победы.

Стук молотов, моторов и сердец...
И к творчеству вернувшийся худож-
ник
вдохнет глубоко и возьмет резец.
Резец не дрогнет в пальцах осторож-
ных.

Он убивал врагов,
он был бойцом,
держал винтовку сильными руками.
Что хочет он сказать своим резцом?
Зачем он выбрал самый трудный ка-
мень?

Он бросил дом, работу и покой,
он бился вместе с тысячамч тысяч,
затем, чтоб возмужавшею рукой
лицо победы из граната высечь.
В какие дали заглядишься ты,
ещё невеломый,
уже великий.

По мы узнаем Зопны черты
в откинутом,
чудесном,
вечном лике.

Июль—сентябрь, 1942
Москва



ЕВГ. ГАБРИЛОВИЧ .

ПОД МОСКВОЙ

Повесть

ГЛАВА I

— Вот и Волга, — сказал товарищ Семенов, политрук второй роты. Петр Котельников вышел на площадку вагона. Длинный, далеко растянувшийся, толкаемый двумя паровозами поезд, везший дивизию на фронт, подходил к волжскому мосту. Хмурый день, мелкий дождь — осень 1941 года. Земля, раскинувшаяся перед Петром, была бугристая, пустая, холодная, кое-где уже покрытая снегом. Проплывали избы со скворечниками на шестах, с перевернутыми лодками на дворах, рядом с телегами и санями. Мелькнул закрытый шлагбаум: лошаденка, запряженная в телегу, стояла перед ним, стараясь ухватить верхней губой листок с увядшей рябины. А женщина, сидевшая на телеге, дергала вожжей и выкрикивала что-то сердитое и короткое, вероятно:

— Стой! Тыру! Стой, чорт, тебе говорят!..

— А строгая дамочка! — олобительно сказал командир отделения сержант Перчаткин, стоявший в тамбуре.

Паровоз дал свисток и медленно, как бы перешительно, вполз на мост. Внизу, сквозь стальной переплет моста, замелькали холодные, тяжелые серые волны, баржи у берегов, черный буксир, тянувший нефтеналивной караван и, казалось, недвижимо увязнувший посреди реки, в клубках отчаянного серого дыма.

«Вот скоро я и дома!» — подумал радостно Петр. В Москве он провел детство, окончил там среднюю школу, лейтенантские курсы и был после этого направлен в полк, квартировавший в Сибири, где и прослужил командиром роты три с половиной года. «Какая она теперь, Москва? Что-то на нашей Кропоткинской? Как Оля? Скорей бы, скорей!» — нетерпеливо думал он, сердито глядя на медленно унывавшие пролеты моста. «Ну что это за езда?»

— Перчаткин, в Москве бывал? — обратился он к сержанту.

— Да где мне? — изумленно ответил Перчаткин. — Я же еще молодой... Где мне?

— Жснатый?

— Нет... Невеста есть.

— Хороша?

— А как же, — все более и более изумляясь, ответил Перчаткин, — невеста — и не хороша... Как же так?

Эшелон миновал волжский мост. Колеса, убыстряя ход, застучали на стыках рельс. Дождь усилился, сплошная седая пелена повисла над деревьями, ямами, рельсами, столбами, ступеневая далекую, волнистую изогнутую линию лесов. Тяжелая промокшая ворона пролетела над телеграфной проволокой, состязаясь с поездом в быстроте, каркнула и отстала. Внизу, по дороге, тянулись телеги, — возчики в брезентовых капюшонах, иные — просто с рогожными мешками на головах. А дальше виднелись поля с пятнами раскиснутых по холмам деревень, с коровами, укравшимися от дождя в оврагах, с крохотными черными точками людей, перебежавших с вештовками в руках от ложбинки к ложбинке, — шло обучение роты какой-то резервной части. Октябрь. Холодно, сыро, шумит дождь, постукивают колеса.

— Хорошо! — с удовольствием сказал Перчаткин.

Настала очередь изумляться Петру.

— Что хорошо?

— Земля хороша! — ответил Перчаткин, — ишь, какое живье, урожай был богатый. Вот сколько ни едем, а все земля хороша! Считать — тысяч пять километров проехали, и всюду красиво...

— Что ж тут красивого?

— А как же! — сказал горячо Перчаткин, — леса да поля... Все ровпо... И речки хорошие... Красота!

Вечером на небольшой станции повстречали первый эшелон с эвакуируемым из Москвы заводом. На платформе стояли засыпанные мокрым снегом станки, — снег в том году был ранний, обильный. Громоздились тронувшиеся в дальний путь динамомашины, прессы, двухгорбые и трехгорбые бугры каких-то стальных громадин, покрытых брезентом. За платформами следовали теплушки, — в них размещались рабочие с семьями. Здесь сквозь щели дверей поблескивали огоньки, из самотельных труб валил черный, тяжелый, казался сырой дым. Слышался детский плач и глухая, как осень, мелодия баюканья. Кто-то кричал:

— Сенька! Где чайник, а? Куда чайник-то подевал? Это игрушка тебе, да? Пить хочется!

Бойцы обступили рабочих, одетых в замасленные спеночки, словно и здесь, в далеких снежных стенах, на колесах, среди этих станков с кусками выломанного бетонного пола на стальных подошвах, продолжалась какая-то работа, какой-то производственный ритуал, как и там, на далеком опустевшем московском заводе. Слышались возгласы:

— Ну, как в Москве?

— Давно из Москвы?

— Где немцы?

Ответы сыпались со всех сторон. Молодая высокая девушка в синих байковых лыжных штанах и в берете звонко крикнула с платформы:

— Бейте немцев, бойцы! Не пускайте в Москву.

— А зачем их пускать? — отвечал один из бойцов, Зинялкин, весело и с удовольствием глядя на девушку, — отобьем! Только, девчата, — условие наперед: благодарность будет?

— Будет... Варезки свяжем,— сказала толстушка, стоявшая рядом с той, в синих штанах.

— Легко цепите,— ответил сразу Зинялкин под общий смех,— дело кровавое, поцелуя стоит.

Воинский эшелон тронулся, и Зинялкин, подпрыгивая на ходу за уплывающей ступенькой, кричал:

— Так как же? Условились?

— Условились,— смешливо и весело донеслось из черной осенней мглы.

Зинялкин вскочил на подножку, подтянулся, влез в теплушку, и долго еще смеялись и похлопывали его по плечу бойцы, вспоминая весь этот разговор. острый парень, как ерш,— его не подцепишь.

С утра встречные эшелоны с эвакуированными потекли нескончаемым потоком. Это были длинные эшелоны, столь же пестрые, разноцветные, как и их пассажиры. Двигались заводы, учреждения, исследовательские институты, академии, электростанции, автомобили, огромные, похожие на слонов, троллейбусы с длинными, черными, беспомощно болтавшимися усами и с неспящими табличками: «№ 2 — Ржевский вокзал».

Некоторые эшелоны состояли из теплушек, другие — из дачных вагонов, третьи — из вагонов подмосковной электрички. Вести, рассказываемые пассажирами этих страных ковчегов, были сбивчивы, опровергали друг друга, но становились все тревожней и тревожней. Говорили, что немцы взяли Можайск, подходили к Голицыну, но их отбили; потом выяснилось, что пет, не отбили, и немцы взяли Звенигород; затем утверждалось, что все же отбили, но Звенигород взят, и не только Звенигород, но и Клин и Солнечногорск; что вражеская разведка приблизилась к Химкам. На одной из станций, в очереди за кипятком, какой-то человек божился, что он только-что из Москвы и что Москва вчера вечером запята немцами. Человека этого задержали, повели к коменданту, где выяснилось, что он из Орши, был у немцев, и немцы отпустили его для свидания с какими-то родственниками в Москве. Бородатый, низенького роста боец, приведший этого человека к коменданту, медленно и веско говорил, слушая рассказ:

— Шпион... Как есть шпион...

Тот набросился на него:

— Кто шпион? Ах ты!..

— Ты не ахай!.. Шпион!..

Человека арестовали.

А воинский эшелон все шел и шел на запад, изредка делая короткие остановки. Миновали Рязань. Вот и подмосковные дачи. Пустые платформы, заколоченные окна, голубые лодки, сиротливо покачивающиеся у безлюдных пристаней. На одной из платформ мороженщик, словно ненастоящий среди этой пустоты, словно извлеченный из чего-то давно минувшего, кричал:

— Эскимо! Шоколадное!

И все тот же боец, по фамилии Кройков, который заподозрил шпиона в человеке, рассказывавшем о Москве, снова хмуρο и злобно сказал:

— Тоже, небось, шпион... Или так — дурак... Шоколад! Нашел время.

На глухой станции началась выгрузка дивизии. В холодной темноте,— хотя было не больше семи часов вечера,— выкатывали с платформ орудия, пулеметы, машины, выпрыгивали из теплушек и, построясь, отходили в ближний лесок бойцы. Здесь были вырыты землянки. Эти землянки были вроде как бы проходные: вновь прибывшие части занимали их не более одной ночи, и глаз, при-

тыкнув к телефону, тотчас же начал, случившиеся случаи, как она сорзды от движения многих тысяч людей, почевавших тут, куривших, чинивших шипели и гимнастерки, писавших письма, чистивших сапоги. Окурки в углу, банка из-под ваксы с нарисованным на крышке радостным человечком со щеткой в руках, три мелких монетки на столе, обломок карандаша, тряпка, газета и брошенный кем-то писанный лиловыми чернилами листок,— видимо, черпownik письма.

«Настя! Мы проехали пять тысяч километров, а потом еще много прошли и теперь идем бить врага штыком и пулей.

Настя! Ты думай обо мне, и пусть сынок помнит обо мне, а я как вернусь, заживем счастливой жизнью.

Настя! Скоро мы выгоним немцев и вернемся назад. Настя! Ты думай обо мне, как я думаю о тебе. И пусть сынок помнит, как я его помню. А я, как вернусь, будем жить счастливо...»

Разместив своих людей, лейтенант Петр Котельников отпросился у командира на несколько часов в Москву, к сестре. Попутный грузовик подвез его до заставы, и там, перебираясь с трамвая на трамвай, он добрался до Дворца Советов.

Город был темен и пуст. Сильно били зенитки,— в небе вспыхивали золотые, острые звезды, но тревога не объявлялась. Днем прошел снег, и теперь на тротуарах и мостовых стояли лужи; пахло холодной, пронзительной снежной сыростью,— ни осень и ни зима.

Посвечивая походным фонариком, Петр старательно обходил лужи,— сапоги на нем были мягкие, хромовые, те, что в армии называют «жепиховскими». Когда он подходил к знакомому переулку, в небе зажегся желто-оранжевый свет и где-то далеко, за Садовой, отчетливо выступили вдруг очерченные резкими тенями сплуты здания: немецкий самолет сбросил осветительную ракету. Сильней загремели зенитки, отовсюду по направлению к ракете, повиснувшей в небе, как лампа, протянулись синие, зеленые, красные цепочки трассирующих пуль. Ракета погасла. Тревога попрежнему не объявлялась,— видимо, летел одиночный разведчик.

Петр свернул в переулок. Темно. «Цел ли дом?» — тревожно и нетерпеливо подумал он. Дом был цел. В этом доме он жил десять лет, еще ребенком знал эти камни, ворота, дворы; после призыва в армию в его комнате поселилась сестра Оля, студентка первого курса.

Петр осветил фонариком темный вход, сразу почувствовал знакомый запах керосина, кошек, древней, лежалой пыли, борща и постучал в дверь. Нет ответа.

— Что за оказия? — пробормотал он.

Он постучал еще раз, изо всех сил, — даже задребезжали окна.

Послышались шаги. Незнакомый голос окликнул:

— Кто там?

— Свой.

— Кто свой?

— Свой. Котельников. Брат Ольги Сергеевны.

— Какой брат? У нее брата нет.

— Есть! Вот я ее брат.

— Нет у ней брата! Кавалеры есть, брата нет.

Петр сказал:

— Послушайте, я ее брат, командир, еду на фронт, откройте.

— Нет ее, — сказал голос, — она уехала укрепленья копать. Вот придет, тогда приходите.

— Уехала, — произнес огорченно Петр, — ах, чорт побери, незадача... Пусть-те, я ей письмо напишу.

— Нет, без нее нельзя.

— Да кто-нибудь есть из старых жильцов? — сердито крикнул Петр.

— Старых нет, одни новые... Старые эвакуировались.

Петр досадливо махнул рукой и начал спускаться вниз, когда дверь скрипнула и все тот же незнакомый голос окликнул:

— Послушайте, брат! Заходите!

Петр снова взобрал по ступенькам. В коридоре горела синяя лампочка. Петр подошел к знакомой двери, на двери висел замок.

— Ключа нет? — спросил Петр.

Опять начались препирательства. Петр доказывал, что он брат Ольги Сергеевны и, следовательно, имеет право войти в ее комнату, а жилец говорил:

— Да откуда я знаю, что вы брат? Кавалеров я видел, а брата не видел. Брата в природе не было.

Наконец он сдался и выдал ключ. Петр вошел в комнату. Она показалась ему очень маленькой, тесной. Справа попрежнему стоял его, Петра, шкаф, а возле окна висело, как и пять лет назад, его зеркало. На столе Петр увидел шкатулку. Здесь была разная мелочь: катушка ниток, иголка, зубная щетка, пуговицы, два посовых платка, неразвернутая конфета, три фотографии. Первая фотография: Оля с каким-то юношей на лодке у Воробьевых гор. Оля — в легком летнем платье, в туфлях-босоножках. Надпись на обороте: «Август 1941 года. Оля и Миша». Вторая фотография: парк, скамейка, цветы. Оля и юноша. Надпись: «Август 1941 года. Оля и Миша».

«Да кто такой этот Миша? — с нелобожелательством подумал Петр. — Какой-то у него вид актерский. Да, да, — вспомнил он, — она писала, что хочет стать актрисой. Вот еще чепуха! Дочь Сергея Сидоровича Котельникова — и вдруг актриса! И кто такой этот Миша?»

Он обмакнул перо в чернильницу и написал на обороте одной из фотографий:

«Был у тебя и не застал, еду на фронт, теперь не скоро увидимся. Кто этот Миша? Целую тебя.

Твой брат Петр».

Вошел все тот же жилец и спросил:

— На фронт отправляетесь? Москву защищать? Самое время. Немцы в Химках.

— Кто вам это сказал?

— Сегодня на рынке колхозница говорила.

— А вы не верьте! — сердито сказал Петр. — Мало что врут! Надо бороться, а не сплетни слушать, — вдруг бешено крикнул он, — прощайте!

Он вышел на улицу. Жилец затворил дверь, потом вошел в комнату Оли и остановился около комода, на котором лежала шерстяная шаль. Эта шаль жильцу очень нравилась. Ему очень хотелось взять ее себе, но он боялся возвращения Оли. Он решил взять шаль, когда немцы возьмут Химки. Сегодня Химки как будто взяты? Но, может быть, на рынке брехали?! Брехали или не брехали? Он взял в руки шаль и погрузился в глубокое раздумье.

Солнце еще только встало, когда рота Петра спешилась и походным порядком, погромыхивая котелками, разбрызгивая сапогами снежную слякоть, двинулась к передовым. Сзади на повозках помещались пулеметчики, а на других повозках, растянувшихся по перелеску, ехали солдатские сундуки и мешки с взгромоздившимися на них, сдвинувшими пилотки пабок, спокойно и равнодушно курившими обоянными.

Утро выдалось ясное, воздух был чист и прозрачен, и всей роте — от высокого белокурого Перчаткина, шедшего в первом ряду и легко, уверенно несшего тяжелую выкладку, до бородатого угрюмого бойца Кройкова, того самого, что заподозрил в мороженщике шпиона, — было весело и приятно идти.

Свежее, солнечное, синеваато-оранжевое утро вызывало в мыслях и теле такое ощущение радостного спокойствия, безопасности, порядка, легкости предстоящих дел, что самое движение на передовые позиции, самое приближение со смертью — час, о котором столько думалось за последние месяцы, — казалось простым, спокойным, чуть торжественным, и уверенность в своей стойкости, в невозможности для врага смять, разбить, уничтожить людей, столь разумно, весело и размашисто шагающих по дороге, билась в сердце каждого бойца.

«Леса-то, леса! — думал высокий Перчаткин. — Вот оно как тут, под Москвой. Хорошо!.. Избы отличные, огороды... Холмы... Как же тут комбайном работать? — подумал он озабоченно. — Небось, намасься! Да тут и комбайнов-то нет, все, надо быть, электричеством, как в журнале», — с уваженьем подумал он.

На дороге работали девчата. Когда рота проходила мимо них, они оперлись о лопаты и, усмехаясь, задорно глядели на проходящих. Одна из них, маленькая, в сапогах, в пестрой, раздувающейся от ветра юбке, крикнула, указывая на Перчаткина, который шел, увлеченно и задумчиво глядя по сторонам:

— Ох, и длинен же! А уж и костляв, девчешки!.. Наколешься!

— Голько б не запозилась! — тотчас ответил Зинялкин.

Бойцы так и грохнули смехом и, уже уйдя далеко вперед, свернув с большака на широкую, вытоптанную среди кустарника дорогу, все еще переговаривались, улыбаясь. И хотя нашелся ответом один лишь Зинялкин, всем было приятно и весело сознавать, что вот, мол, какие они задорные, боевые ребята, за словом в карман не полезут, их, мол, не задрай!

В последнем селе, километрах в трех от переднего края, бойцов ждала кухня. Повар, в пилотке, в керзовых сапогах и в белом халате, стоял, расставив ноги, на грузовике и огромной ложкой разливал щи. Его помощник быстро и ловко нарезал хлеб. Бойцы, получив еду, отходили, садясь на траву, вынимали ложки из-за голенищ и громко переговаривались, подставляя под ложки хлеб, чтобы не пролить щей.

Кройков, — тот самый бородатый боец, — зашел в избу: он был человек хозяйственный, неторопливый и решил поесть за столом.

— Здорово, хейлика!

— Здравствуйте...

— Посидеть — отдохнуть можно?

— Да милости просим...

— Берн ложку, садись вместе обедать.

— Еще что! — сказала хозяйка. — Ты, боец, масься, кровь проливаешь, тебе наек даш... Буду я тебя обедать.

— Садись, садись!..

Хозяйка села, по обедать не стала. Съев щи, приступая к каше, Кроекв огляделся по сторонам:

— Изба хорошая... Давно строили?

— Да только отстроились, перед войной.

— Дорого стала?

— Десять тысяч отдали,— охотно и оживленно откликнулась хозяйка,— и коровник пятьсот рублей.

— Дорого,— сказал Кроекв и мельком оглянул потолок,— изба половину стоит.

— Половину? — обиженно протянула хозяйка.— Враз половину! Пшь ты, какой дешевый!..

— Переплатили,— без горечи возразил Кроекв,— ты мне не говори, я плотник, переплатили!..

Он встал, обошел стены, внимательно всматриваясь, простучивая бревна согнутым указательным пальцем.

— Муж где? На фронте?

— На фронте.

— Партийный?

— Чего?.. Беспартийный.

— А сама-то партийная?

— Кто это — я?

— Ты.

— Я-то сама беспартийная,— озабоченно ответила хозяйка.

— Маркса — Энгельса не читала?

Хозяйка казалась совсем сбитой с толку.

— Откуда мне?

— Так-так-так,— сказал Кроекв, наклоняясь, оглядывая пол и пробуя ногой его прочность.— А я, тетка, партийный.

— Ты партийный?

— Партийный. А что?

— Да так,— в замешательстве протянула хозяйка,— непохоже... И по шпелю и по разговору.

— Шпелю как есть шпелю,— недовольно сказал Кроекв,— и разговор как есть разговор...— Он надел пиютку, подвязал котелок, засунул ложку за голенище.— Прощенья просим!.. А за пзбу переплатили!

Петр сидел в избе и обедал, когда вошел боец Миляков, охрапавший штаб роты.

— Товарищ лейтенант! Вас гражданочка требует.

— Какая гражданка?

— Обыкновенная. В сапогах, с пистолетом.

— Впусти сюда.

Вошла белокурая девушка, обутая в огромные сапоги, в гимнастерке, замазанной глиной, с черными от грязи руками. Она остановилась у двери, шаркая подошвами о рогожу, чтобы стереть с них грязь, решительно и смело глядя на Котельникова.

— Вы не брат Ольги Сергеевны Котельниковой?

— Брат. А что?

— Так поздравляю вас, она здесь недалеко, в рабочем отряде... Вместе с

...иногда...
обутые в сапоги.— Послушайте, у вас легкий табак есть?

— Есть! — все более удивляясь, сказал Петр.

— Так угостите... Третью неделю махорку тяпу.

Петр полез за кнсетом, и пока девушка лихо свертывала цыгарку, машинально и напряженно следил за каждым ее жестом.

— Да как вы-то узнали, что я тут? — наконец спросил он.

— Голову на плечах имею, — с достоинством отрезала девушка, — спички есть? Спасибо. Ничего, если я возьму всю коробку? Спасибо... Я за гравнем еду в Кублинку. Остановилась здесь, машина испортилась, шофер — барахло... Слышу: два бойца говорят про лейтенанта Ботельпникова, ну, я подумала, не Оля ли брат...

— Да, как Оля-то? — заволновался Петр. — Что с ней? Как здоровье?

— Оля? — протянула небрежно девушка, — Оля есть Оля. Жизнь в ней мало! Все лупа да цветы... Стихи пишет! — со смехом выкрикнула она. — Вот влюбилась, разве время, скажите — разве время?

— В кого это? — Белокурая девушка определенно раздражала Петра.

— В Мишу какого-то. Такой же малокровный, как и она. Тонкие ножки! В общем — не дело!.. Послушайте, вы здесь это обмундирование получали?

— Нет, не здесь.

— Хорошее обмундирование, — с завистью сказала девушка, — вот бы мне такие штаны. Мечта! У вас байковые портянки есть?

— Есть.

— Поменяемся! — с жаром воскликнула девушка. — Я вам за них две пары холщевых дам... Ноги мерзнут, честное слово!

Она помолчала и спросила:

— Вы никаких новостей не слышали?

— Нет.

— Ваш отец сильно болен... Оля письмо получила. Можно чайку попить? С сахаром?

— Болен? — огорченно переспросил Петр. — Шейте! — сказал он машинально. «Как же так — болен? Такой спальный старик, никогда не болел.» — думал он, недоверчиво и сердито глядя на белокурую девушку. — А вы точно знаете, что болен? — резко спросил он.

— Не огорчайтесь! — сказала белокурая девушка, прихлебывая чай. — Мало сейчас убитых? Все мы под смертью ходим. Слюни пельзя распускать!

— Спасибо за поучение, — с ненавистью промолвил Петр.

— Не за что! Еще сахар есть? Вот и хорошо. Что Ольге передать?

— Я ей письмо напишу. Подождете? — Она кивнула головой.

Он присел к подоконнику и стал набрасывать письмо карандашом на листке блокнота, косясь на печальную девушку, которая, окончив, наконец, пить чай, запялась своими сапогами, отколушывая грязь, присохшую к голенищам.

«Любимая Оленька, — писал он, — я был у тебя в Москве и не застал. Как я был счастлив окунуться в атмосферу твоей комнаты, где все напоминает тебя»... «Какие глупости я пишу, — подумал он, косясь на белокурую девушку, — действительно, лупа и цветы!» «Оленька, — продолжал он писать, — что с отцом? Да как это он захворал? Помнишь, какой он был огромный, ходил в длинном пиджаке, в синей косоворотке?» «Пет, ерунда!» — в отчаянии подумал он. Не было решительно никакой возможности изъясниться в родственных чувствах в присутствии этой белокурой. Он опять обмакнул перо: «Кгг

написал он. И как только он написал это, строчки вдруг потекли легко, свободно, вдохновенно, и он, злорадно и мстительно косясь на белокурую девушку, в минуту заполнил две страницы острыми, язвительными замечаниями по ее адресу, по адресу дур и тупиц, которые воображают о себе нивесть что. Окончив писать, он сложил вчетверо листок и сказал:

— Передайте. Надеюсь, читать не будете?

— Не буду,— равнодушно ответила девушка.— я своих-то писем не читаю, а то чужие буду... Прощайте... Кстати, на всякий случай: меня зовут Варварой Огнковой.

— Счастливы это услышать.

— Счастливы или нет, а так зовут... Прощайте. Ну что же, портянками будем меняться?

Не получив ответа, она вышла решительными шагами, стуча подковами сапог, и слышно было, как дежурный Зинялкин сказал в сиях другим бойцам:

— Ну, и девка! Аж половища гнется! А кулак-то какой. Как ударит! Мой вкус!

И опять, как всегда, когда отпуская шутки Зинялкин, бойцы смеялись и хлопали его по спине: не парель — запоза, с ним не соскучишься.

В сумерках рота подошла к передовым. Она смеяла роту, бессменно сражающуюся вот уже десять дней. Сменяемые бойцы вылезали из блиндажей, из трапшей и строились в лесочке. Лица у них были заколеченные и лоснились от пота, как после долгого сна. Шинели были грязные, порванные, передко с выгоревшими дырами — от костров.

— Ты как же? В шинели япчницу жарышь? — спросил Зинялкин одного из этих бойцов. Но, несмотря на то, что шутка казалась Зинялкину отличной, никто из бойцов не ответил ему, и даже свои ротные, не засмеялись.

Быстро темнело, пошел дождь. Земля скрылась в тумане, — песяная, бугристая земля, изрытая окопами, оплетенная колючей проволокой, усеянная мшинами. Вдали виднелось какое-то темное пятно — подбитый танк.

Ночь прошла спокойно, а на рассвете налетели немецкие бомбардировщики и справа, из-за холма, стреляя гранатными снарядами, переваливаясь на рывтинах, показались немецкие тапки.

Это был удар мотодивизии генерала фон Шутте, удар, который, с одновременными ударами на севере и на юге, должен был, по плану немецкого командования, привести к захвату Москвы.

ГЛАВА 3

Ольга Котельникова, сестра Петра, действительно писала стихи и мечтала стать актрисой. Она только в этом году окончила среднюю школу и в августе, одновременно с экзаменами в вуз, держала экзамены в вечернюю театральную школу.

Испытания в театральную школу происходили в маленьком профсоюзном клубе, экзаменующиеся сидели в полутемном, пахнущем лаком и театральной пылью, зале, а экзаминаторы — на сцене, за длинным столом, на фоне написанных на холсте замков, озер и двух пестрых, похожих на кур, лебедей.

Один за другим выходили на сцену юноши и девушки и читали басни, стихи и прозу, а экзаминаторы, занятые обсуждением военных сводок, горячо перешептывались друг с другом и только иногда, отвлеченные от этого дела

каким-нибудь громким возгласом декламатора, всматривались в него, шурясь и значительно покачивая головами.

Пришла очередь Ольги. Она вышла на сцену и, смущенная полутьмой, необычностью обстановки и тем обстоятельством, что в этот самый момент капельдинер громко бранил какого-то гражданина за неправильно развешанные афиши, а тот отвечал: «Да паше дело простое, клей есть, стены есть, мы и клеим», — едва слышно проямлила «Квартет». Потом, немного освоившись, уже лучше, прочла стихи Маяковского. А когда дело дошло до прозы, совсем увлеклась и прочла отрывок из «Мертвых душ» с такой силой и выразительностью, что председатель комиссии прервал на секунду обсуждение французских событий и шепнул своему соседу, прославленному актеру:

— А неплохо, ей-богу!.. И голос хорош, а?

На что знаменитый актер, с трудом оторвавшись от французских дел, отвечал:

— Гм!.. Да... Пожалуй... Кхе!.. Гм!..

Незадолго до поступления в театральную школу и вуз Ольга и познакомилась с Мишей.

Когда начались усиленные бомбежки Москвы с воздуха, она стала ходить во время воздушных тревог в метро. Сюда, под вой сирен, под глухой грохот дальних зениток, спускались толпы москвичей с мешками и рюкзаками, в которых лежали одеяла, подушки, кое-какое белье (на случай, если квартира будет разбомблена) и несколько завернутых в бумагу бутербродов. Люди двигались по туннелям, располагались на пропитанных мазутом камнях, между рельсами, возле покатых и гладких стен. Стелили одеяла, газеты, клали на рельсы подушки, разувались. Вскоре многие уже спали, в то время как другие жевали бутерброды или пиячили детей под монотонный гул автоматических пушек, прерываемый чудовищным громом, сотрясающим своды: фугасные бомбы!

Случилось однажды так, что Оля и Миша разместились рядом, между рельсами, возле гладкой холодной стены, за которой мерно и монотонно журчала по трубам вода. Оля, накинув на плечи пальто, читала книжку. Миша лежал на спине и неосознанно поглядывал на Олю. Ему очень хотелось заговорить с ней, но он никак не мог решить с чего начать. Сказать: «Фугаска ушла!» — девочка могла это счесть за трусость. Сказать: «Сегодня погода испортилась!» — пошлость! «Вы далеко отсюда живете?» — пошлость! «А здесь совсем не так жарко, как в метро в Охотном ряду» — слова пошлость! Нет, надо что-нибудь спокойное, солидное. Наконец он спросил:

— Читаете?

Она с удивлением подняла голову.

— Да, читаю.

— А рядом — мама спит?

— Нет, — удивленно сказала Оля, — какая мама? Просто гражданка! Я ее и не знаю.

— Вот как? Вы что читаете?

— Гамсуна.

— А Алексея Толстого читали?

— Читала.

— И в кино ходите?

Бух! — раздалось неподалеку, стены и рельсы дрогнули, и все спавшие зашевелились и забормотали: где-то рядом упала фугаска.

— Конечно, хожу, — ответила Оля.

— Вот как! — с удовлетворением сказал Миша. — Давайте знакомиться, я тоже люблю читать... Михаил Скороходов... Я техник, работаю на заводе. Мне очень хотелось бы с вами встретиться...

Оля поднялась и собрала свои вещи.

— Куда вы? — спросил Михаил.

— Знаете, мне очень хочется читать, — сказала Оля, — разговоры меня отвлекают. До свиданья.

— До свиданья, — пробормотал Миша.

Она ушла. Несмотря на столь неожиданный афронт и на то, что Михаил считал себя очень обиженным и в течение всей тревоги старался забыть об Ольге, голубые ее глаза и слегка вздернутый носик витали перед его умственным взором и не давали покоя. И когда через несколько дней снова была объявлена тревога, он чуть ли не первым ринулся в туннель и стал искать Ольгу. А когда нашел, то сказал:

— Здравствуйте!

— Здравствуйте.

— Мы с вами знакомы. Помпите?

— Не припоминаю.

— Гм... Как же так? Тут познакомились, в этом туннеле...

— Возможно.

— Видите ли, мне очень хотелось встретить вас, я все время думал о вас, и вот, наконец, увидел... Куда же вы?

— Знаете, мне очень хочется читать, — сказала Ольга, — разговоры меня отвлекают...

И ушла. Хотя это был второй афронт, да еще горше первого, хотя Миша в свои 22 года считал себя очень гордым, Оленькины нос и глаза попрежнему витали перед его умственным взором, не давая покоя. И во время следующей тревоги он опять заговорил с Олей, и потом опять, и опять. В конце концов они разговорились.

Этим разговорам сильно мешала Варвара. Варя работала швеей на фабрике, училась в Техникуме коммунального хозяйства, была соседкой Оли по переулку и доброй ее знакомой. Ходила она широко, тяжелыми шагами, говорила громко и резко. Особенно не любила она любви. В частности, принципиально отрицала какую бы то ни было любовь, пока женщина не станет самостоятельной. В Коммунальном техникуме Варя специализировалась по водопроводу и канализации, и очень гордилась этим.

Мишу она возненавидела. То был, по ее мнению, один из тех хлюпиков с лалетучком, в туфельках, с синими глазками и «прочим маршадом», которых она терпеть не могла. «Барашек», — звала она его. Она утверждала, что ему очень подошел бы колокольчик на шею. Миша очень сердился, старался говорить Варе дерзости, да такие, которые пропали бы даже ее, толстокожую. Но не удавалось. Варвара всегда побеждала в этих словесных турнирах. «Барашек, крем-сода, Апопичны глазки», — звала она его. По странное дело: Варвара гвоздила Мишу всей мощью своего свирепого языка, а Оле он нравился все больше и больше. «Да как же это я не обратила на него внимания с первого взгляда?» — удивленно думала она. Понемпогу их свидания стали длительней и интересней. Миша, записавшийся в осодмпловцы, водил Ольгу, пользуясь своей голубой повязкой, по всем туннелям метро, и они говорили друг другу те незначущие и глуповатые для постороннего уха слова, которыми отмечены речи возникающей, равно как и отцветающей, любви. И однажды,

начав путешествие по туннелям у Кропоткинских ворот, они поцеловались далеко-далеко, где-то в пустом туннеле возле Сокольников.

Так началась эта любовь, столь невероятно закончившаяся.

Стоял сентябрь месяц. Это был страшный, осенний, лихорадочный месяц первого года воепои Москвы. По улицам пробегали грузовики с эвакуируемыми женщинами и детьми; почам по асфальту, мимо магазинов с прикрытыми фанерой и песком витринами, двигались танки, пехота, артиллерия—на фронт!

Но театры действовали попрежнему, и после спектакля зрители расходились по домам в абсолютной тьме, протянув вперед руки, чтобы не налететь на стены, среди автомобилей, возникавших внезапно, как черный ветер, и среди светофоров, поставленных на шесты и светивших приглушенно и мерцаая, словно далекие горные маяки.

Семьи разъехались; люди, оставшиеся в городе, ходили по-трое, по-четверо почевать к приятелям, испитивно стремясь провести ночь сообща. Осень выдалась ранняя, было дождливо и холодно.

Весь этот месяц Оля и Миша неразлучались. Миша работал на заводе и тут же, по окончании работы, спешил в переулок, где жила Оля. А Оля уже ждала его и все подходила к окну и все глядела на тротуар, где, как всегда в минуту петерпеливого ожидания, мелькают во множестве быстрые и медлительные, сердитые и веселые, рослые и приземистые пешеходы,— только не тот, кого ждешь.

Но вот подбегал Михаил, и они отправлялись гулять. Гуляли они в Сокольниках, может быть, в память того, что здесь, где-то глубоко в туннеле, метрах в пятнадцать под землей, они в первый раз поцеловались. В Сокольниках было пусто, мелкий дождь падал на ели, на траву, на все эти голубые kiosки, веранды, эстрады, оставшиеся от довоенного времени. Но Оля и Миша шли, подставляя свои спины и головы под дождь, в мокрых туфлях, среди золотого мертвого шума листьев, и говорили друг другу о своей любви и прерывали этот нескончаемый, пылкий и монотонный, как праздничный жаркий летний день, разговор лишь для того, чтобы поцеловаться.

Придя домой после свидания с Олей, Миша тут же садился писать ей письмо, где неизменно говорилось о том, чего он во время прогулки не успел ей высказать, где была уйма знаков восхищения и пламенных описаний осени и любви. Это письмо он лично вручал ей на следующий день перед прогулкой, и она читала его почью,—никогда не приходилось ей читать ничего более прекрасного.

Так продолжалось весь август и сентябрь.

Первыми начались занятия в театральной школе. Собранных учеников встретил учитель мимики. Он начал свой урок с того, что похвалил театральное искусство вообще и искусство актера в частности. Актер, сказал он,—мастер, играющий на струнах человеческой души. Далее он остановился на мимике, которая, по его словам, является краеугольным камнем актерства. Было время, сказал он, когда актер работал одной лишь мимикой. Это время больше не повторится, но мимика останется фундаментом сцены. Надо построить фундамент, прежде чем строить здание. Начиная со следующего урока, он покажет ученикам простейшие примеры мимики, и таким образом начнется работа по возведению фундамента. До следующего раза, друзья мои!

Однако судьба сулила иное, и не только фундамент не был построен, но не был заложен даже хотя бы один из его кирпичей: вузовцы Москвы были мо-

приблизованы на рытье окопов. Учащиеся московских техникумов — тоже. Варя и Оля поехали вместе.

Отъезд совершился осенним вечером. Михаил, прибывший к месту сбора, чтобы проститься с Ольгой, был так сражен неожиданной разлукой, что слова не мог вымолвить, а только махал руками и головой. Все же Оля и Миша улучили минутку, чтобы поцеловаться и поклясться друг другу в вечной верности. После этого Оля, сидя на скамейке тронувшегося в путь грузовика, видела только печальное удаляющееся пятно, смутный, ступевающий мраком и дождем силуэт Миши. Она плакала. Варя ядовито сказала: «Не плачь, он в тылу, ничего с ним не случается! Вот бы этого умника на фронт!» — и все исчезло, укрытое мглой.

Приехали ночью. Вспыхивали карманные фонари. Кто-то внизу, высунувшись из землянки, крикнул пол-общий смех:

— Елкин! Шею помой! Студенты приехали!

А когда один из вузовцев, прыгивая с грузовика, поскользнулся и упал на землю, тот же голос задорно произнес:

— Тиллигентные пожки!

Варя сердито крикнула:

— Эй, ты, остряк! А ну, поостри еще! Буду бить, на луну задышишь!

Землянка грянула смехом, заговорили одобрительные голоса:

— Ай да девчушка! Отрезала! Дело знает!

— То-то же, — громко, примирительно и удовлетворенно сказала Варя.

Первый день работы показался вузовцам бесконечным. Работали под дождем, рыли эскарп в глинистой, размокшей, тяжелой почве. Утром всем — и мужчинам и женщинам — выдали одинаковые огромные сапоги, и Варвара долго пререкалась с кладовщиком, говоря, что сапоги не те, да и портянки не подходят. Остальные девушки приняли эти сапоги покорно и безропотно, как судьбу.

От сапог, покрытых глиной, было такое ощущение, будто ноги прилипли к земле, от работы лопатой и ломом болели руки, плечи, спина, дождь обрызгивал волосы и лицо желто-черными расплывающимися каплями, и когда Оля вернулась после работы домой в землянку и посмотрела на себя в карманное зеркало, то сказала:

— Ох, до чего же я страшная!

И заплакала.

Прошло много дней. Оля постепенно освоилась с работой. Часто по ночам она просыпалась и долго глядела в сырую, земляночную, пропитанную запахом мокрой одежды, темноту. Вся ее жизнь, кроме тяжелых дней, проведенных здесь за рытьем эскарпа, — Москва, вуз, экзамены, компата на Кротокинской, Сокольники, Миша — казалась ей такой бесколечко далекой, давно прошедшей, что удивляло одно: как еще память хранит все это, какова упорная, неистребимая лирическая сила памяти! Однажды, проспавшись, она вдруг отчетливо вспомнила театральную школу, урок мимики и слова учителя о том, что мимика — это основа основ для актера.

«А может быть, и не основа», — подумала она вдруг, и этот урок мимики, сейчас, после проведенных здесь дней, показался ей страшным и диким, словно танец гипнопотама.

Дни шли за днями. Миша стал писать за письмом: после разлуки его лихорадочная жажда писать увеличилась раз в десять. Каждый день, а то и по два

глаза в день, приходили письма, где описывались природа и чувство. Барбара, принося их Ольге, говорила хмуро и ядовито:

— Держи! Опять твой Писемский пишет!

Сама-то Барбара работала отлично. За резкий, дерзкий, веселый нрав ее знали и любили во всех окрестных рабочих и саперных батальонах. Она мялась с бойцами сапогами, ватниками, пришивала им пуговицы, мастерила вместе с ними в землянках столы и полки и умела так ответить на любую шутку и особенно на зангряванье, что ее словечки передавались из отряда в отряд под смех и возгласы:

— Ай девка! Это которая? Которая студент? Которая интенданта отбрила? Которая у Сизова ватник выменяла?

ГЛАВА 4

Вот что произошло недели за две до того, как дивизия, где командовал ротой Петр Котельшиков, прибыла на фронт.

В ночь на второе октября 1941 года немецким солдатам был зачитан приказ:

«Солдаты! За два года войны все столицы континента склонились перед вами... Вам осталась Москва. Вот она — перед вами! Возьмите ее! Заставьте ее склониться — это последняя столица Европы, которая еще не принадлежит вам. Пройдите же и по ее площадям. Москва — это конец войны. Москва — это отдых. Вперед!»

На рассвете около двухсот танков последовательными эшелонами двинулись в стык двух наших армий, оборонявших столицу с запада. Было хмурое осеннее утро, боевые охранения, первыми заметившие врага, подали соответствующие сигналы своим подразделениям и вступили в бой, постепенно стягиваясь, чтобы дать простор противотанковому оружию. Загремели пушки, бронебойные ружья, гранаты. Наши танки, весьма малочисленные, выступили навстречу немецкой лавине.

С холма, где разместился в тот памятный день командный пункт дивизии, был отчетливо виден этот утраченный танковый бой — стальные коробки, стремительно маневрирующие, то приближающиеся почти вплотную друг к другу, то расползающиеся по сторонам. Некоторые из них останавливались на месте, накрепившись, не переставая стрелять, — подбиты! Гул пушек, резкая дробь пулеметов. Возле леса, сначала едва заметно, потом все более и более ярко, разгорелись три огромных костра — подожженные танки. Море огня: в тумане казалось, что горит весь лес. А в переливающихся огненных отблесках колыхались отдельные шевелящиеся, как бы бесконечно выливающиеся откуда-то, пятна: немецкая атакующая пехота. Все ближе и ближе бой, вот уже где-то рядом, в лесу, загремели выстрелы.

Наши бойцы были подготовлены к тому, что решительный бой за Москву вспыхнет со дня на день и начали сражение стойко и спокойно, в том отличном для военного дела состоянии духа, когда вооруженному человеку, встречающемуся с атакующим врагом, все кажется легким, простым, даже веселым, а сам он себе сильным, задорным, озорным.

Первые немецкие атаки были отбиты легко. Но немцы не только не прекращали атак, но, напротив, усиливали их, между тем как наша артиллерийская огонь ослабевал, а снаряды полковых противотанковых пушек иссякали. Налетали немецкие бомбардировщики — волна за волной, но нашей авиации все еще не было над полем боя, а когда, наконец, показали наши истребители,

«Миги» ушли на заправку.

Немецкие танки вырвались на оперативный простор и, обтекая отдельные очаги сопротивления, устремились вперед. Они шли ускоренным маршем по дорогам среди осыпавшихся осенних лесов, мимо деревень, где население, застигнутое врасплох, не ожидавшее их прихода, принимало их за свои, советские танки. Немецкие танкисты, веселые, уверенные, поедали яблоки, высываясь из башен, и с хода подстреливали кур и гусей — на обед. Вскоре новый приказ был зачитан им:

«Солдаты! 90 километров осталось вам до Москвы. Поход близок к концу. Еще усилие — и вы у цели. Перед вами теплые зимние квартиры, благоустроенный европейский город и слава. Я требую от вас не больше того, что вы уже сделали. Вперед!»

16 октября, ранним утром, танковая группа фон Цутте, легко передвигавшаяся на восток, натолкнулась на жесткий контрудар, была отброшена и, словно шар, с размаху налетевший на стену, завертелась на одном месте.

Этот контрудар нанесли новые части, только что прибывшие и образовавшие под Москвой заслон. В числе их была дивизия, где командиром роты состоял Петр Котельников.

Дивизия бросил в бой с марша. Поздно вечером рота, которой командовал Петр, заняла позиции. В полночь Петр, закончив все телефонные разговоры, окончательно отработав и утвердив план обороны, усталый, похудевший, взволнованный всеми впечатлениями дня, стал обходить траншеи. Шел сильный дождь, и в темноте бойцы роты, многие из которых были известны Петру вот уже несколько лет, казались в своих касках и полной амуниции какими-то страшными, неизвестными, настолько необычными, что Петр с невольным удивлением и недоумением вглядывался в них. Поэмоному глаз привык к темноте, и Петр стал различать отдельные лица. «Да неужто это Сафонов? — говорил он себе. — А тот Лузарек, а это Лобакки?... Вот они какие на войне... И в лицах что-то другое...» Он шел своим резким, размашистым, уверенным шагом, приветствуя каждого бойца веселым, ободряющим возгласом, и бойцы весело и бодро отвечали ему. «Вот какой у нас командир! — как бы говорил каждый взгляд. — С этим не пропадешь. И весел, и лицо спокойное — значит, все в порядке... Он-то знает...» И Петр, идя по траншеям, чувствовал эту спокойную и радостную уверенность каждого бойца в том, что он, Петр, командир, знает как победить врага, обдумал и решил все так, как надо, и знает что-то особенное, большое, важное, необходимое для общего благополучия и победы, чего не знает никто из бойцов. Он шагал все дальше и дальше, ощущая какое-то внутреннее удивление перед тем, что вот он, Петр, тот самый Петр, который кажется ему самому таким неуверенным, слабым во многих вещах и еще вовсе недавно выслушивал наставления от своего отца, — теперь вот кажется всем этим взрослым, бывалым людям человеком суровым и строгим, знающим и уверенным в трудном деле войны.

«Но ведь это так, — думал он, — я действительно предусмотрел все возможное, обдумал все, расположил все, как надо... Я сделал так, чтобы было хорошо», — думал он, шагая решительным шагом, и чувство нежности и любви к этим людям, уверенным в нем, как бы доверившим ему свою жизнь, судьбу своих жен, детей, все больше и больше охватывало его.

Он пришел в свою землянку в счастливом и радостном настроении и лег отдохнуть.

Перед рассветом прошел дождь, и земля, едва забрезжило, покрылась густым тяжелым туманом. Тусклые клочья его ползли по траве и медленно поднимались вверх, натываясь на деревья. Земля была сырая, осенняя с желто-коричневыми и ржаво-красными пятнами увядания, с далекими мокрыми избами, с мутной свинцовой рекой и черными галками, летавшими над холмом.

Пулеметчик Кройков — тот самый, что говорил о цепе па избу с колхозницей, и пулеметчик Зинялкин — тот, который был остер па язык и считался в роте лучшим спецом по разговору с девушками, — сидели в пулеметном окопчике, за станковым пулеметом, обращенным па запад. Окопчик был невелик и глубок; па дне его лежали плащ-палатка, два котелка, пять бапок с мясными консервами, пулеметные ленты и большой кусок сахара, аккуратно завернутый в газету. Кройков в своей длинной, не по размеру сшитой шинели, в каске, которая тоже была ему велика, стоял возле пулемета и пощипком очинивал прутья, понадобившийся для починки крышки баклажки. Зинялкин смотрел вдаль, щуя глаза от навигавшегося тумана, и тихо напевал мотив, заимствованный с патефонной пластинки, принадлежавшей дивизионному штабшпату. Время шло, клочья тумана стали распадаться па пятн, рассеиваться, а немцы не появлялись; где-то рядом пискнула птица, помолчала, пискнула еще раз, помолчала и вдруг зачприкала звонко и однообразно, радуясь спокойствию тишины и общему благополучию. Зинялкин присел, свернул самокрутку и закурил, пуская дым в рукав шинели. Здесь, на дне окопа, пахло патронами, щами, сыростью, мокрой шерстью шинелей и сапогами.

— Разоспался немец-то! — сказал Зинялкин.

— Не балагурь! Смерть-то рядом! — сердито и тихо сказал, продолжая строгать, Кройков.

Кройков чувствовал себя не совсем уверенно. Он много паслышался о немецких танках и сейчас, сидя в окопе, тревожно прислушивался, ожидая, что вот-вот произойдет нечто внезапное, необъяснимое, чему невозможно протестовать, от чего страх охватит не только всех вокруг, но даже его, Кройкова, сибирского плотника, коммуниста, который решил стоять на-смерть и ни за что не отступать.

«Да ерунда! — старался он думать равнодушно. — Ну, что тут может случиться особенного? Болтают! Не страшней, чем у нас в Сибири, в лесу, когда медведя па охоте встретишь: ведь я встречал — ничего!»

Но как он ни старался себя успокоить, все в нем было до крайности напряжено, и он вздрагивал от каждого неожиданныго шума. Руки у него похолодели. Па сердце тоже было зябко и неприятно.

Позиции роты пролегалн по холму и с высоты и далеко, и широко, сквозь расплзающуюся пленку тумана, видны были другие холмы, другие лощины в кустах и деревьях. Вот подул ветер, облака раздались, брызнуло солнце, — и словно это был сигнал: послышалось монотонное приближающееся гудение моторов, — пятнадцать «Юнкерсов» показались над холмами, па снежа построились в круг, один из них вдруг нырнул, и несколько гроыхающих послеловательных ударов потрясли землю.

— Ну, держись! Началось! — промолвил Кройков.

«Юнкерсы» подплывали к позициям роты. Столбы земли и пламени вздыбились над холмом. Засвистали осколки камня и бомб. Заговорили фашистские пушки. — снаряды врезались в холм, дробя его, вырывая с корнями деревья, обжигая кустарник.

А холм молчал, словно ни одной живой души не было на его вершине и склонах.

Несколько десятков вражеских танков показалось справа, за ними — крупная группа мотоциклеты. Холм молчал.

Танки остановились, как бы раздумывая, затем двинулись вперед. Холм молчал.

И только когда танки почти вплотную приблизились к завалам и проволочным заграждениям, окружавшим высоту, застучали фланкирующие пулеметы, отеская пехоту от танков. Блеснула искра на склоне холма, за ней другая, третья — заработали противотанковые ружья. Загорелся вражеский танк. Он накренился и остановился. Остальные шли дальше. Грохот противотанковых гранат, всыпки бутылок с горючим!

То, что последовало за этим, было действительно невообразимо. Танки шли волна за волной, и сколько ни поджигали их, сколько ни пробивали снарядами, — на смену им появлялись все новые и новые танки — бесконечно, без конца-краю. Огненный вихрь обрушился на роту. Все шипело, свистело, дымилось. Немецкие пикировщики гудели в небе, сбрасывая расчетливо и методично бомбу за бомбой. Грохот, адский, непередаваемый, горячий грохот. Казалось, дымится не только земля — дымится мозг.

Оглушенный, ослабевший, в каком-то полусознании сидел Кройков в своем окопчике. Первые четверть часа он вообще не понимал ничего и только машинально нажимал спусковой крючок пулемета. «Да, это тебе не медведь!» — в ужасе подумал он вдруг. Все осязание, обоняние, зрение, слух — отказывалось работать, в мозгу что-то гомонило, стучало, сверкало.

Но попомногу, как всегда бывает с сильно и внезапно напуганным человеком, — организм привык ко всему этому шуму и гаму, осязание, зрение, слух стали различать во всем этом хаосе его отдельные звенья. «Отступают!», — радостно подумал вдруг Кройков, вдруг увидев, как отошла под артиллерийским огнем немецкая пехота. «Правильно, отступают!» — радостно крикнул он, чувствуя в этом незначительном отступлении немецкой пехоты какую-то силу, укрепляющую его, Кройкова.

Он начал вематриваться, — грохот, сверканье, дым как бы отошли куда-то подальше, в глубь мозга. Кройков увидел дымящиеся танки и немецкую пехоту, поспешно отползающую к лесу. «Так что ж тут особенного, — подумал он вдруг, — так же горят, когда их подожгут... И идут-то не очень уверенно. И даже бегут! — обрадовался он, увидев, как отхлынул назад попавший под пулеметы небольшой немецкий отряд. — Надо только держаться и стрелять хорошо. Вот и все!»

Несколько атак было отбито. Опять заговорила немецкая артиллерия. Пламя и пыль встали над холмом. Казалось, он перемолот, раздроблен, камень смешан с песком, с разбитыми бревнами укрытий. Казалось, ни человека, ни дерева, ни куста не может остаться в живых на этом старом горбе после такого обстрела.

Но когда немцы пошли в атаку, охватывая холм с флангов и одновременно нанося удар в центре, снова заговорили противотанковые пушки, затрещали пулеметы, автоматы.

И опять налетели пикировщики, и опять разрывались снаряды, словно немцы решили вырвать из земли этот непокорный холм. Пламя кружилось над его лысой вершиной, как над вулканом.

И снова следовала атака за атакой, и снова холм встречал врага смерто-

ночным огнем. И опять шли пушки. И опять перемазанный в глине Петр поползал от окопа к окопу:

— Держимся?

— Держимся, товарищ лейтенант! — отвечали бойцы, и им было радостно, что командир тут же, рядом, видит все, уверен, спокоен.

Пулемет Кройкова и Зинялкина был один из тех, которые поддерживали фланкирующий огонь. Пулемет стрелял хорошо, несколько раз подряд отрезая от танков немецкую мотопехоту. Теперь Кройков совсем успокоился. Чем больше длился бой, тем ясней и отчетливей убеждался он в том, что ничего исключительного нет в немецкой танковой атаке, что так же и их танки горят, когда попадает меткий снаряд, что мотопехота совсем не идет без танков, что часто пехота и танки останавливаются, паткнувшись на плотный огонь, неуверенно тычутся, беспорядочно отходят. «А болтали-то о них, болтали!» — презрительно и спокойно думал Кройков. И, видимо, о том же думал Зинялкин, потому что однажды, при виде распавшейся немецкой цепочки, удиравшей от наших грапатометов, он пробормотал:

— А немец-то! Тоже не любит пули в живот.

— Люди как люди, не медведь! — ответил Кройков, и эти слова отчетливо выразили его уверенное и спокойное отношение к происходящему.

Веселое, глубокое чувство удачной, ладной работы охватывало обоих пулеметчиков по мере того, как длился бой. Скинув шинели, утирая пот черными от масла и патронных лент ладонями, они ощущали ту горячую и вместе с тем солидную деловитость, которую ощущает человек, знающий, что делает, и понимающий, что дело его идет хорошо. Изредка они перекидывались короткими рабочими, деловыми замечаниями. Вокруг хлопали мины, взрывались снаряды, но они уже не обращали внимания на весь этот шум войны, он стал для них элементом работы, подобно тому, как шум станка является элементом работы слесаря. В пылу работы этот шум не только не мешал им, но как бы подхлестывал своим упрямым бешеным ритмом. Они были так заняты своим делом, так взволнованы и воспалены им, что потеряли способность видеть и слышать все, не касающееся этого дела. Это было словно вдохновение, и когда, во время короткой передышки боя, Кройков, утирая пот, оглянулся вокруг, то с удивлением подумал: «А ведь уже за полдень... Облаков нет, солнце светит... И птицы летают». — Он увидел, как среди дыма и грохота разрывов, низко над землей мелькнула какая-то птица.

Три раза к ним подползал Петр. Он прыгивал в узкий окопчик, вытирал грязь с шинели и спрашивал, глядя на пулеметчиков отсутствующими, возбужденными глазами. Он тоже весь был в деле, в работе:

— Держимся?

— Держимся, товарищ лейтенант!

Один раз Зинялкин прибавил в своем обычном задорном тоне:

— Мины нас не берут... Мы с ними сродственники...

Когда Петр уполз, Кройков снова сердито сказал Зинялкину:

— Не балагурь! Смерть-то рядом!

Так продолжалось до сумерек. В сумерках группе немецких танков удалось прорваться, и два тяжелых, украшенных изображением тигра, танка устремились к окопчику, где сидели Кройков и Зинялкин. Кройков первый заметил их, схватил две бутылки с горячей жидкостью, прижался вплотную к земляной стенке и крикнул Зинялкину, который, сразу обмякнув и побледнев, прыгнул ко дну окопа:

— Теперь прощай, брат!.. Не поминай лихом!..

На секунду его охватил смертельный страх. Руки, ноги, все тело ослабло, голова закружилась.

«Да что там! — свирепо и горько подумал он. — Сидит, небось, в танке и тоже трясется! Эх, была не была!»

Он бросил одну бутылку в хвост танку, потом, выждав, другую. Вторая бутылка попала в цель. Пламя пробилось сквозь отверстие, рядом с тигром. Что-то тупое и сильное резко откинуло Кройкова в сторону, он потерял сознание: это выстрелил из пушки загоревшийся танк — три выстрела раз за разом. Второй танк мелькнул мимо.

Когда Кройков очнулся, перет ним на корточках сидел командир стрелкового отделения Перчаткин и смачивал ему водой лоб.

— Вставай, вставай! — промолвил Перчаткин, увидев, что Кройков открыл глаза. — Ну, выручил, брат. Вель они прямо на мое отделение перли... Вставай, вставай, выручил, брат!

И когда Кройков, пошатываясь, поднялся, он обнял его и поцеловал, приговаривая:

— Выручил, брат! Думал — копец, честное слово! Ну, ну, не шатайся, выручил, брат! Выпей-ка, подкрепись!

— Пшь, целуются, как любовники! — смешливо промолвил Зинялкин, с завистью глядя, как Кройков пьет водку...

— Слышь, не ерничай! Смерть-то рядом! — в третий раз за день серьезно и сердито сказал Кройков.

ГЛАВА 5

Работа московских вузовцев по возведению противотанковых рвов и эскарпов еще не закончилась, когда начались заморозки. Глинистая почва стала твердой, как камень. Парни и девушки работали ломом и кирками, откалывая тяжелые промерзшие куски земли, словно это был гранит. Норма выработки не уменьшилась, и часто приходилось работать до полночи.

Но молодость есть молодость, и в молодости все смешит и развлекает: и то, что Костя Смирнов, влезая на бугор, оступился и шлепнулся в противотанковый ров; и то, что Катя Петрова ожидала писем от жениха, а получала все время письма от бабушки; и то, что за этой же Катей Петровой ухаживал техник-интендант из соседней саперной роты и приносил ей в подарок вместо цветов перья, пузырьки с чернилами и скрепки для бумаг... Смех не умолкал в землянках, куда молодежь возвращалась после работы. Окрестные саперы, скептически встретившие поначалу вузовцев, теперь приходили к ним по вечерам, чтобы попеть, повеселиться.

Хотя землянки, конечно, у парней были точно такие же, как у девчат, — вспешный их вид резко различал друг от друга. В то время как у парней все было навалено, наставлено, беспорядочно убрано, окурки, как снег, устилали пол, вещевые мешки лежали на столе, а котелки под изголовьями. — у девушек землянка имела домашний, уютный вид, с аккуратно убранными постелями, с полотенцами, висевшими на гвоздиках, с зубными щетками в разноцветных футлярах, со скляночками глицерина, с откуда-то раздобытыми картинками на земляных стенах и даже с гитарой у Варшного изголовья.

Поэтому собирались всегда по вечерам у девчат. Катя Петрова и Оля Ботельникова готовили чай. Хлеб и сахар собирали вкладчицу. Студенты-юристы

Фомин и Серегин спорили друг с другом о любви и о будущем Европы. Студент-химик Костя Смирнов, тот самый, что свалился в противотанковый ров, запевал, пощипывая гитарные струны:

Раскинулось море широко...

Костя учился на химика, но думал стать судостроителем. Он мечтал построить какой-то огромный пароход, кажется, водоизмещением в 80 тысяч тонн. На этом пароходе должны были быть все удобства вплоть до туристских самолетов. Здесь не должно было быть ни первого класса, ни второго, ни третьего, — всем пассажирам предоставлялись одинаковые одноместные каюты. По ночам при свете мигающей лампы, под сонный ропот юристов, машиностроителей, языковедов, спавших на парах, Костя готовил чертежи этого гигантского парохода. Он не показывал чертежей никому, кроме Вари, которую считал строгой и дельной и которую очень уважал. П Вая, относящаяся ко всему скептически, с резкой насмешкой, внимательно просматривала чертежи и говорила:

— А знаешь, это может получиться! Честное слово, это может получиться!

Аккуратно приходил на эти вечерки саперный техник-интендант Шура, влюбленный в Катю Петрову. Это был тихий, молчаливый, робкий человек. Он совершенно немел, когда видел Катю, и не мог вымолвить ни слова. Несколько раз твердо решил он объясниться с ней и, зная свою робость и неумение говорить, готовил на бумажке тезисы будущего объяснения. В этих тезисах было все: и описание городка, где он родился, и краткий очерк того, как он, Шура, долго жил, усердно работал и старался быть лучше других и никогда не влюблялся, потому что не находил девушки, которую мог бы полюбить на всю жизнь. И вот теперь он нашел именно эту девушку. Изложение финального тезиса, который обозначался на бумажке за № 1 и всего тремя словами: «Я люблю тебя», было посвящено для самого Шуры.

Приготовив тезисы, Шура отправлялся на вечерку, но молчал попрежнему, так как при виде Кати забывал все написанное, молча, колот сахар и ставил самовар. Почти все искренне полагали, что молчаливый техник-интендант за тем только и приходит, чтобы упражняться в приготовлении чая. Сердце его сжималось от тоски, а он ставил самовар и колот сахар.

Ольга продолжала получать бесконечные письма от Миши. Эти письма становились ото дня ко дню все неистовей. В каждом письме имелись постскрипты, которые подчас бывали длинней самих писем. И каждый раз, получив такое письмо — залог верной, горячей, немеркнувшей любви, — Оля вынимала из вещевого мешка фотографию Миши в пиджаке и кепке и целовала лицо, пиджак, кепку.

— Милый мой! Непаглядный! Любимый!

Даже Вая, относившаяся к Мише с недоброжелательством и с каким-то внутренним нетерпением, вынуждена была при виде этой груды писем, хранившейся в коробочке рядом с иголкой, нитками и пуговицами:

— Да, этот, пожалуй, любит!

В конце октября, когда рытье эскарпов уже почти закончилось, палетели немецкие бомбардировщики и забросали бомбами саперов и вузовцев. В этой бомбежке были убиты Костя Смирнов и Катя Петрова.

Вечером студенты разбирали вещи Кости и Кати, готовили их к отправке на родину. В мешке Кати нашли пачку писем: все от той же бабушки, жившей где-то около Томска. В мешке у Кости нашли записную книжку. Из книжки

Выяснились две вещи. Во-первых, что Костя по окончании работы над эскарпами решил идти в летнюю школу, и, во-вторых, что кроме 80-гопного парохода он хотел еще построить цельнометаллический катер, развивающий скорость 400 километров в час.

Из этих данных и составил свою надгробную речь о Косте юрист Лепа Фомин.

— Вот, — сказал он, — здесь в этом скромном, дощатом гробу, лежит наш товарищ, который жил среди нас, смеялся, грустил, пил чай, пел песни, играл на гитаре. Может, он стал бы великим инженером, славным судостроителем. Может, имя его осталось бы в веках, и грядущие поколения с восторгом и уважением произносили бы это имя. Но проклятые фашисты убили его, как убили они в разных концах земного шара тысячи других юношей, что, возможно, стали бы гениями и помогли человечеству жить и идти вперед к счастью и свету. Вечная память Косте — другу и брату, который погиб на своем незаметном посту. Пусть не построены ни пароход, ни катер, пусть ничего не узнает о Косте человечество, — память о нем будет жить, пока жив хоть один человек, стоящий сейчас здесь, у гроба! Клянемся в этом, друзья!

Речь о погибшей Кате взялся произнести техник-интендант Шура. Всю ночь готовился он к речи, но когда наступила решающая минута, так растерялся, что все позабыл и, стоя над гробом, вдруг сказал то, чего не решался сказать живой Кате:

— Товарищи! Я любил ее! Я любил ее, товарищи!

Помолчав, махнул рукой, сошел вниз, сел на пенек и заплакал.

Над свежей могилой товарищей студенты и студентки постановили не возвращаться в Москву, а идти добровольцами в Красную Армию.

Так и сделали. Группа вузовцев, работавшая над эскарпами, расплылась по разным частям, подразделениям и школам армии — кто в стрелки, кто в танкисты, кто в связисты, кто в фельдшеры. Они затерялись в необозримых пространных войнах и, встречаясь на фронтовых дорогах, нередко не узнавали друг друга — так все изменились, — а узнав, целовались крепко, по-солдатски, смеялись, хлопали друг друга по плечу и вспоминали смешное и циничное время, когда рыли вместе рвы, вспоминали землянки, гитару, техника Шуру (где-то он теперь!), вечера, споры и две зеленых могилы на подмосковном холме среди осенних голых берез и рыжей размокшей глины.

Оля и Варя пошли в снайперскую школу и по окончании ее были направлены в действующую часть. Где только Оля ни побывала! Она научилась спать на снегу, не раздеваться по неделям, научилась голодать, холодать, идти и идти вперед среди свирепой поэмки, разводить невидимые врагу костры. Она изучила шаг за шагом великую науку солдатской жизни, где значилось, что солдат должен есть, коли пришла еда, даже тогда, когда не хочется есть, про запас, — мало ли что будет впереди, спать, коли имеется хотя бы малейшая возможность поспать, — тоже про запас, и главное (в этом заключался самый серьезный предмет солдатской науки) — быть верным другом товарищу в беде и не бояться смерти.

Они научились не отставать от мужчин ни в чем — ни в марше, ни в починке сапог, ни в атаках; лица их стали грубыми, обветренными, руки цепкими, мускулистыми, мозолистыми, ноги тоже мозолистыми; слава о храбрых девушках-снайперах прошла далеко за пределы дивизии.

Только один раз отправились они с передовых в штаб фронта — получать ордена.

Ордена выдавал генерал. Он стоял у большого, покрытого красным сукном, стола и каждому из тех, кто по очереди подходил за наградой, крепко жал руку и говорил поздравительные слова. Было очень торжественно и после фронта непривычно от этих высоких стен и яркого света. Каждый из награжденных, получив орден, козырял, делал налево кругом и отходил от стола четким строевым шагом.

После вручения орденов Оля пошла в военторг, чтобы сделать кое-какие закуски, а Варя в ожидании ее решила прогуляться по городскому саду.

Это был провинциальный садик с дощатой раковинной для оркестра, с пустой и мокрой асфальтовой танцевальной площадкой, с воробьиными гнездами на огромных тополях, с видом на озеро и с бомбоубежищем, вырытым рядом со сценой эстрадного театра.

Варя прошла разок-другой по садiku, затем знакомая фигура, одиноко сидевшая на скамейке, обратила на себя ее внимание. То был невысокий боец в теплой шапке, в длинной, не по росту, шинели, в огромных сапогах, с баклажкой у пояса.

Варвара подошла и села с ним рядом. Это был свой, фронтовой, окопный из окопных. Варвара уважала таких неказистых и любила с ними беседовать.

— Здравствуйте,— сказала она,— давайте познакомиться, вы ведь тоже получали сегодня орден. Варвара Оклова.

Боец встал и робко протянул ладонь.

— Кройков,— сказал он.

Сели.

— Закурим? — спросила Варвара и вынула из кармана кнсет.

Закрутили цыгарки, причем Кройков завертывал так ловко и быстро, что Варвара с уваженьем следила за ним: она любила все ловкое, умелое, ладное.

— Хорошо вы это делаете! — сказала она.

— Мастеровой,— отвечал он,— всю жизнь самокрутки курю. Плотник.

Теплый дымок приятно защекотал ноздри. Затянулись.

— Дukat,— удовлетворенно сказала Варвара.— Хороший табак. Восемь рублей пачка.

— Самосад лучше.

— Вы издалека?

— Сибирский,— сказал Кройков,— а вы хорошие, с вами легко разговаривать. Хотите я вам о Сибири расскажу?

И стал рассказывать. А потом перешел на рассказ о плотницком деле. Рассказывал дельно, живо, с шуткой, рисовал на снегу пальцем какие-то чертежи, и каждый раз, когда поворачивался, Варя казалось, что от него идет плотницкий запах — запах стружки, свежего дерева и рабочего пота.

— Вот как,— сказал он в заключение,— вот это и есть наше дело. А вы хорошие, с вами легко разговаривать. Ну-с, закурим!..

Закурили еще раз, и опять Варя поразилась, как легко и ловко закручивает он напиреску. Она спросила:

— У тебя семья есть?

— Нет. Одинокий.

— Ну, расскажи еще что-нибудь.

Он стал рассказывать о сибирской охоте. Снова рассказывал живо, с шуткой, с каким-то ясным, спокойным и острым проникновением в шумы, краски и запах природы. Варвара слушала, не перебивая, и все поглядывала на него

с пзумлешнем: откуда все это в столь неказистом, неуклюжем, маленьком человеке? Она спросила:

— Ты книжки читаешь?

— Мало... Только партийные.

— Партийные?

— Ну конечно. Сам я партийный.

И Варвара, как и все, кому Кройков говорил, что он член партии, с удивлением уставилась на него. Он спросил:

— Вы что так смотрите?

— Да непохож ты, брат, на партийного.

— Здравсте! — обиженно протянул Кройков. — Чем же я непохож? Человек как человек. Ну, лю свиданья, спешу.

Он встал и пошел. И хотя он был немного обижен на Варвару за ее последние слова, по от разговора с ней у него осталось какое-то радостное, веселое, легкое чувство. «А она хорошая, с ней легко разговаривать», — строго и признательно думал он.

И сидя на грузовике, возьмем его обратно в часть, он все вспоминал и вспоминал Варвару и все думал о том, что она хорошая и с ней легко разговаривать.

«Эх, не спросил, замужем ли она, — вдруг досадливо подумал он, — да и адреса у нее не взял... Ищи теперь ее на войне, свщци! — печально соображал он. — Нет, не умею я с девушками разговаривать».

Рядом с Кройковым на грузовике сидел человек в боевкй шинели, с двумя кубиками в петличках и с красной звездой на рукаве — младший политрук. Он все время заговаривал с Кройковым, но Кройков, думая о своем, отвечал скупо, и младший политрук, наконец, примолк. И только когда выехали из леса, спросил:

— Далеко до Васильевки?

— Теперь неалече, — ответил, думая о своем, Кройков.

— Вот это хорошо, что недалеко, — словоохотливо откликнулся младший политрук, — устал, три дня еду. Да и вещи тяжелые, — сказал он, указывая на вещевой мешок и сундучок, запертый на висячий замок, — за назначеннем еду, — добавил он, дружелюбно вглядываясь в Кройкова.

— Так, так, — промолвил, думая о своем, Кройков.

— Я человек невоенный, — сказал младший политрук, радуясь, что разговор завязался, — до войны заведующим универмагом работал, в районном центре. Коммерсант, — заметил он, усмехаясь, — сам я южанин... К сливам привык, к солщцу, к абрикосам... Ну вот, а теперь мобилизовали... Ну, как, трудно воевать, а?... Трудно? — с любопытством спросил он.

— Воевать-то нетрудно, — ответил, думая о своем, Кройков, — бить немца трудно.

А Варя, встретив Олю, была задумчива, неразговорчива и внезапно раздраженно отрезала:

— Да что ты все болтаешь, болтаешь! Помолчи. Болтай со своим шоколадным Мишей.

Девушки пробыли еще четыре дня в городке, посетили концерт в ДК, три раза выступили с докладами о своей боевой работе, поехали в госпиталь, где тоже выступили с докладами, пошли напоследок в кино — и слова фронт. И снова стужа, знобящие осенние заморозки, да поля, да леса, запах стрель-

бы и машинного масла, вкус стрельбы и глинистой илы, забивающей нос и рот, грохот стрельбы и минных разрывов.

И чем больше уходило дней и недель, тем все туманней, расплывчатей казалось довоенное время, Москва, постель, простыни, одеяло, прогулки, и все это стало, наконец, таким неясным и далеким, что даже Варвара однажды воскликнула:

— Слушай, Оля! Да жили мы когда-нибудь в Москве или нет?

В этот вечер Оля вынула зеркальце из глубины вещевого мешка и долго разглядывала свое лицо. Да она ли это на самом деле? Нет, это не она! Это что-то другое. Что-то непонятное, страннее и лучше!

Прошло еще две недели. Однажды, когда Оля пошла в штаб полка, писарь сказал ей:

— Котельничкова, тут тебя спрашивает один парень.

— Парень?

— Ну да, натурально, не девка!

— Да где же он?

— Найдется, не пропадет.

Действительно, парень нашелся — он был у командира полка. Когда Оля увидела его, кровь схлынула с ее щек и телу стало так холодно и так жарко, словно в брезентовой бане на морозе. Миша! Они бросились друг к другу и взялись за руки, едва переводя дыхание. И Оля заговорила, в то время как писарь, глядя на них во все глаза, почесывал в изумлении за ухом карандашом:

— Мишенька мой! Дорогой! Золотенький!

Как выяснилось, Миша прибыл из штаба армии, чтобы отобрать подходящую молодежь для лыжного отряда.

ГЛАВА 6

В течение полутора месяцев, в тяжелые пепельные осенние дни, в долгие темные осенние ночи дивизия, где командиром роты был Петр Котельничков, сдерживала яростный натиск врага на Москву. Она цеплялась за каждый овраг, за каждую деревню, она отходила медленно, в тяжелых боях и подчас, точно всплыв, делала бешеный рывок вперед, нанося врагу кровопролитные раны.

Березовые кресты обозначали путь немецкой армии. Они стояли на ветру среди подмосковных дач, и каски, увенчивающие их, были посыпаны первой русской порошей.

Немало могил осталось и на нашем пути. Многих бойцов не досчитывал Петр. Старшина Козырько, делопроизводитель и добровольный историограф роты, снимал своим «Фэдом» каждую такую могилу. «Путь славы», — назвал он шанку, где хранились эти и прочие фотографии. Тут лежали фото боев, землянок, окопов, осепи, непролазных дорог, подбитых фашистских танков, убитых немецких пленников, а также могил в лесах и полях, возле больниц и на каменных холмах, военных могил, украшенных красной звездой и двумя перекрещенными винтовками. Путь доблести. Путь крови. Путь славы.

Командир дивизии полковник Александр Степанович Перемитин сидел в тесном штабном автобусе за столом, возле жарко потопленной печки, и следил за тем, как начальник штаба, ловко орудуя резинкой и остро очиненным карандашом, наносил обстановку на карту.

Перемитин любил эти часы работы с начальником штаба и оперативным отделом. Он всегда садился за карту с тем особым чувством волнения и удовольствия, с каким шахматист садится за шахматную доску, предвидя, что предстоит серьезная, богатая событиями игра.

Он состязался с невидимым врагом — с немецким генералом, который, возможно, в эту минуту точно так же сидел за картой в нескольких десятках километров от него. Они наносили друг другу внезапные удары, производили хитрые, скрытые маневры, стремились предугадать намерения друг друга.

Противник Перемитина оказался способным генералом, бороться с ним было нелегко. Он обнаруживал терпение, настойчивость, действовал разумно и тонко. Солидность и метичность старой военной школы он разнообразил множеством рискованных уловок и движений, рассчитанных на замешательство, на моральную подавленность противника. Многие его удары были похожи на авантюру, но тактическая выучка его войск, умение быстро и прочно закрепиться на местности, организовывать сильную и гибкую оборону почти одновременно с движением вперед, умение неумолимо наращивать удар даже в месте случайного прорыва — все это делало чрезвычайно опасным и его самые рискованные, казалось бы ничем не обоснованные, маневры.

Перемитину приходилось поэтому тщательно следить за каждым, на первый взгляд даже малозначащим, его шагом, чтобы во-время предугадать и парировать удар. По десяткам не всегда ясных признаков, противоречивых донесений, отрывочных наблюдений требовалось составить точное представление о намерениях врага. Это удавалось не всегда. Порой и совсем не удавалось; тогда Перемитин испытывал тревогу и неуверенность, подобную неуверенности шахматного игрока, потерявшего ощущение плана противника и вынужденного играть наугад.

— Спокойней, спокойней! — говорил он себе. — Обождем, разберемся еще раз. проанализируем точней, все станет ясным...

Он откладывал карту в сторону и обращался к другим делам.

Внешне он казался совершенно спокойным, будто совсем забыл о карте, — обедал, принимал доклады, читал газеты. Но что бы он ни делал — шутил ли, сидел ли на собрании, подписывал ли бумаги, вслушивался ли в доклад, ложился ли отдохнуть, — образ карты, сетка тонких и хитрых сплетений красных и синих линий ни на секунду, ни долю секунды не покидал его. Его глаза пристально вглядывались в окружающее, но это было то поверхностное, деланное внимание, какое бывает у человека, чей мозг, занятый решением сложной задачи, лишь автоматически, хоть и вполне правильно, реагирует на явления внешней жизни. И вдруг внезапная догадка, нередко вызванная вновь поступившим, порой незначительным, сообщением, озаряла, как вспышка, всю сложную тактическую и оперативную картину. И расплывающиеся, складывающиеся звенья соединялись в разумную, логическую цепь — план врага.

«Ах, вот оно что!» — говорил себе Перемитин, окутываясь клубами дыма, вертя машинально между пальцами карандаш и глядя на карту блестящими глазами. — Вот он куда гнет... Вот что подумал... Так, так... Смотрите, Петр Пилкифорович, — говорил он начальнику штаба.

И, обозначив на карте точным и резким пунктиром направление угаданного удара противника, он садился диктовать приказы.

Вот уже несколько недель длилась эта тяжелая, изнуряющая борьба. От первого удара, нанесенного немцами километрах в ста от Москвы, линия обо-

роны дивизии лопнулась и едва удержалась. Ловким маневром Перемитицу удалось ее выправить. Второй удар был свирепей первого, но Перемитин уже предугадал возможное направление его, и дивизия, понеся значительные потери и несколько отступив, снова остановила врага. Это было уже заметным успехом, и все же, садясь за карту в те достопамятные дни, Перемитин отчетливо видел неудовлетворительное состояние оперативной картины в целом. Фланги висели. Тыл не был обеспечен. Каждую минуту грозил глубокий, решающий прорыв. Противник полностью диктовал свою волю, и Перемитин вынужден был заниматься лихорадочным штопаньем дыр и иррех, возникавших ежечасно.

Мало-помалу мелкими, но точными ходами Перемитин стал укреплять свою позицию. Правда, улучшение еще не обозначилось на карте, но Перемитин ощущал его каким-то шестым чувством оперативного равновесия. Потом улучшение стало видно и на карте. Дивизия отходила, но с жестокими боями, нанося яростные контрудары. Фланги стали обеспеченней, тыл — организованней.

Теперь Перемитин всем своим существом, всем своим коренастым, мускулистым телом чувствовал это нарастающее сопротивление дивизии и исеякающую силу ударов врага. — Гнем, гнем! — говорил он, — Честное слово гнем! — повторял он запальчиво, точно кто-то возражал ему. — Они останавливаются, верьте мне, останавливаются.

И наступил день, когда движение немцев, действительно, остановилось. Теперь карта имела уже совсем другой вид. Ее уже не лихорадило. Вместо отдельных, первичных, беспорядочно разбросанных красных кружков, прорезанных длинными синими стрелками, — такой была карта полтора месяца назад, — виднелась стройная цепь красных дуг с острыми, пока еще едва обозначившимися стрелками. Синие стрелы втянулись и тоже обратились в дуги. Партия выровнялась. Карта стала солидной, устойчивой, спокойной.

Перемитин и решил нанести свой пробный контрудар. Удар этот был поручен роте, которой командовал Петр. Ранним ноябрьским утром (снег уже выпал) рота Петра влезанно перешла в наступление и выбила немцев из села над рекой. Были захвачены трофеи и пленные.

Эту-то операцию и наносил сейчас начальник штаба на карту, в то время как Перемитин, как всегда, в клубах дыма следил за карандашом, говоря:

— Ах, молодцы, молодцы!.. Вот молодцы!.. Как фамилия этого командира роты?

Потом он обратился к комиссару дивизии — небольшого роста, грузному человеку:

— Поедем к ним, комиссар! Надо посмотреть эту деревню.

Через двадцать минут тарангас, запряженный парой сильных лошадей, был подан, и Перемитин с комиссаром Турухиным, в теплых шапках и полушубках, сопровождаемые верховыми-автоматчиками, двинулись по лесной дороге. Было холодно. Молодая снежная пыль покрывала деревья и летела по воздуху, серебрилась при свете звезд, мелькавших меж облаков. Время от времени среди темных деревьев возникали неясные очертания повозок и часовых. Иногда из-за леса стремительно восходила огромная звезда — осветительная ракета, и все вокруг становилось таким ярко-белым, что перед утомленными глазами начинали возникать черные пятна. Часто тишина как бы вспарывалась пенственным грохотом, и в течение нескольких минут что-то хлопало, светело, визжало:

мплометный палат, затем опять становилось тихо,— только короткие пулеметные очереди.

— Красота,— сказал Перемитин,— до чего ж красота!.. Первый морозец!.. И эти звезды!..

— Где же звезды? Звезд почти не видно! — промолвил Турухин.

«Не понимает! — подумал с сожалением Перемитин.— Вот не понимает человек красоты! Не принимает ее, да и только!»

Петр не ожидал прибытия высоких гостей. Он сидел за столом в избе, озаренный светом огарка, и, окруженный командирами взводов и старшинами, решал разнообразные и хлопотные ротные дела.

Тут же, на деревянной крестьянской кровати, сидел новый политрук роты, прибывший на место прежнего, тяжело раненного. Это был тот самый словоохотливый младший политрук, с которым Кривков сжал на грузовой машине.

За полтора месяца боев Петр сильно похудел. Его глаза, воспаленные постоянной бессонницей, стали как будто чернее, колючей, отчужденней. На самом же деле эта отчужденность была выражением той внутренней борьбы, которую испытывал Петр.

Первое, что испытал Петр в столкновениях с прославленной немецкой армией, была боязнь, как бы не сделать какой-нибудь грубой оплошности, не быть легко обманутым врагом, не совершить наивного шага, который погубил бы все — ощущение неопытного фехтовальщика, вступившего в состязание с мастером. Потом с удивлением он стал убеждаться, что прославленный мастер не представляет собой ничего исключительного, не делает ничего такого, чего Петр не мог бы предугадать и парировать, пользуется несколькими довольно шаблонными, хоть и чрезвычайно гибко применяемыми, приемами. Это открытие повергло вначале Петра в изумление, а потом вселило в него уверенность в своей силе как командира. Второе, что пришлось Петру преодолеть в боях,— это постоянное чувство колебания, стремление спясть с себя ответственность за тот или иной шаг, непреодолимое желание санкционировать каждое свое намерение в высших инстанциях. И тут Петр опять убедился, что инстанции почти всегда соглашались с его планами, и понемногу, в полуторамесячных жестоких боях, в нем выросло и укрепилось чувство личного достоинства и самостоятельности, позволявшее ему твердо, без оглядки принимать любое решение и ощущать себя полностью ответственным за него. Третье, и главное, что он понял, заключалось в том, что на войне спарядом является не только стальной спаряд, выпускаемый из орудия, но и вся масса войск, устремленная на ту или иную цель. Он понял, что это самый сложный спаряд из всех имеющихся на войне, с чувствительнейшим, тонким механизмом. Для Петра стало ясно, что этот спаряд пуждается в особом попечении, что его нельзя пускать в ход попустому, без толку, в суетне, без ясного плана.— иначе наступит то чувство досады, разочарования, недоверия, которое может погубить все дело. Было очевидно, что пробивная сила и стойкость этого чувствительнейшего спаряда складывается из целого ряда условий, но основным условием, однако, является точность в работе командира и ясность задачи, которая ставится перед бойцами.

Эту точность Петр старался выработать, эти простые и ясные задачи старался ставить перед бойцами. Дело трудное в такой обстановке! Но что делать? Ведь, определяя план операций, следовало учитывать внутреннее, порой трудно уловимое, как бы подсудное, настроение роты с той же тщательностью, с какой учитывается топография местности, количество боеприпасов и т. д. Это

отлично понимал Петр. Понимал это и совершенно штатский человек, новый политрук роты Парфентьев, с которым Петр подружился.

Штаб роты помещался в избе посреди деревни, и командир дивизии с комиссаром, оставив тарантас у околицы, пошли пешком по сельской улице.

Путь был недалек. Возле околицы стояла артиллерийская батарея и горел скрытый, сложенный по способу сибирских охотников, костер. Возле первой избы, с пробитой снарядами стеной и с крышей, как бы сдвинутой пабекрынь, курилась походная только что прибывшая кухня, слышался звон котелков и веселые возгласы.

Внезапно возникшая тень мелькнула возле сарая и ступевалась за углом. Персмитин зажег фонарик.

— Кто там?

Огромный, пожилой, бородатый боец нехотя вышел из-за угла и остановился.

— Что тут делаешь? — спросил комиссар.

Боец молчал и перемпался с ноги на ногу.

— Какого взвода? — спросил комиссар.

Боец ответил.

— Фамилия?

— Серегин.

— Что тут делаешь? — повторил комиссар.

— Да мы... — начал растерянно боец, — да мы так... этого... так, значит... ложку пошел в избу попросить, свою затерял, — вдруг быстро сказал он, радуясь, что нашел выход из трудного положения.

— Разрешение на хождение по избам получил?

— Не-ету, — протянул растерявшийся спова боец.

— Не-ету, — передразнил комиссар, записывая в блокнот фамилию бойца и номер взвода, — иди!

Боец медленно отошел. «Ну, влетел! — досадливо думал он, — теперь начнется история!»

Насчет ложки он соврал. Ходил он совсем не за ложкой. Он прибыл в роту нелавно с пополнением, и это была первая деревня, которую при нем отбили у немцев. Едва всгушили в деревню, как он вошел в первую же избу и стал допскиваться, расспрашивать у хозяйки, как было при немцах. «Ох, худо, родимый, все отобрали!..» — твердила жепщина. Но Серегин глядел недоверчиво. Он отвел женщину в сторону: — Да ты не спиши, говори по порядку... Небось, не на митинге. Правду скажи... Я сам крестьянин... Колхозный конюх... Ты мне не ври. И колхозница повела его по двору в сарай и показала, что надедали немцы, и все плакала и твердила: — «Да если бы я загодя знала, сама бы с вилами на них пошла... Я думала о них так только в газетах пишут... Ох, звери, гады!..»

Но Серегин и тут решил проверить и пошел по другим избам. И всюду женщины плакали и говорили одно и то же: замучил немец, вовсе замучил!..

И теперь, иля к себе во взвод и пытаясь во тьме на сугробы, он старался не думать о неприятной встрече с начальством, а думать о том большом, что занимало его.

«Нет, — думал он, — надо завтра еще по избам-то походить, посурьезнее... Бабы-то — они плакать горазды!»

Было уже поздно, но дел у Петра было попрежнему хоть отбавляй. Он сидел за столом, окруженный людьми, и просматривал бумаги, время от времени собирачиваясь к политруку Парфентьеву за советом. Парфентьев сидел на кро-

вати и, сняв тяжелые сапоги, писал письмо домой жене. Сегодня он впервые участвовал в бою и описывал свои впечатления. Эти впечатления были для него самого совершенно неясны, но основное, что он чувствовал, заключалось в том, что, несмотря на весь ужас, охвативший его от этого свиста пуль и, главное, от минных разрывов, он, Парфентьев, не выказал своего страха, а, наоборот, вел себя так, как если бы ничего не случилось. — «А вель неплохе для первого раза, — ей-богу, неплохо! — удовлетворенно думал он. — Но как же сделать так, чтобы совсем не бояться? Надо будет провести недельку в боевом охранении, тогда привыкну», — решил он, заканчивая письмо.

Открылась дверь, всклубился морозный пар, и в избу, отирая усы от тающей изморози, вошли командир дивизии и комиссар. Петр встал и вытянулся, а Парфентьев начал быстро обматывать вокруг ног портянки, испуганно косясь на начальство.

Комиссар подошел к нему.

— Новый политрук роты?

— Так точно! — ответил Парфентьев, падевая сапог, который никак не натягивался: портянка, завернутая так поспешно, сбилась в какой-то колтуп. «Что за напасть! — отчаянно думал он. — Надо бы перемотать!.. Да не время!.. Ах, черт тебя возьми!»

— Вы что, домой письма пишете? — спросил комиссар неодобрительно косясь на сапог Парфентьева.

— Так точно!.. — Сапог не натягивался.

— Не время, не время, — сурово сказал комиссар Турухин, — есть дела поважней!

Он отвернулся. А Парфентьев, рывком потянув сапог и чувствуя, что портянка окончательно сбилась и сжимает ногу, как стальная колодка, в смущении скомкал письмо и спрятал его глубоко в карман.

— Молодцы! Молодцы! — весело говорил между тем Петру командующий дивизией Перемитин. — Доволен! Очень вами доволен! Пойдемте посмотрим деревню.

Они вышли. Впереди шел Петр с Перемитиным, за ними комиссар, сзади,ковыляя, подвигался Парфентьев.

«Переобуться бы! — думал он в тоске. — Чорт, жмет!.. Переобуться бы!»

— Сюда, сюда, — сказал Петр, — здесь был их штаб.

Они вошли в крепко сбитую крестьянскую избу. На лежанке тревожно шевтались ребятники и женщина раздувала самовар.

— Привет хозяевам! — сказал Перемитин. — Так у тебя тут ихний штаб был? — обратился он к женщине.

— Был, был, — отвечала женщина, — был, чтоб ему провалиться!.. Сам генерал приезжал... Три денщика на одного генерала...

— Во как! Зачем же так много?

— А хрен его знает! — серьезно сказала хозяйка. — Надо быть для фасону.

В избе на столе лежали пустые бутылки с немецкими этикетками. Консервные банки валялись на подоконнике, на полу. Скромные крестьянские бумажные цветы, украшавшие почетный угол избы, куда обычно прикалывают семейные фотографии, были сорваны. Вместо них были прикреплены фотокарточки участников шара: два офицера с бутылками на фоне Эйфелевой башни, три офицера с бутылками на сгоревшей уличной французского города Тура, пять офицеров с бутылками, сидящих на полу какой-то католической часовни.

Осмотрев избу (в те дни все это было внобе), Перемитин со спутникам

вновь выпли на улицу, а детские головки, юркнувшие куда-то вглубь при их входе, опять показались над печкой, и белокурая, курносая девочка острым, быстрым шепотом спросила:

— Ванька! Это наш генерал, а?..

— Генерал! — солидно отвечал Ванька.

— А тот, сзади... который хромой?

— Хромой? — сурово спросил Валя. — Какой хромой?.. Это у него сапог жмет. Не видишь? Эх ты, баба! — презрительно заключил он.

На западной околице села, в брошенных немцами блиндажах, расположились отделения роты.

Мигая, горел огонь лампы, стоявшей на столе. На печке кипел чайник, рядом сушились шинели. Бойцы чистили оружие. — в воздухе мелькали шомполы, обернутые тряпками, пропитанные черн-зеленым маслом. Двое-трое бойцов, вооружившись иголками и питками, были зашты мелкой пачинкой одежды. Красноармеец Федосеев, по профессии портной, пришивал пуговицы. Он сидел на соломе, по-портновски поджав под себя ноги, и работал так ловко и прочно, что к нему даже из соседних землянок приходили за помощью.

К тому же Федосеев был еще и запевала. Он запевал негромко, нежным, чувствительным тенорком, и мелодия, легкая, привычная, плавно скользила над лампой, озарявшей серьезные, мужественные лица:

Тучи над городом вьются...

В углу возле печки примостился красноармеец Канадин, готовил «Боевой листок». Он уже наклеил передовицу, статью политрука, описание боев под селом. Подверстал отдел юмора. Теперь он подклеивает стихи о санитарке Катюше Деревенко, написанные ротным поэтом:

Не цветут уж яблони и груши,
Дед-мороз хозяином идет.
Не выходит на берег Катюша,
Она с фронта раненых несет...

Когда в землянку вошел Перемитин, все встали и вытянулись. Командир взвода подошел с рапортом. Не встал по форме только один Кройков. Но странной случайности он сидел, подобно политруку, без сапог и теперь поспешно и взволнованно старался намотать портянки. Комиссар дивизии, рассерженный тем, что повторилась в точности картина, уже виденная им в командирской избе, приблизился к Кройкову и спросил:

— Какого взвода?

Кройков бойко ответил, встав и держа за ушки тяжелые походные сапоги.

— Почему без сапог, когда находитесь на виду у врага? А что если немцы сейчас пожалуют?

Кройков не сумел ответить. Он стоял и глядел куда-то в сторону, в то время как политрук Парфентьев смотрел на него понимающими, соболезнующими глазами.

— Каждый боец должен это понимать, — сказал комиссар, — партийный и беспартийный... Ты беспартийный?

— Партийный, — увавшим голосом ответил Кройков.

— Партийный? — комиссар изумленно посмотрел на Кройкова: вот уж непохоже на партийного! — Тем более, — строго добавил он, — надо быть примером для других, а не распускаться. Как фамилия?

— Кройков

— Кройков? — комиссар еще более изумился. Так вот он, тот знаменитый Кройков, который встретил один-на-один два вражеских танка, получил орден и сегодня опять отличился в бою и снова будет представлен к награде.

Подшел командир дивизии.

— Кройков? — спросил он. — Привет, Кройков! Что, ноги грешь?

— Грею, — уныло сказал Кройков.

— Грей, грей! — произнес Перемитин. — Шшь, патружены ноги-то, жылы выстунили, — добавил он, сердито косясь на комиссара. — Ты бы их помассировал, — промолвил он, поклоняясь над ногами Кройкова.

— Помассирую, — сказал Кройков, не зная куда девать голые ноги.

— Так, так, действуй, действуй! — произнес Перемитин и выпрямился. — Спасибо вам всем, друзья, за сегодняшнее дело. Отлично работали. А командиру и политруку вашему — особо спасибо.

— А мне нравится этот новый политрук у Котельникова. Жизнь поймает. Люблю таких.

Комиссар вздохнул и, не желая вступать в прямое пререкание с командиром дивизии, ответил:

— Ничего... Впрочем, надо еще проверить, каков он будет в работе, — добавил он уже более резко. — Какой-то он мешковатый, разболтанный... штатский... Вот сегодня эта история с сапогами.

Приехав, Перемитин доложил штабу армии обстановку. А через 24 часа — в ночь на 5 декабря — пришел шифрованный приказ Ставки об общем наступлении на немцев под Москвой.

ГЛАВА 7

5 декабря вечером приказ Ставки был доведен до сведения командиров рот. Сотни политработников направились во взводы и отделения, чтобы разъяснить бойцам сущность этого приказа.

Политрук Парфентьев назначил коммуниста Кройкова для беседы со стрелковым отделением сержанта Перчаткина. Блиндаж отделения помещался на самой опушке, был просторен, обшит сосновыми досками, и когда Кройков вошел туда в своей длинной, не по росту, шинели и в шапке, из-под которой оттопыривались уши, он застал бойцов надрывающимися от смеха. Хохот происходил оттого, что боец Сафопов сменю и картинно рассказывал, как он ухаживал в городе Тамбове за продавщицей парфюмерного магазина.

— Зашел, мыло купил... Вышел, за углом постоял, зашел — опять мыло купил... Третий раз вышел, зашел — снова мыло... Смеется, шельма! Зачем, говорит, вам, боец, столько мыла? Да я, говорю, каждый час в бале моюсь!.. Хохот.

— А в другой день на помаду кипулся. Пять штук помады купил, сохнуть на месте! Покупаю и на ее гляжу, покупаю и на ее гляжу... Глазки закатывает, соображает!.. К чему, говорит, вам, боец, столько помады? Да я, говорю, себе губки мажу после каждой цыгарки...

Успех рассказа превзошел самые гордые ожидания рассказчика, и он удовлетворенно моргал глазами.

Вмечался Зиялякин: он не переносил чужого успеха.

— Да, да, бывает, случается, — заговорил он быстро и оживленно, стараясь

сразу же обратить на себя внимание аудитора.— Вот, скажем, в Борисоглебске я за бухгалтершей ухаживал... Деловая такая бухгалтерша, в очках...

Выслушав повествование о бухгалтерше и посмеявшись так, что нос у него покраснел, на лбу выступили капли пота, Кройков снял шипель, расправил под поясом складки гимнастерки и веско сказал:

— Ну так... Смеху конец. Теперь я буду говорить, а вы слушать!

Бойцы, переговариваясь и все еще переменяясь от лихого рассказа Зиялкина, расселись по парам и складным табуретам. Кройков не спеша развешил на стену большую наклеенную на холсте разноцветную карту Европы. Потом, все так же не спеша, засучил рукава гимнастерки, как бы собираясь пачать какую-то сложную хирургическую операцию.

— Товарищи,— сказал он, шурясь и вытирая кулаком лоб,— вот она, тут перед вами, Европа. Вот тебе Франция,— он обвел черту французских границ своим заскорузлым пальцем,— вот тебе Германия... Тут, под пизом, Италия... А вот это — мы, Сесесээр, Россия... Не возись, Милкин.— сердито прикрикнул он на молодого пошевелившегося и оглянувшегося зачем-то бойца,— с тобой разговариваю, не с дверью...

Он помолчал, точно отделяя те серьезные, значительные мысли, которые зашмали его, Кройкова, от образа легкомысленного Милкина, нарушившего ход этих мыслей, и продолжал:

— Каково положение на сегодняшний день? Положение худо, товарищи, худо, очень плохое,— сказал он и покачал головой так грустно и сокрушенно, что все глаза молча и сосредоточенно уставились на него.— Почему же так худо? А потому, что немец взял Белоруссию, Украину, Крым и подходит к Москве. Что тут делать, а? Как тут быть?

Он проговорил это и, точно ожидая ответа, сел на уголок нар, не спеша вынул кисет, свернул папиросу, закурил и выпустил пышный клуб дыма. Слушатели следили глазами за каждым его жестом и сосредоточенно молчали.

— Да, тут призадуматься! — одобрительно и серьезно сказал Кройков.— Столько лет строили, мучились, от куска хлеба отказывались — и пате! Вот ты, Лузарек, Кузнецк строил? — обратился он к одному пулеметчику, вздрогнувшему от неожиданности.— Строил! А я Днепрогэс строил.

— Да ты разве на Днепрогэсе был? — прервал его чей-то голос из глубины землянки.

— Был! — ответил Кройков, и все почему-то внутренне удивились тому, что Кройков строил Днепрогэс, как удивлялись, узнавая, что Кройков партийный.— Был! Плотником-бригадиром. Все видел. Видел, как народ на морозе бетон клал... Все видел, и голод, и холод. Сам в тридцать пять градусов опалубку делал... И вот теперь — где Днепрогэс! Нет Днепрогэса! Страдал народ, мучился, а немец все спал в свое удовольствие.

Он снова не спеша загасил цыгарку, затянул шпурочком кисет, спрятал в карман, и все опять молча следили за каждым его движением, точно спрашивая себя, как же это так вышло, что отдали немцу Днепрогэс, где так тяжело трудился народ и где работал Кройков, такой спокойный и рассудительный.

И, видно, у самого Кройкова мелькнула та же мысль, потому что он сказал:

— А почему так вышло? Потому что плохо воюем. Очень плохо воюем! — серьезно и веско сказал Кройков.— Затылок чешем! Беспорядка-то одного сколько, беспорядка! — вдруг резко выкрикнул он.— Пошлют какого-нибудь бойца в штаб за делом, а он идет, скот, прохлаждается, папироску запаливает! А почему, почему? Потому что есть замечательные ребята, а есть так — пыль, пля-

муны... Вот они и показывают себя, плясуны: бегут! Бегут, чорт бы их взял с их матерью! — крепко выругался Кройков, помолчал, вытер кулаками пот и уже спокойно сказал:

— Человек должен свой долг знать. Если ему сказано стоять — должен стоять, сказано идти — должен идти... А у нас? Скажешь какому-нибудь раззяве «стой» — он идет, скажешь «иди» — он стоит. Воспитали! С самой школы ему все: ах, умненький, ах, хорошенький, ах, ах, ах! — заахал сердито Кройков, — вот он и вырос — умненький! Разве он может долг понимать! Ему музыку подавай — спляшет. Это он может! А воевать? Нет. Хватит! Этак всю советскую землю можно провоевать! — вдруг резко и гневно сказал Кройков и хлопнул по парам шершавой мускулистой ладонью. — Да погоди, погоди! — сердито крикнул он старшине, который вошел в землянку с термосом и котелками. — Погоди с ужином, дай доклад кончу!

Он примолк, собираясь с мыслями, прерванным приходом старшины. Стояла мертвая тишина, видимо, речь Кройкова произвела на бойцов сильное впечатление.

— Вот, братцы, какое дело, — сказал Кройков, — стонет народ под пемцем, сильно стонет, и много пемец разорил нашей земли, много всего пожег, порубил... А теперь — стоп! Есть приказ страны, партии, товарища Сталина. Вперед! — есть приказ. Завтра с утра наступление. Завтра, товарищи, пойдем советскую землю освобождают. Будет тут и кровь, и горе, и раны — все будет! Ничего не подслаешь — долг, присяга, надо идти. И мы пойдем! — крикнул он. — А если какой тапчор побегит, так ему пуля в спину! Будем, товарищи, драться, как большевики, куда в нас кровь, а кого из наших убьют, так тому честь и вечная слава!

Кройков, умолк, снял карту Европы, свернул ее в трубку, расправил рукава, застегнул пуговички на запястьях и взглянул на слушателей.

— Вот и весь доклад, — сказал он вдруг растерянно и смущенно.

Ужинали чинно, без шуток: доклад очень понравился. После ужина стали просить Кройкова спеть сибирские песни, — он был мастак по этой части. Кройков долго отнекивался, — он был недоволен собой, его доклад казался ему самому сбивчивым и неполным. «Даже о международном положении не сказал и о немецких зверствах», — досадливо думал он.

— Нет, нет, спой! — твердил Милкин, тот самый боец, которому Кройков сделал замечание. — Спой про то, как охотник в тайге заблудился да сорок дней пропутал.

— Ну, разве про это, — нерешительно согласился Кройков и начал тихонько петь.

Страшная песня! Не было в ней ни ясной мелодии, ни припева, но слушали ее, затаив дыхание. Необозримость сибирских лесов, гул ветра, запах хвои и дождя — в ее причудливо сплетающихся словах. Идет среди этих вечных деревьев сибиряк-охотник. Сколько дней он уже идет? Много дней. Бьет его ветер, хлещет дождь, нападает на него дикий зверь — все ничто этому человеку! Силы оставляют его, он падает, он ползет. Но ползет и ползет — не сломись его! И опять ветер, и опять дождь, и уже вышли патроны, и нападает на него стерегущий во тьме враг, и долго катаются они по земле в смертной борьбе. Враг убит, и опять идет вперед человек.

Он лойдет, добредет.

«Не горюй, жеча, он к семье придет!» — так кончается эта песня.

Да есть ли сила на свете, которая сломит народ, сложивший такую песню!

Еще затемно начала бить наша артиллерия, и бойцы, ежась той незаметной дрожью, которая происходит от первого ожидания, холодного утра и короткого, прерванного сна, глядели туда, где вспыхивали желтые шары пламени и куда им сейчас предстояло идти.

Командир отделения, высокий Перчаткин, стоя за деревом, то и дело поглядывал на ручные часы и всматривался в лица своих бойцов быстрым, ободряющим взглядом сообщника, точно говоря: «Ну вот, сейчас!.. Терпение, терпение!.. Теперь скоро... А холодно, чорт поберит!..»

Чем ближе к сроку, тем медленней и медленней двигались стрелки часов и на последних пяти минутах завязли так, что Перчаткин в нетерпении отвел от них глаза, задумался о чем-то, и когда опять посмотрел на циферблат, то выяснил, что уже просрочил полминуты.

— Вперед! — торопливо и резко скомапдовал он. Быстрым шагом, почти бегом, используя скрытые подступы, переступая валенками по пробитому передними рядами снегу, бойцы отделения двинулись вперед, на запад. Первые две сотни метров отделение прошло без помех, но затем, как только бойцы вышли из леса, противник начал сильный прицельный минометный и пулеметный обстрел. До рубежа накапливания для атаки, намеченного командиром роты, оставалось метров четыреста — местность была открытая. Ввиду мощного огня противника, Перчаткин применил короткие перебежки по-одному. Каждый боец с выходом на рубеж перебежки немедленно оканчивался, то там, то тут, пад белой равниной вздымалась блестящая снежная пыль, точно проплывал крохотный скротливый дымок.

«А неплохо пока идет дело!.. Совсем неплохо! — думал Перчаткин, намечая глазами новый рубеж перебежек и первым, согнувшись, подбегая к нему. — Теперь уже недалеко, вот, совсем недалеко!» — соображал он, падая в снег и чувствуя, как плотная морозная пыль обдаёт его горячее лицо. Мина хлопнула совсем рядом, взрывная волна повернула Перчаткина на бок. Тут же быстро-быстро зачиркало по снегу что-то крохотное, невидимое, жужжащее. «В меня пулеметом бьют!» — подумал он, вжимаясь всем телом в снег. Новый разрыв. Мелкие, острые брызги хрястнули и рассыпались на руке Перчаткина — Эге! — громко сказал он, — этак и помереть можно! Сынет, чорт! — Он взглянул на руку и убедился, что разбилось стекло на часах. «Ну вот еще новости! — досадливо подумал он. — Где я теперь стекло-то найду! В Москву, что ли, ехать? Да как же это я его так, честное слово!»

Вскоре отделение попало под артиллерийский палет, но Перчаткин, не растерявшись, смелым броском вывел его из-под огня.

— Ей-богу, неплохо! — вслух сказал он, вырыгнув в овражек, назначенный как рубеж накапливания для атаки. — Ай да Перчаткин... Ну молодец, знает дело!

— Чего это? — переспросил вырыгнувший тут же за ним боец Сафонов — тот самый, что ухаживал однажды в Тамбове за продавщицей парфюмерного магазина.

— Да ничего, так, мысли, — смутившись, сказал Перчаткин. — Вот стекло на часах разбило, — добавил он, радуясь возможности перевести разговор на другую тему, — где я его теперь почию! В Москву ехать?

— Ты выживи сначала, а потом часы чини, — строго ответил Сафонов, не взглянув на часы.

взвода, отдал приказ готовиться к атаке. Бойцы поспешно дозаряжали ружья и готовили ручные гранаты. Где-то рядом, на гребне овражка, коротко и бойко тарахтел пулемет Крэйкова.

Перчаткин привстал, пригнулся, педвижно устремившись всем телом вперед, точно выжидая какой-то подходящей, ему одному известной секунды, и крикнув вдруг: «Отделение, в атаку, за мной!» — выбежал из-за укрытия.

Бежать было недалеко, но немцы открыли по атакующим беспешый, плотный огонь. Этот огонь прижимал человека к земле. Спина сама собой сгибалась, ноги подкашивались, стоило невероятных усилий передвигать их. Все существо человека, все силы его разума и инстинкта, все то в человеке, что радуется жизни и ненавидит смерть, кричало, стучало, молило: «Ложись, ложись!»

Движение, как камень, брошенный в воздух, постепенно замирало. Нужен был новый толчок, чтобы придать движению силу.

— Ура! — что было силы крикнул Перчаткин.

— Ура! — подхватили бойцы. Этот простой возглас был тот самый искомый толчок, веселый и беспшибашный, рождавший на смену обычному, осторожному повыи, удалой разум, повыи, не зиающий страха, инстинкт — смять, раздавить, отбросить врага!

Но и этот толчок не мог действовать бескопечно, а до немцев еще оставалось метров пятнадцать. Перчаткин сам, по себе самом, чувствовал, как уходит сила толчка, как оыаь немыслимая тяжесть пригибает к земле тело, как подгибаются поги: ложись, ложись!

Однако в этот решающий момент пришло в действие то, чего не видит атакующий, по что происходит в душе атакуемого: постепенное пессякание стойкости. Ведь у атакуемого тоже был разум и был инстинкт. И при виде этой неуклонно надвигающейся лавины бегущих, кричащих, песущих смерть людей этот разум, этот инстинкт стал кричать, стучать, молить в едином порыве: «Беги, беги, все кончено, беги!.. Не остановить!..» И в тот момент, когда Перчаткину уже показалось, что атака совсем захлебывается, какой-то невидимый рубеж был пройден, немцы дрогнули и, бросая оружие, кинулись назад по кодам сообщения.

— Ура! — крикнул Перчаткин и с хода метнул гранату.

— Ура! — подхватили бойцы и, чувствуя как захлестывает дыхание и сердце этот повыи, послелпий, торжествующий крик, которого уже не заглушить ничем, бросились за Перчаткинм, вломились во вражеские траншеи и, добывая немцев штыком и гранатой, перепрыгивая через зарядные ящики, котелки, брошенные винтовки и автоматы, вырвались, задыхаясь, к околице деревеньки, видневшейся на холме.

...Связные из взводов еще затемно прибыли на командный пункт роты. Петр, не спавший всю почь, бледный, с глубоко запавшими глазами, на расвете снова разослал их по взводам, чтобы в последний раз уточнить все детали атаки. Потом, чтобы успокоиться, сел бриться. Он брился на снежной полянке, при тусклом свете зарождающегося дня. Парикмахер-боец работал весело, споро и рассказывал о том, как хорошо было поставлено дело у них в парикмахерской в Туле.

— Приходишь, — все чисто, прибрано, кассирша на месте, умывальники вымыты, всюду таблицы: «Будьте взаимно вежливы»...

Что же, ты без тапочки не знаешь, что надо быть вежливым! — спросил, думая о своем, Петр.

— Мы-то знаем, — спокойно сказал боец, — клешты недооценивают.

Он сделал последний, уверенный и галантный взмах бритвой, с треском сложил ее, вытер Петру салфеткой лицо и стал опрыскивать волосы из пудренизатора.

— Лысете, — сказал он вежливо, но значительно, — надо касторкой мазать!

— Личего, — хмуро промолвил Петр, — буду жив, так и лысым невесту найду.

Боец коротко засмеялся остроумию начальника и сказал так, словно между ними был долгий, задушевный разговор:

— Да-да!.. Для невесты — жизнь первая вещь. Это точно.

Когда заработала артиллерия, Петр занял наблюдательный пункт. Атака началась точно в срок, и уже через десять минут после начала боя Петр перенес свой наблюдательный пункт на полкилометра вперед. Связные подползали и уползали. Второй взвод понал под сильный огонь и залег. Петр послал два отделения и два пулемета в обхват группе немецких автоматчиков, которые заставили взвод залечь. Автоматчики были сбиты, но взвод, не то из-за больших потерь, не то из-за перешителости командира, продолжал лежать.

— Да что они там? Вперед, вперед! — громко крикнул Петр, словно его могли услышать во взводе. — Скорей туда! — крикнул он связному. — Скажи: вперед!

Связной быстро пополз, втянув голову в плечи, оставляя на снегу извилистый след. Как только он отполз метров на пятьдесят, Петр увидел, что из-за роши прямо на второй взвод двинулись два немецких танка и за танками — темные, разбросанные пятна кольтратающей немецкой пехоты.

— Правильно! — проговорил Петр. — Бьют туда, где раззявы! — сказал он даже с некоторым злорадством, словно удовлетворенный тем, что дело идет правильно, по-военному.

Из-за леса грохнули сорокантиллитровки. Один из танков вспыхнул, другой приостановился, стреляя из пушки. Но немецкая пехота разом рванулась вперед и, тархтя автоматами, стала приближаться ко второму взводу. Взвод лежал попрежнему, вяло отстреливаясь.

«Ну что они там? Уснули?» — уже со злобой подумал Петр про второй взвод.

Едва он успел это подумать, как увидел, что один из бойцов взвода вдруг поспешно пополз назад и, привстав, убежал, пригнувшись к земле. За ним другой, третий...

— Что? Что такое? — пробормотал, бледнея, Петр. — В такой день, в такой день! — пронеслось у него в голове. — Позор на всю армию!

— Вперед! — гаркнул он и, не помня себя, бросился наперерез бегущим, спотыкаясь, увязая в снегу, падая, вновь поднимаясь. — Куда? Вперед! Вперед! — кричал он.

Бегущие присели на корточках в снег, тревожно оглядываясь на крик. Этот крик подбегавшего командира как бы пробудил их. Они точно сейчас только проснулись и ошалело моргали глазами, не совсем понимая, что происходит. И как только Петр норовился, тут же, перешителю переглядываясь и отирая рукавами шинели снег с мокрых лиц, они потянулись за ним.

— Вот оно какой театр!.. — громко сказал один из них. — Бьет немец. жарко бьет! — добавил он, как бы оправдываясь.

В этот момент справа зазвучало «ура», из-за холма показалась группа наших бойцов, застучал пулемет, и немецкая контратакующая группа, смята лихим ударом во фланг, стала беспорядочно отступать в лес, преследуемая сразу дружно поднявшимися бойцами второго взвода.

«Перчаткин! — узнал Петр бойцов, ударивших во фланг. — Ай, молодец! Ну молодец! — торжествуя, думал он, продолжая бежать и задыхаясь от бега. — Так, так их, Перчаткин!»

Точно: то был Перчаткин. Прорвав укрепленные линии немцев и увидев группу вражеских войск, шедших в контратаку, он с хода повернул свое отделение и нанес удар справа. Потом, убедившись, что удар удался и что здесь докопчат дело без него, снова вышел на направлении, указанное ему в задаче.

Бой теперь шел уже посреди деревни, в садах, огородах. Стреляли из окон, из проломов стен. Перчаткин с противотанковой гранатой в руке полз к одному из каменных домов, откуда шла особенно ожесточенная стрельба. Он уже подползал, когда что-то глухое, тяжелое ударило его в спину. Все сразу ослабло в нем, горло стало сухим, и сердце забилося в таком беспомощном, невыразимом, смертельном испуге, какой бывает только в детстве.

«Есть! Убили! Готово!» — подумал сержант Перчаткин. Но боли не было, и сколько ни прислушивался Перчаткин, он не ощущал ничего, кроме той же слабости и сухости в горле.

«А может, и ничего, — в великой надежде подумал он, — может, так — просто споткнулся».

Но пошевелиться он не мог. Дрожь в теле понемногу утихла, лежать было хорошо и спокойно, очень хотелось спать, но невозможно было закрыть глаз. Веки отказывались повиноваться, так же как и руки. Перчаткин лежал, обводя все вокруг испуганными, недоуменными, чего-то ожидающими глазами. Потом и это ожидание сменилось легкой спокойной истомой.

«А хорошо! — подумал Перчаткин, — ах, хорошо, спокойно».

Все, что он видел, было снег, край забора, голая сухая осина да окопце в приземистом сарае. Это был метр родной земли, отбитой у врага, та самая пядь родины, которую надо было защищать, не жалея крови и самой жизни своей. Снег тихо искрился — казалось, можно было разглядеть каждую крупинку его. Синее небо с его русскими тяжелыми облаками, отражалось в оконце сарая. Осина покачивалась на ветру. Вокруг осины, вздымая снежную пыль, легонько пошевеливалась русская лоземка. Пахло не то морозом, не то овчиной, не то яблоками, не то свежесрубленным на морозе деревом. Прилетел далекий дымок, завился вокруг кольев забора, и сразу колья точно поплыли куда-то, легкая тень метнулась по снегу, запахло печью и хлебом. И все это был только метр земли — пядь воздуха, неба, сарая, забора, крохотная, белая, голубая, морозная песчинка России.

«Ах, как красиво! — подумал Перчаткин. — Как хорошо, как красиво!»

Он подумал о том, что сколько ни ехал он из Сибири сюда, на фронт, — все нравилось ему, все было красиво. Прекрасна была Обь, красива была бурая заволжская земля под дождем, красивы были дороги, леса, обозы, шлагбаумы, станции, кирпичи, стены, крыши.

«Какая страна! — с уважением подумал Перчаткин. — Какая большая, красивая страна!»

Вот он, Перчаткин, лежал в снегу на крохотном клочке русской земли, и этот клочок отбил у врага он, Перчаткин, и эту осину, этот забор, эту голу-

бую и белую песчинку неба, воздуха, снега вернул стране он, боец Перчаткин. Это была его земля, политая его кровью, отбитая им у немцев.

«Ах ты, милая моя! — подумал вдруг Перчаткин с такой печалью, что слезы выступили у него на глазах.—Ах ты, милая моя, красивая!»

Веками стояла эта прекрасная русская земля, и веками пытались иноземцы поработить ее, и каждый раз вставали русские люди и пядь за пядью отбивали у врага землю, орошая ее своей кровью. И вот пришел черед драться Перчаткину. И он дрался, и он тоже отбил у врага клочок земли, этот сарай, этот забор, этот дымок и принес их в дар счастливому будущему страны — крохотный дар, но ведь как мал и он, Перчаткин, в сравнении со степной стали, огня и железа, что противостояла ему. Пусть же то, будущее, помнит его! Пусть в день победы напишут на этом клочке земли: «Отбил у врага боец Перчаткин!..»

— Сделал, что мог, — громко сказал Перчаткин тому, будущему, — а если мало сделал, то так уж вышло!

Кто-то дотронулся до Перчаткина, тело его приподняли, понесли, и сердце, успокоившееся было в тихой истоме, вновь затревожилось и забилося.

Потом все грохнуло стремительным взрывом, в мозгу поплыли красные пятна и мысль: «Есть, помираю!» — пронзила Перчаткина в тот самый момент, когда военврач в сапогах и в халате, осмотрев его рану, сказал:

— Этот выживет... До утра пусть пробудет здесь, а потом в медсанбат... Много еще раненых, Мария Евгеньевна?

— Все подвозят, — ответила, что-то записывая, Мария Евгеньевна, — все подвозят, подвозят!..

В это утро немецкие линии были прорваны на всем фронте. Началось зимнее наступление. Наши войска устремились на запад. По дорогам, заваленным снегом, расчищаемым сотнями лопат, только что освобожденным от мин, шли пескочаемые колонны. Машины увязали в снегу, их вытаскивали, проталкивали. Вперед! Вот застрял в снегу грузовик. Бойцы с идущих сзади машин спешат ему на выручку. Короткие слова команды, колеса буксуют, снежный вихрь залепляет глаза, оседает на шапках, на полушубках, и грузовик, свирепо жужжа, выползает на верный путь. Его экипаж взбирается на площадку. Вперед!

Мосты были взорваны врагом. Их восстанавливали, — щетки брызгами летели из-под топоров. Связисты тянули провод, минокскатели шаржили по обочинам, лепешки и цилиндрики извлеченных мин лежали поодаль, огражденные напильниками на досках, прибитых к шестам: «Внимание, мины!»

Но еще не все мины были выловлены. Иногда раздавался взрыв, рыжий дым взлетал над дорогой. Мина! Санниструктор делал раненому перевязку при свете автомобильных фар.

Первыми были пройдены так называемые нейтральные деревеньки — те, что стояли между нашими и вражескими укрепленными линиями. В течение месяца снаряды, мины медленно разрушали эти деревеньки, по улицам пробирались разведывательные отряды. Многие дома были разрушены, сожжены. Но в тех, что уцелели, заметны были следы домашнего быта. Жители ушли, но деревенька осталась в «нейтральной зоне», и вещи сохранились в том виде, в каком их покинули хозяева: шкаф с посудой, недонитая кружка с замерзшей водой на столе, картошка от последнего ужина, детские куклы, стенные часы

с застывшими стрелками, забытая трубка с табаком, корыто, хозяйские фотографии — невеста с фатой, жених в галстукe, с гладко примазанной головой: дело, видимо, давних дней.

На западе зарево: будто воспален синий безоблачный горизонт. Там идет бой. Там от деревни к деревне продвигаются наши бойцы. Они гонят врага от Москвы, они сражаются днем и ночью и в короткие часы отдыха спят, прикорнув на снегу: пастушение, нет времени рыть землянки. Спят под синим январским небом, положив под руку винтовку.

И снова плут среди снежных полей, под мином, пулями и снарядами, в багровых огнях пожарниц. Вперед!

ГЛАВА 8

Случилось так, что Петр получил возможность съездить на денек в Москву. Произошло это 31 декабря, в капуп Нового года.

Приехав в Москву, Петр тут же поспешил на телефонную станцию, чтобы заказать разговор с женой, жившей с пятилетним сыном Яшкой в далеком уральском городке. Потом, закончив дела по командировке, решил зайти к сестре Оле — узнать, нет ли чего нового.

На этот раз заснеженный, покрытый огромными сугробами переулочек казался ему еще незнакомым, чем тогда, ночью. Дома стали как будто ниже рядом с этими снеговыми горами, выросшими у тротуаров, в напсадниках, за заборами.

Солнце ярко светило в голубом, безоблачном небе, все вокруг выглядело радостно, беззаботно, и даже в знакомом подъезде меньше пахло щами и пылью. Но кошкам пахло попржему. В ответ на стук Петра раздалась за дверь шагн, и голос, памятный Петру по осеннему посещению, произнес:

— Кто там?

— Это я... брат Ольги Котельниковой.

— Брата у нее нет.

И почти в точности повторился осенний диалог:

— Как это пет? Я — ее брат...

— Не знаю, не знаю... Кавалеры есть, — знаю... А брата не знаю.

— Да откройте вы! — бешено крикнул Петр. — Я с фронта, мне некогда!

И только когда Петр, махнув рукой, стал спускаться вниз, дверь распахнулась и жилец сказал:

— Послушайте, брат!

— Что?

— Входите!

В квартире было очень холодно, от дыхания клубом вздымался пар. Кастрюли и керосинки, стоявшие в коридоре на сундуках, покрылись шеем, а жилец был одет в шубу, в валенки, в какие-то вязаные шерстяные рейтузы, и нос у него посинел от мороза. В Олиной комнате на комодe попржему лежала шаль, а на столе — нетронутое с осени письмо Петра к Ольге.

— Ольга Сергеевна не приезжала?

— Нет.

Петр помолчал. «Написать, что ли, еще одно письмо? — подумал он. — Эх, черт побери, не спросил тогда Олиного адреса у той противной девчонки!»

Он сел за стол, вынул из планшетки бумагу, карандаш и стал писать.

— Ну как на фронте? — спросил жилец.

— Дела идут.

— Говорят, хитер немец?

— Не хитрее нас с вами.

— Говорят, он парочно отступает, заманивает... А потом как ударит!

— Кто это вам говорит?

— Знакомые говорят... — неопределенно сказал жилец, — умные люди... Говорят, он в Москву десант высадит. Правда это?

— послушайте, вы можете помолчать?

Жилец сердито и обиженно забунил, вновь упомянув о справке, об ухажах и о домоуправлении. А Петр запечатал письмо в конверт и сказал:

— Передайте Ольге Сергеевне, что был брат. Ясно? И болтайте поменьше. Никакого десанта не будет! Ясно?

— Ясно, но не совсем, — ответил с достоинством жилец. — Все в жизни бывает!

Петр вышел, жилец запер дверь, открыл Олину комнату и остановился перед шалью. С этой шалью у него были сложные отношения. Как известно, он решил взять себе Олину шаль, едва только немцы возьмут Химки. Химки не были взяты, но он все-таки шаль взял. Потом, когда немцы были отбиты от Москвы, опять положил шаль на место. Теперь, проведав про десант, он окончательно решил взять себе шаль. Однако слова Петра смутили его.

И вот он стоял перед шалью, погруженный в глубокую задумчивость. Взять или не взять?

Петр вышел на улицу. Был новогодний вечер. Не раз в такой же вот новогодний вечер проходил Петр по Москве. Он любил эти праздничные толпы, эти матовые огни, гул магазинов, сиреневую пестроту витрин, эту спешку к условному часу — веселое, доверчивое приближение к таинственному рубежу, означавшему нечто новое, скрытое от человеческого глаза, но легкое и светлое, как этот вечер.

Теперь темнота покрывала Москву, магазины были закрыты. Невывезенный снег лежал на площадях. Уличные часы светились синим защитным светом.

Но и таким город был прекрасен. Какая-то великая красота неведомости, упорства, грусти и силы лежала на нем. Что-то пронзительно-близкое, торжественное и гордое было в этих примолкших слепых домах. Словно самые эти дома изменились, словно душа их стала упорней, значительней и милее, как значительней и милее становится переживший несчастье человек.

«Какой город! — думал Петр. — Какой прекрасный, бессмертный город!»

В этом безмолвии была сила, в этом мраке была нежная красота, в этой пустынности было горе великого города, та мера молчаливого, гневного горя, которая сама по себе уже залог победы.

«Вот бы художник парсовал этот вечер, — думал Петр, — вот бы художника сюда! Почему нет художника?»

На телефонной станции было пусто, удобные отлакированные кресла поблескивали в синем свете. За матовым стеклом сидели телефонистки в шубах и в теплых платках. Слышалась обычная ночная шумная междугородная переписка:

«Свердловск, Свердловск! Почему не даете 15-80? Абонента нет? Так. Новосибирск! Новосибирск!...»

Петру не пришлось долго ждать. Едва он предъявил свой талончик и уселся в кресло, как его вызвали в кабину. Далекий женский голос сердито частил:

— Котельников! Где Котельников? Нет Котельникова. Разъединяю.

- Я тут! — испуганно крикнул Петр.
- И сразу же услышал нежный и ясный голосок пятилетнего сына Яшки:
- Я слушаю! Я слушаю!
- Яшка! — крикнул Петр. — Это ты, Яшка?
- Я!
- Яшка, ты меня не узнал?
- Не узнал.
- Что же, ты мой голос забыл?
- Забыл, — неловенно сказал Яшка.
- Это папа говорит... Папа!
- Папа? Ой, папа!.. Что-то заерзло и завехлипывало в трубку, и Яшка тонким и мокрым от слез голосом произнес:
- Ты где, папа? Далеко? Приезжай!
- Приеду, приеду, — сказал Петр, чувствуя, что у него самого слезы выступают на глазах. — Позови маму!
- Мамы нет... Папочка, пу сейчас приезжай! Сегодня.
- Приеду... Да где мама?
- Опа? Папа, она на работе. Ты сегодня приедешь?
- «Вот беда, — досадливо подумал Петр, — в кои веки выбрался позвонить и не застал».
- Яшка! Ты что делаешь?
- Я сижу.
- Где сидишь?
- У телефона сижу... Папочка, тебя не убили?
- Не убили, Яшка! Ты-то здоров?
- Здоров. Папа! Ты все на фронте?
- На фронте.
- А тебя не убьют?
- Не убьют.
- И мама говорит — не убьют. А все-таки приезжай!
- Помолчали. Петр, тревожась, что время уходит, заторопился:
- Яшка! Еще что-нибудь расскажи. Про маму. Какие новости?
- Папочка, ну больше никаких новостей нет...
- Ты маму слушаешься?
- Слушаюсь.
- А руки перед обедом моешь?
- Мою. — уныло ответил Яшка.
- Мой и слушайся! — строго сказал отец. — Я скоро приеду.
- Папочка, приезжай! — откликнулся Яшка, и голос его опять стал тонким. — Папочка, золотенький, приезжай!..
- Приеду...
- И береги себя. Когда пули летят, ты на землю ложись... И уходи, если бомба взорвется. Уйдешь?
- Уйду.
- И скорей приезжай!
- Приеду. Что тебе привезти?
- Что-то затрещало, затрещало в телефонной трубке, и голос телефонистки пробормотал:
- Время истекло. Разъединяю.
- Папочка, подожди! — испуганно крикнул Яшка.

— Разъединяю.

— Ничего не привози! — заплакав, сказал далекий, недостижимый Яшка. — Только сам приезжай! Не убивайся!

Разговор окончился. Петр вышел из кабины. На улицах было пусто. В морозной мгле мерцали огни светофоров. Курапты на Спасеской башне звонко и одиноко пробили несколько раз.

Так встретил Петр новый, 1942 год.

Рота Петра была отведена на отдых в село, отстоявшее километрах в десяти от фронта, и бойцы тоже встретили Новый год: устроили вечер в колхозном клубе. Пришли девушки со всего села, выступил писарь из штаба. Он прочел свои собственные стихи.

Стихи эти девушкам очень понравились. А бойцам не понравились: слишком много природы.

Потом начались тапцы. Тут во всю ширь развернулся Зипялкин. Он летал по клубу, как стух, пот лил с него градом, и Зипялкин изящно, на легу, смахивал его концом рукава. В паузах между тапцами он стоял, прислонившись к стене — такой красивый, что все девушки, не отрываясь, глядели на него, и такой потный, что даже брюки на коленях были мокрые. Когда он выходил на мороз, брюки дымились.

На девушек Зипялкин не обращал никакого внимания и, приглашая тапцовать, пазывал их дочками:

— Пойдем, дочка, цыганочку!

Кройков не танцевал, а сидел в буфете и ел. Аппетит у него был огромный, и он ел весь вечер солидно, не спеша. Так же солидно, не спеша, он уплачивал за бутерброды и закуски, извлекая из глубины штанов какой-то старинный, увязанный бечевками кошелек. Он разговаривал о войне с пожилым колхозником, который все доказывал, что немца в лоб взять нельзя, а надо, как крупную рыбу, сперва истомить, а потом уж бить.

— Можно, можно, — говорил Кройков, — можно и в лоб взять!

— Почему же не берешь?

— А потому — разговоров много! Надо сердцем воевать, а не потрохами. Бывает так, что час повоюют, а день языком чешут. А куда язык чешут, да кашу варят — немец-то на высоте и укрепитя. Он на высоте, а мы внизу! Зато каша сварена! — сердито добавил он.

Он рано вернулся в избу, где жил, и тут же улегся спать. Проснулся за полночь и услышал, как хозяйка выговаривает дочери за то, что та поздно возвратилась домой:

— Ты мне эти гулянки забудь!.. А то за косу! Отец на фронте, а она хвостом вертит. Ты думаешь, я с тобой без отца не слажу? Слажу!

— Да что ты кидаться? — отвечала дочь. — Не каждый день Новый год

— А мне хучь новый, хучь старый! Оттреплю!

Кройков послушал, повертелся с боку на бок, а потом сердито сказал:

— Ну ты это, мать, брось! Новый есть новый, а старый есть старый!

Хозяйка накинулась на него:

— А ты помолчи! Не спрашивают! Тоже нашелся! Грач!

— Грач не грач, а жизнь понимаю!

Третьего января Кройков по ротным делам был направлен на сутки в маленький прифронтный городок. Здесь бойца подхватил репортер: узнал, что Кройков недавно, в разведке, метнул гранату в дом, где размещались немцы.

Кройков сидел на диване, курил папиросу и рассказывал о своем подвиге репортеру, который делал какие-то быстрые отметки в блокноте.

— Подполз к избе с огорода... засел за сугроб... Обождал... А потом как ахну!

— Дальше?

— Да вроде все.

— А часового не убивали?

— Не убивал.

— А сколько пемцев взрывом убили?

— Да разве я считал? Как бросил, так скорей отползть!

— А офицеры были в избе?

— Не знаю.

— Да, может, это был пемецкий штаб?

— Куда там штаб! Если бы штаб, так и вправду часовые бы не подпустили.

— А какая погода была? Ночь, вьюга?

— Ночь-то ночь. А вьюги не видел. Да ничего не видел. Боязно, скорее отполз!

«Ну материалец! — думал безнадежно репортер, записывая что-то в блокноте. — Ни фактов, ни пейзажей!»

— Я все-таки запишу, что убили семь человек, — сказал он быстро.

— Не пишите. Не видел, — отрывисто заметил Кройков и вытер ладонью лоб. «Да что он пристал, — тоскливо подумал он, — в чем дело?»

— Вы бы лучше вот о чем написали, — промолвил, подумав, Кройков. — Напишите, что некоторые с прохладцем воюют... Поначалу-то дружно берутся, а потом покуда чухаются, пемец-то и укрепится. Очень мы уж отдыхать, да курить любим. Сегодня еду, — пачиная сердиться, проговорил он, — а какой-то шофер машину к обочине подвел и спит. Его за делом, небось, послали, а он спит. Вот бы этого шофера прохватить, — уже гневно и воодушевленно предложил он, — большое бы дело сделали!

— Отметим, отметим! — сказал журналист, чертя какие-то вишетьки на бумаге.

Кройков вышел из редакции и пошел по главной улице городка, заходя в магазины и делая разные мелкие покупки: домино, помазок для бритвы, почтовую бумагу. Долго рассматривал хорошую тульскую бритву, пробовал па поготь и на волос, щелкал пальцем по костяной ручке, вынимал из кармана аккуратно сложенные деньги и, пересчитав их, опять прятал в карман. Все же не решился купить: дорого.

Возле сквера жепский резкий, простуженный голос окликнул его:

— Кройков!

Это была та самая девушка Варя, которую Кройков встретил в день выдачи орденов и о которой так часто вспоминал на передовых, в окопах. Он настолько удивился и растерялся при виде ее, что стоял, переминяясь с ноги на ногу, и делал вид, что занят какой-то веревкой на своих свертках.

— Кройков, — сказала Варя, — а ты все такой же. Я очень рада тебя встретить!

— П я, — пробормотал Кройков.

— Ты обедал? Идем, пообедаем вместе. Хочешь?

Кройков утвердительно мотнул головой. Они пошли вниз по скверу. Кройков

молчал. Он все никак не мог отделаться от смущения. И все еще делал вид, что заят веревкой на свертке.

— Я часто вспоминала о тебе,— сказала Варвара.— Ей-богу, не вру. А ты? Вспоминал?

— Нет,— сказал Кройков,— то есть вспоминал.

Потом, обозлившись на себя за смущение, он спросил, твердо глядя ей прямо в глаза:

— Вы давно здесь?

— Нет, только сегодня приехала. Да брось ты этот мармелад с сахарином! — сердито выкрикнула она — Что ты мне «вы» говоришь. Говори «ты», по-фронтовому, как следует!

В столовой была уйма народу. Несколько раз в течение обеда начинали бить за окнами зепитки. Однако никто не обращал на них никакого внимания. Все так же стучали пожи, и чей-то голос сварливо бубнил под грохот разрывов:

— Я уже полчаса жду борща!.. Где борщ? Что я тут до лета сидеть буду, а? Или борщ, или жалобную книгу!

На улице громкоговорители звонко паягрывали вальсы Шопена. Кройков шумно хлебал щи, зажав ручку ложки в кулак, а Варя рассказывала, что приехала в городок вместе с подругой Олей и другими ребятами: лыжный отряд отправлялся в рейт по тылам врага. Она рассказывала весело, оживленно, своим резким, простуженным голосом и только однажды, когда Кройков особенно шумно хлебнул щи, остановилась и произнесла с видимым удовольствием:

— Молодец Кройков!.. Хорошо ешь! Ценишь еду!

На что Кройков ответил:

— А что же ее не ценить? Еда есть еда! Без нее жить нельзя!

— Правильно! — сказала Варя.— Хочешь я тебя консервами угощу? У тебя пож есть?

— Есть, как не быть!

Он полез за голенище, вынул пож, раскрыл.

— Ну и пож! — с восторгом промолвила Варя.— На что будем меняться?

— А пи па что,— ответил Кройков.— Нож он так при мне и останется.

Понемпогу он совсем оправился от смущения и стал отвечать Варе спокойно и точно. А когда подали сухофруктовый компот в гранепых стаканах, сказал:

— А я вас все вспоминал, вспоминал... Вы бы мне хоть карточку подарили.

— Получишь! — ответила Варя.— Закурим? Табак есть?

— Есть-то есть!.. Да ваш, небось, лучше! — возразил Кройков. Он не любил делиться табачком.

— Ну ладно, закурим мой! — благодушно отозвалась Варя, сразу разгадав его дипломатию.— Ох, и дока же ты, Кройков!

Закурили. Кройков помолчал и сказал:

— Вот о чем я вас все хотел спросить: вы по мнрному времени кем были? Машинистка или так просто, домохозяйка?

— Я учусь. В Коммунальном техникуме. Водопровод и канализацию буду строить.

— Дело хорошее! — с уваженнем отозвался Кройков.— А электричество проводить умеете?

— Я все умею. Хочешь электричество проведу, хочешь избу выстрою... Слушай, Кройков! Я тебе за пож двести грамм табаку дам. Идет?

— Нет, табак у меня есть.

— Ну кисет.

— Зачем мне кисет? И кисет есть.

— Ну бери гуталин... Три банки.

— Не надо,— мотнул головой Кройков.— Я вам его так отдам,— сказал он вдруг и вынул из голенища нож.— Очень уж вы хорошие. Очень уж вы мне понравились. И как сердитесь, и как шагаете.

— Да брось ты... Что сегодня с тобой? — ответила Варвара, с удовольствием разглядывая нож и пробуя остроту его лезвия на деревянной ложке.— Ты, часом, может, тоже стихи пишешь?

— Нет, какие стихи! — сказал Кройков.— Так, к разговору пришлось. Очень уж вы мне понравились. И как говорите, и как руками махаете.

Он хотел сказать еще что-то большое, серьезное, но никак не мог подобрать подходящих слов и грустно прижал.

После обеда пошли в общежитие, где разместился лыжный отряд. Здесь встретили Олю и Мишу. Ни Миша, ни Оля не понравились Кройкову. Впрочем, к счастью, они вскоре куда-то ушли. Варя с Кройковым остались одни. Варя сказала, оглядев Кройкова:

— А ты пообносился, Кройков. Дай-ка я тебя подштопаю. Спимай гимнастерку.

— Как же так? — стеснительно возразил Кройков.— Как же этак, без гимнастерки?

— Спимай, спимай! Что же я, по-твоему, мужиков без гимнастерок не видел? Спимай! Ну зайдн за занавеску, если стесняешься.

Кройков зашел за занавеску, стянул гимнастерку, передал ее Варе. Варя принялась за дело. А Кройков сидел на койке за занавеской и не знал — какой бы работой ему запяться. Руки его недвижно лежали на коленях.

Всю жизнь эти руки работали от зари до зари. Всю жизнь они строили, пилили, стругали, вбивали гвозди — создавали дома, сараи, табуреты, грубые, высокие крестьянские столы, рамки для фотографий и люльки для детей... Они кололи, резали, склеивали косые деревянные чурбаки, придавали им форму, назначали, жизнь, заставляли их служить человеку.

Силу, великую силу строителя чувствовал в себе Кройков. Он мог бы застроить всю лежащую втуне землю, выкорчевать все леса, обратить все эти громады деревьев в дома, подоконники, школы, стулья, — один лишь вид лежащего бесполезно бревна зажигал огонек в его глазах и заставлял его руки сжиматься. Он мог работать без отдыха, сутками подряд, — его крепкое, крижистое тело как бы наливалось от этого неукротимой силой, становилось еще крепче.

И сейчас, на войне, он скучал по работе. Он скучал по дереву, по рубанку, по стружкам, по запаху столярного клея, по шуму и гаму стройки. Он пользовался каждым случаем, каждой минутой отдыха от войны, чтобы поработать: что-то чинил, стругал, мастерил, навешивая себе под нос. В этой жажде работы он научился даже слесарному делу — мастерил ключи, замки, сверлил, паял. Даже часы принимал в починку.

Он много выстроил на своем веку, он знал цену каждому положешному бревну, каждому вбитому гвоздю, и эти сожженные села, эти разрушенные дома приводили его в бешепство. Он как бы видел плоды работы, честной, бесхитростной работы в поте лица, уничтожаемые в полчаса фашистскими поджигателями. И гордое сознание, что он защищает эту работу, эту гору работы, эти плоды работы бесхитростного честного человека от лукавства, жадности и

вожделений захватчика, вора, пришедшего на готовое, — твердо *железо в уста*. Как-то раз, в молодости, он убил копокрада. Немец был для него таким же копокрадом, желающим поживиться чужой работой, честным, правдивым советским трудом.

Сейчас, сидя за занавеской, Кройков сказал:

— А у вас здесь что-то столик поскрипывает. Пляшка отпала. Дай-кась, я почию.

И стал чинить. И пасвятивал песенку. Потом сказал:

— Не правится мне ваша подруга с ее молодчиком. Целуются! Надо знать время, когда целоваться.

— Сироп! — охотно откликнулась Варя. — Стихи пишут! Обижаются, когда я о водопроводе и капализации говорю. А я буду о водопроводе говорить! — запальчиво выкрикнула она. — Это моя работа.

— И правильно! — отозвался Кройков. — Водопровод есть водопровод, он очень пужеп.

— Оля-то еще ничего... Пообтесалась на войне. А этот гусак только приехал, уже командует! Ну, я ему покамадую!

— Правильно! Учился — комадуй! А не учился — молчи, не комадуй.

— Какое учился? Он, небось, в балете учился, как Оля. У нее брат — лейтенант, тоже с балета. Прихожу к нему, спрашиваю: вы Котельников?

— Постойте, постойте!.. — отозвался Кройков. — Котельников? Он высокий?

— Высокий.

— Ну я его знаю. Это наш комадир. Очень хороший.

— Кто хороший? Котельников? Ты рехнулся? Слюптай он!

— А я говорю — хороший!

— Волосики на пробор причесал! Губки розовые! Балет, чистый балет!

— А я говорю — хороший!

— Да ты что — нарочно мне наперекор? — крикнула Варя. — Ты что, посеориться хочешь?

— Позвольте, позвольте, — с достоинством проговорил Кройков. — Мы бесеуем, все как следует, зачем кричать? Кричать не надо. Я и без крика уйду!

— Ну уходи, чорт с тобой! — яростно сказала Варвара. — Держи свою гимнастерку. Я думала, ты человек, а ты клюква! Иди!

— И уйду!

Он в молчалии, нарушаемом лишь презрительным пофыркиванием Варвары, надел гимнастерку и вышел. Тут же она окликнула его:

— Кройков!

— Что?

— Ты куда?

— Да вы говорите — иди, я и пошел.

— Ладно. Садись. Давай мириться!

— А нам мириться не надо, — сказал Кройков, — я с вами не сеорился.. Вы мне очень приятны. Хотите, я вам пашу сибирскую песню спою?

— Спой.

Он зашел за занавеску, спял гимнастерку, передал ее Варваре и запел:

Ох, да велика Ангара, а еще больше Обь,
А еще больше и краше Амур-река.

— Хорошая песнь! — заметила Варя, когда Кройков кончил петь. — Ну, гимнастерка готова. Пообстпать бы тебя, собственно, надо, жаль, времени нет

— Кройков, в кино хочешь?

— Пойдемте.

Зрительный зал имел фронтной вид: его заполняли бойцы с виптовками, раненые и врачи из лазаретов, медсестры в маленьких валепочках, с туго заплетеными косичками, увязанными на затылках. Все медсестры, даже самые некрасивые, пользовались большим успехом: с ними заговаривали, окликали. Они ходили табуцком, хором прыскали от смеха и хором отвечали на остроты. В середине сеанса, на самом смешном месте, когда зал покатывался от хохота, в дверь быстро вошел посыльный и крикнул:

— Писарь Гаврилов здесь?

— Здесь.

— Скорей! К начальству!

Потом приходили еще за сержантом Крутиковым, за врачом Ефремешко и за кем-то еще и еще. А сеанс продолжался. Картина оказалась очень смешной, и только один Кройков не смеялся; глядя на экран, он думал о чем-то своем.

Ему очень хотелось говорить с Варей. Ему очень хотелось сказать ей какие-то горячие и веские слова, в которых содержалось бы все: и то, как он считал нужным жить и работать; и все свои самые лучшие думы, которые он передумал за тридцать лет; и о своем уважении к знанию, к прилежанию, к работе; и о том, что первое — это долг, аккуратность, порядок; и о том, что бить немца можно, — только вот не всюду одинакова стойкость — распустились в мирное время. Он вспомнил почему-то одного командира, который все жаловался, что у него нехватает снарядов и потому он не может выбить немцев из села, а когда подбросили снаряды — стал жаловаться на отсутствие авиации. И про этого командира тоже почему-то хотел рассказать Варе Кройков.

Но сколько он ни думал, сколько он ни подыскивал нужных слов, — они не находились, и он сидел, молчал, пока вдруг не сказал очень громко, на весь зрительный зал:

— Варя! Какая-то ты мне родная... Понятная... Будто я тебя всю жизнь знаю.

Вокруг засмеялись. Кройков смутился и, сердито взглядываясь в темноту, проговорил:

— И что тут смешного? Вы на кино смеитесь. А тут хотеть нечего. Тут человек говорит человеку.

Когда сеанс кончился и зрители вышли на улицу, было так темно, что хоть глаз выколи. Зенитки не унимались — то тут, то там над крышами вспыхивала золотая звезда.

А потом грохнуло один раз, другой, третий, земля поплыла под ногами, радио прокричало тревогу, и над рекой в зимнем облачном небе заиграло зарево.

— Бомбежка, — сказал Варя.

Да, это была бомбежка. Бомбы свистели и ухали, какая-то женщина пробежала мимо, бормоча:

— Алеша-то дома? Дома?

Кто-то кричал на углу:

— Ой, Маньку пришибли! Маньку пришибли!

Справа на снег неизвестно откуда разом хлынул горячий свет, и в стеклах окон заиграли безумные огоньки. Стали слышны близкие и далекие голоса:

— Горим! Горим! Горим!

свирепый воздушный удар притиснул Варю и Кройкова к стене и свалил их на землю. Прогредел взрыв столь огромный, что силу его уже не могло измерить несовершенное человеческое ухо и лишь слабо, в полубеспамятстве отметил несовершенный человеческий мозг.

Некоторое время Кройков и Варя оглушенно ползли по снегу, инстинктивно стремясь уйти подальше от места взрыва. Первым очнулся Кройков. Он помог Варе подняться на ноги.

— Ты не ранена?

— Нет.— Ишняя челюсть у нее дрожала.

— Поидем!

Пошли. Варя шла вперед, ноги у нее подкашивались.

— Варя,— сказал Кройков,— ничего, если я буду говорить? А ты слушай. Ладно?

— Ладно.

— Варя, я все думаю о тебе. Да, все думаю и все думаю.

Больше он ничего не сказал, потому что опять не знал, как говорить.

Бомбежка продолжалась. Ухали бомбы, город горел; куры и петухи, хлопая крыльями, летали возле пожарниц; коровы отчаянно бились рогами о стены коровников. Сорвавшаяся с привязи лошадь промчалась галопом по улице и, налетев на забор, прыгнула вниз, к реке, по обрыву. Галки и вороны, разбуженные полупочным светом, кружились над колокольней, рыжей, как на закате. Снег, таявший на горящих крышах, струйками сбегал вниз, и ручьи, словно весной, бежали по тротуарам.

Кровь, кровь! Это была кровь на снегу, кровь на дымных и черных дорожках, брызги крови на стенах, лужи крови на порогах, пятна крови на узлах, тюфяках, которые погорельцы выбрасывали на улицу. Кричали раненые; черные от сажи матери погтыми рыли горячую землю, ища детей; какой-то старик прополз по капаве на четвереньках, и кровь хлестала у него из живота, как вода из жбапа.

— А, проклятые! — закричала Варя с такой неистовой яростью, что Кройков вздрогнул и с изумлением поглядел на нее.— Проклятые! — крикнула она и погрозила обоими кулаками небу, где жужжали фашистские самолеты.— Погодите, придет наш праздник! Сочтемся! Придет! Придет!

И она продолжала стоять так, плотная, широкоплечая русская девушка, с крепкими обутыми в керзовые сапоги ногами, со стриженными волосами, с пистолетом на поясе, она стояла, как вкопанная, глядя в невидимое небо, откуда продолжали падать бомбы. Она стояла, стояла, и кулаки ее не разжимались, и белые губы ее шептали:

— Только дожить до этого дня! Только б дожить! Только б увидеть!

Да, только б дожить! Только б увидеть этот великий день, когда раздастся не голос — нет, не песнь — нет,— ликующий рев победы; когда рассыплются в прах все эти ненавистные черные орды, топчущие чужие земли, когда навеки замрут их проклятые тапки, украшенные львами и змеями, когда взвоят от ужаса люди с черепами на рукавах, когда замолчат их пушки, сохнут их самолеты, удавятся их ораторы, раскроются их застенки, когда завертятся в последнем предсмертном вонле чудовищный карлик, затеявший эту войну. День расплаты!

Нет, это не будет ясный, солнечный день, нет, нет! Не будут петь в этот день флейты и скрипки. Нет! Это будет серый, холодный день. Темные облака

оудут нестись по небу. Шб серым, трудным, изрытым снарядами дорогам придут победители. Они придут не в праздничных одеждах. Они выйдут из окопов, из укрытий, из блиндажей в запыленных сапогах, в пробитых пулями и зачищенных шпелелях, в касках, с пыльными лицами, с тяжелыми, не знающими пощады руками. Они придут в рабочей одежде войны для последней работы: расплаты. Они принесут с собой на плечах для расплаты с фашистами вселицы, возвыгнутые пемцами на их земле, веревки, которыми были удувлены их сестры и матери. Это будет не праздничный день, не воскресенье. Это будет суббота!

Прекрасный серый, холодный день! Сколько крови пролито ради тебя, сколько мужественных великих сердец застыло навеки, чтобы ты мог, наконец, свершиться — благороднейший, справедливейший из всех дней, которые прожило, прострадало, провеселилось человечество.

— Только б дожить! Только б увидеть! — шептала Варя.

— Сюда, сюда! — проговорил на бегу какой-то высокий человек без шапки, в одном пиджаке. — Помогите, людей завалило!

— Идем! — решительно сказала Кройкову Варя.

И вот всю ночь откапывали вместе с другими Кройков и Варя людей, погребенных под обвалившимся домом, всю долгую зимнюю, холодную ночь таскали они кирпичи, бревна, долбили мерзлую землю лопатами, кирками.

Вокруг копошились люди, на белом снегу бродили пемельно-черные погорельцы, рыдали дети, выли собаки, кричали — не мяукали, а кричали кошки.

Кройков и Варя работали в разных местах. Варя пробивала ход в подвал, она быстро освоилась с делом, и ее резкий голос отчетливо звучал в этой багровой, пзвилистой, мотавшейся из стороны в сторону, словно рехнувшейся темноте.

Кройков работал в другом конце разрушенного здания, — он растаскивал тяжелые бревна. Только один раз, в середине ночи, они встретились, остановились на миг, взглянули друг на друга воспаленными от труда и жары глазами, и Кройков сказал:

— Варя! Я все думаю о тебе... Все думаю, думаю...

И опять разошлись.

Загорались новые и новые здания. Горел город. Горели улицы, по которым человек проходил на работу, сады, где он отдыхал и влюблялся, книги, которые он читал, стенные часы, которые отсчитывали ему время. Горело жилье человека, которое защищало его от ветра, дождя и мороза, комнаты, где человек жил, работал, ел, отдыхал, няпчл детей, боролся с невзгодами, мечтал, надеялся, ожидал счастья.

Огопь, посеянный рукою фашистского зверя, пожирал все. Горели заборы, липиновые сады, бани, магазины, вспыхнула деревянная колокольня. Люди металсь среди этого вихря огня, прижимая к груди детей, волоча узлы. В канавах валялись трупы. Мертвец, подброшенный вверх взрывной волной, качался на огненном дереве, запенившись питанием за сук!

Да будет день мести! День правды! День человека!

Утром, когда были извлечены на свет погребенные под развалинами люди и догорали пожары, Кройков и Варя шли по черной, оттаявшей земле. Шли они молча. Лица у них были черные, одежда обуглилась и разорвалась. Светало. Настал час расставанья.

— Ну прощайте, — сказал Кройков. — Пора. Еду.

— Бройков, — сказала Варя, — ты очень хороший. Знай, я редко кому это говорю. Знай, я очень сердитая.

— Я знаю.

— И знай, что мне очень хочется тебя повидать. Очень. Где мы увидимся? Помолчали.

— Да разве теперь увидишься! — промолвил Бройков. — Разве па войне можно сказать, где увидишься?

— Знай, ты очень мне дорог, Бройков. Береги себя! Зря в пекло не лезь.

— Ладно! Да разве уберешься? Ну прощайте.

— Прощай.

Бройков отошел, обернулся, окликнул Варвару, положил и сказал:

— Я все думаю о тебе. Все думаю, думаю... И тебе буду писать. И тебе буду писать, а ты помни!

Это было его последнее письмо в любви, и это была их последняя встреча.

ГЛАВА 9

В начале февраля нашим командованием был разработан план отсечения крупной пемецкой группировки от ее основных баз. Для выполнения этой задачи надо было произвести движение по снежной целине, укрываясь в лесах, чтобы незаметно пройти далеко в тыл фашистам.

Маневр был поручен дивизии Черемитина. В полночь на 5 февраля в безлюдную выюжную почву дивизия в полном составе тронулась в путь, имея на себе немалый запас продовольствия. За пехотой следовала артиллерия, работницы санитарной, штабной, интендантской служб.

Вперед, пробивая дорогу ногами и грудью своих лошадей, двигались трое конников. За ними, по полю проваливаясь в снег, — саперы, вырубавшие кустарники и прокладывавшие таким способом узенькую тропинку в лесной чаще. За саперами гуськом, след в след, шли пехотинцы. Они носили на себе продовольствие, патроны, ручные и станковые пулеметы и даже мпнометы в разобранном виде. Передовые едва двигались, утопая в снегу. Их сменили через каждые полчаса — столь изнуряющим был этот переход через сплошное снежное море.

По мере продвижения колонны зыбкая узенькая тропинка постепенно утаптывалась сотнями ног, и позади пехоты могли уже следовать на санях пушки.

Шли не более трехсот метров в час. Вьюга преследовала колонну. Ветер пороч становился таким сильным, что захватывало дыхание, и бойцы вынуждены были останавливаться. Потом снова шли вперед, снежный вихрь бил в лицо, шапки, шинели, рукавицы обледевали.

Они останавливались только глубокой ночью на два-три часа, чтобы немного отдохнуть, но костров не разжигали — это могло выдать расположение лагеря. Дремали сидя, прислонившись друг к другу, не выпуская из рук винтовок, засыпаемые снегом, и снова шли.

Только через шесть суток, когда колонна уже проникла глубоко в пемецкий тыл, ее присутствие было обнаружено. Начался яростный контратаки врага. Но дивизия продолжала продвигаться вперед. Люди шли по белым морозным полям, под пулями, минами и снарядами, днем и ночью, утром и вечером, вперед, все вперед, под свист ветра, среди снежных, крутящихся вихрей. Они брали штурмом холмы, покрытые ледяной коркой, выбивали врага из пылающих деревьев, наступали без передышки, вытаскивая на ямках завязшие в

сугробах орудия, проваливаясь в снег по грудь, почуя под открытым небом, бросаясь в атаку на врага везде, где он пытался зацепиться.

В голове колонны шла рота Петра. Шел Алексей Лузарец, стрелок, по профессии штукатур, высокий, задумчивый парень, аккуратный, хозяйственный, оставивший жепу и ребенка в деревне где-то возле Иванава; шел Сережа Лобакин — трамвайный кондуктор, маленький, маленький, круглый москвич; шел Сафонов — по профессии пекарь, тот самый, что влюбился в Тамбове в продавщицу парюмерного магазина и сказал Перчаткину во время атаки: «Ты сначала выживи, а потом часы чини»; шел Яков Смягло — бухгалтер, учивший считать на счетах старшину Дмитриева, игравший на мандолине и получавший больше писем, чем кто-либо другой в роте; шли Антон Петрович Свиридов — колхозник, Александр Спиридонович Седых — дворник, Александр Борисович Прозоров — меховщик, Харитон Евсеевич Милкин — колхозный бригадир.

Все они шли по безбрежному снеговому морю, то тихому и солнечному, то бурному, туманному, обдававшему людей вихрем колючих, ледящих тело и сердце брызг. Еды становилось все меньше и меньше. Уже выдавали на день по сто граммов сухарей. Потом перешли на семьдесят пять. Но они шли и сражались — люди различной силы, споровки, храбрости, объединенные одной целью, одним стремлением: идти и идти вперед.

В числе других бойцов шел Серегин, тот самый красноармеец, который расспрашивал колхозниц о том, как было при немцах. Это был огромный, бородастый, широкоплечий мужчина. Волжанин. Колхозный конюх, тихий, необидчивый, добрый человек, огромной физической силы. Подобно Кройкову, который всю жизнь строил, пилил, строил, мастерил, Серегин всю жизнь пахал, саял, косил, молотил — жадный до работы, жадный до земли. Это был мирный возделыватель земли, создатель полей, огородов, садов.

Он любил согласный, ловкий, добрый труд, веселую упорную артельную работу — любил чисто русской любовью к согласию, к пропотевшей в труде рубашке, к мирному ужину сообща после трудового дня, под звездным спокойным небом, и к ясной, тихой, глубокой беседе под вспышки и переливы костра, под сонное трепыхание птицы на дереве.

«Добряк, работяга» — называли его. Да, это было русское сердце с его стремлением понять добрый смысл всего происходящего, с его надеждой на доброе и разумное движение жизни, чудесное сердце народа, которому рано знать и любить доброту хлеба, звезд, песни, доброту неба, дерева, травы, плуга, коня.

Когда началась война и Серегин был призван, он знал, за что идет воевать.

Его сын был техником на заводе, его дочь училась на фельдшера — и это дала ему советская власть.

Немало горечи и обид испытал он на своем пути. Но как бы ни приходилось ему трудно, не было никого в советской стране, кто бы мог презирать, унижать его, считать его черной костью, холопом! Он был человеком труда, и этого было достаточно, чтобы его уважали, его мнение спрашивали, обращались к нему за советом. И это казалось бесценно дорогим его сердцу, знающему всю тяжесть труда и вверившему чисто русской народной верой, что только работа — правда.

Это тоже принесла ему советская власть. И за эту власть он шел воевать.

Но человек созерцательный, добрый, привыкший думать о всем спокойно и трезво, он хотел понять, что же, собственно, хочет враг, вникнуть в его стремления, мысли, разговоры. Однако чем больше он расспрашивал обо всем этом

для него душа, сердце, мысли врага.

Злоба и презрение, — вот что владело немцем. Это было презрение к чужому дому, к чужим детям, к чужому туману над чужой рекой, к чужой одежде, обычаям, к чужому ветру, к чужим звездам! Это было презрение к чужой манере стоять, сидеть, говорить, мыслить, готовить пищу, пачкать детей, петь песни. Презрение к одежде и полю, к чужой радости и к чужим слезам. Пенависть и презрение. Даже не ненависть, а злоба. Даже не злоба, а злость — сухая, бессмысленная, безжалостная злость хорька.

И понемногу Серегин понял, что война, действительно, идет не на жизнь, а на смерть; не только за то, чтобы не посадили немецкого ефрейторшкку на русскую землю помещиком; не только за то, чтобы он, Серегин, не сгибал спины перед новым хозяином — дворянчиком-пруссакком; не только за русскую землю, — это бой за Россию во всей сокровенной глубине ее жизни, обычаев, мыслей и чувств — все это понял Серегин.

Дней через десять после начала снегового похода рота Котельяникова захватила деревню Петровку, на берегу реки Вязь. Отступая, немцы унесли сжечь колдервиш.

Вечером политрук Парфетьев собрал в сельсовете митинг бойцов и освобожденных жителей села.

Настроение было взволнованное и торжественное. Сначала выступил политрук. Окончив речь, он спросил:

— Кто из жителей хочет сказать?

Из задних рядов поднялась рука. Потом к столу подошла женщина в платке, в полушубке, средних лет, с голубыми глазами на бледном осунувшемся лице. Некоторое время она молчала, смущенно и перешпателью вглядываясь в слушателей, теребя платок. Потом начала:

— Дорогие товарищи, красные храбрые бойцы. Здравствуйте, дорогие папи товарищи, любимые, долгожданные, пенаглядные. Ох, ждали мы вас! Ой, горевали мы без вас! Ой, мучили нас, терзали!

И слезы вдруг потекли по ее щекам. Она стояла, освещенная скудным светом лампы, и утирала слезы темной, шершавой ладонью. Бойцы слушали не шевелясь — бойцы, пробравшиеся сюда десять дней, десять почей по спешному морю.

Женщина помолчала и продолжала:

— Каждую поченьку слушали мы, не идете ли вы, не подошли ли. Бывало, проснешься, прислушаешься — будто шум, будто наши стреляют. Пет, скажешь себе, спи, это ветер, это не паши.

Она остановилась, отпила глоток из стакана и продолжала:

— Сыночек был у меня, Саша. Все книжки любил читать, про земли разные мне рассказывал, про такие земли, где и зны-то нет, один дождь. И про то, откуда ветер, откуда весна, почему трава растет, почему солнце выходит. Все умел рассказать, да и складно так. Вот сынок вчера первый вас услышал: «Мама, паши!» — «Сии, сынок, лес шумит». — «Мама, стреляют!» — «Сии, слышишь, ставни стучат». А сама не сплю, сердце бьется, ворочаюсь. Вышли мы с сыном тихохонько из избы, глядим через шелку в воротах. Глядели-глядели, ничево не видать. «Мама, стреляют». — «Двери, сынок, в сарае стучат». — «Мама, паши!..» Глядим-глядим — темпота... А тут сзади немец и подобрался. Хвать меня кулаком в голову, свалил. Ну, а сыночка-то пристрелил. Нету сыночка. Три пули выпустил, всю спинку расшиб. А такой был сыночек

умный, хоровый, книжки читал, все книжкой хотел понять — откуда солнце, где море, где люди какие живут...

Тинина. Все напряженно слушали, не сводя глаз с женщины. А она стояла, невысокая, худенькая, с голубыми блестящими глазами.

— Дорогие бойцы, родные шинельки вы пашп, — сказала она, — спешите вперед. Всюду вас ждет народ, аж до самого Мписка и дальше. Мучает немецкий народ, нам нет сил терпеть. Далеко слух-то разнесен, что вы идете, и каждую ночь народ слушает: кажись, пули свистят, кажись, подходят, скорей бы, скорей! Ждут вас, как я вас ждала, с сыночком, с покойным Сашей...

Через час, когда собрание кончилось, к женщине подошел Серегин:

— Сашу-то похорошила?

— Нет... Дома лежит.

— Идем... Гроб помогу сколотить. Я у пачальника отпросился.

Это была обычная крестьянская изба со столом под иконами, с пестрым лоскутным одеялом на широкой и короткой деревянной кровати, с давшими фотографиями, со стенами, оклеенными газетами и листками из тетради, испещренной детскими упрямлениями по арифметике.

Подвешенная к потолку лампа скудно освещала комнату. Тело мальчика лежало на деревянной скамье, прикрытое чистотой, парадной простыней, оставшейся еще от прицаного матери. В изголовьи лежали крестьянские бумажные цветы. Возле печки, шурясь, сидела кошка.

Серегин собрал в сарае доски и стал сколачивать гроб. Стук молотка глухо раздавался в ночной тишине, шуршал рубанок, темная стружка падала на темный пол, в жестяной коробке из-под мыла лежали гвозди. Серегин работал усердно, сняв шинель и ватник, в одной гимнастерке, и казалось, что он мастирует что-то сложное, мирное, по хозяйству.

— Саша! — сказала мать. — Ох, Сашенька, милый ты мой, ох, родимый. Ох, Сашенька, Саша!

И горько, неутешно заплакала, прижавшись лицом к столу.

А Серегин продолжал вколачивать гвозди в доски. Вколачивал резкими, тяжелыми, прямыми ударами, работал усердно, без отдыха, гимнастерка его пропотела и на лопатках обозначились темные пятна от пота. Работал он молча, часто и трудно дыша. И только однажды, когда мать особенно громко завсхлипывала и застонала, вдруг оторвался от молотка и яростно произнес, обращаясь неизвестно куда, в темное, слепое от ночи окно, в самую ночь, бесившуюся за степой, нависывавшую на проводах, колотившую о ставни:

— А, ты детей убивать, подлец? Детей убивать?

И опять застучал молотком. Ночь шла своим чередом. Это была зимняя, вьюжная ночь, грозная ночь войны, пронизанная вспышками залпов и тусклым, кровавым светом пожарниц. Где-то далеко, не то в деревне, а может быть, в поле, выла и лаяла собака. Кто-то быстро прошел под окнами, шаги поскрипели и стихли. И снова как кулаком ударил по крыше ветер.

А мать все плакала, плакала.

— А, ты детей убивать, подлец? Детей убивать? — бормотал, бивая гвозди, Серегин.

Ярость его росла. Все то огромное, что передумал он за последние месяцы, все то ужасное, что испытал его мир, столкнувшись с миром немца, — выкристаллизовалось сейчас в одно великое и всепоглощающее чувство: в ярость.

— Бить его! — лихорадочно думал он, орудуя рубанком, — Бить, бить, бить! Выбить из него сердце, печенку.

Это была ярость русского человека, бескрайняя как и его доброта, та ярость, которой не умерить ничем, для которой не существует преград, которая переплывет моря, взберется на кручи, пройдет сквозь огонь, которую не сразить пулей, не славить петлей, не четвертовать!

На рассвете Серегин кончил сколачивать гроб; мать положила туда мертвого ребеночка. Крестьясь, они стояли вдвоем возле гроба — огромный бледный Серегин и маленькая худенькая мать-крестьянка.

Потом Серегин падел телогрейку, пилель, собрал инструменты, вывел опилки и стружку, протянул шершавую руку и сказал:

— Ну, прощай! Прости, если чем обидел.

Прямо из избы он пошел к Петру, командиру роты.

— Прошусь на разведку к немцам в тыл,— сказал он,— разрешите, сделайте милость.

— Что это вдруг? — удивленно спросил Петр, взглядываясь в него.

— Они детей убивают,— сказал Серегин,— Прошусь на разведку к немцам в тыл.

— Придет время — пойдем. Сейчас не пужно.

— Прошусь к немцам в тыл,— снова сказал Серегин.— Они детей убивают!

В Петровке дивизию догнала почта, и Кройков получил от Варвары письмо. «Здравствуй, Кройков! Ну как ты там действуешь? Немцев бьешь? Меня не забыл? Я тебе выменяла хорошего табаку — отдала шерстяные чулки, ничего, похожу в портянках.

Завтра мы уходим далеко. Конечно, правду сказать, страшновато, ну да ладно — не пропаду. Очень хочется повидаться с тобой. Очень. Хороший ты человек, Кройков, есть в тебе что-то такое, чего не понять. Но что-то очень хорошее. Кстати, как моя штюпка? Не обносился опять? Вообще напиши, что тебе пужно — достану.

Ну, прощай. Много писать не умею, да и нет смысла. Помни Варвару, может, когда и встретимся. Не так уж много хороших людей на свете, не может быть, чтобы всех их поубивали. Скучно мне без тебя. Понял? Дура, что написала, а скучно. Ну да ты не заносись, не воображай о себе и никому не показывай этого письма. Слышишь?

Жму руку. В.»

Кройков долго писал ответ, черкал, опять писал, опять черкал. Наконец написал то, что пужно: серьезное, немногословное письмо.

«Пишет Кройков. Варя, я получил ваше письмо насчет того, что встретимся. Варя, я все время думаю о тебе. Идет день — я думаю, идет почта — я думаю. Варя, вы спрашиваете о штюпке. Спасибо, все цело. Табак зря меняли — чулки пригодятся. Варя, вы пишете, что не убьют. Это как сказать, по если, Варя, тебя убьют, так я сам не свой и нет для меня тогда света. Понимайте, как знаете.

Моя жизнь обыкновенная. Воюем. Варя, хорошо бы после войны нам уехать — может, ко мне в Сибирь или в какой-нибудь город. Варя, я все думаю о тебе, все думаю, думаю.

С фронтовым большевистским приветом

Ваш Тимофей Кройков.

Кройков запечатал письмо, отнес старшине, выполнявшему должность почтальона, и сурово сказал:

— Не потеряй! Письмо важное.

— Не потеряю.

Старшина взял письмо, положил в сумку и пошел к машине, поскрипывая валенками по снегу. Кройков окликнул его:

— Самохин!

— Чего?

— Письмо-то не потеряй!

— Да ладно! — досадливо возразил старшина. — Не оди ты писатель. Все пишут. Не потеряю.

ГЛАВА 10

Пройдя около сотни километров по снеговой целине, дивизия Перемитина пробила дорогу для остальных подразделений армии и значительная группировка врага попала в окружение. Задача, казалось, была выполнена. Однако, несмотря на жестокое сопротивление немцев, с которым дивизия встретилась в последние дни, Перемитин по всем данным видел, что на севере, примерно по линии Крестцы — Доежалово, в непроходимом, как казалось немцам, лесу, имелась лазейка, прощипнув съездов которую, можно было еще глубже просочиться в расположение немцев, вбить новый, глубокий клип.

Эту-то операцию и замышлял Перемитин. Но комиссар дивизии Турухин решительно возражал против нее. Он мотивировал свое мнение тем, что задача, поставленная командованием, дивизией выполнена, что бойцы устали, что потери и так велики, что надо отдохнуть, оправиться от похода, подождать пополнения. Кроме того, Доежаловский лес, с его крутыми подъемами и спусками был в зимних условиях действительно непроходим.

Соображения были вески и дельны. Однако они имели свои слабые стороны, и за эти слабые стороны ухватился Перемитин. Ждать? Но тогда немцы замуруют лазейку. Потери? Но потери будут несравненно значительнее, если, лишившись инициативы, дивизия будет стоять под ударами врага. Задача выполнена? Относительно. Важна идея приказа командования, и командир обязан действовать так, чтобы осуществить эту идею до конца. Лес непроходим? Этот вопрос надо выяснить, послав опытных разведчиков.

Потом обсуждение этого вопроса было прервано приездом политрука Парфентьева, вызванного к Турухину совместно с комиссаром полка.

Перемитин и Турухин жили в походе в одной, вырытой под снегом землянке, и Перемитин невольно прислушался к разговору Турухина с Парфентьевым.

Турухин был недоволен Парфентьевым. Согласно докладу инструктора политотдела, план массовой работы не выполнялся политруком во время похода. Так ли это?

Нет, по словам Парфентьева, план выполнялся.

— Где и когда?

Парфентьев объяснил. По вечерам он собирал бойцов в блиндажи, в окопы, и завязывалось то, что бойцы называли «разговором по душам». Начинал этот разговор обычно политрук. То он заводил речь о какой-нибудь прочитанной им книге, то рассказывал сказку, да похитрей, позамысловатей, то начинал разговор об охотничьем деле, о крестьянской работе.

А потом — слово за слово, и бойцы принимались рассказывать: кто о полке, кто о Волге, кто о семье, кто так, просто случай из жизни — спокойный и многозначительный, как каждый русский крестьянский рассказ, — кто о войне, кто о своем житье-бытье в мирное время.

Здесь-то, среди этих разговоров, политрук как бы невзначай и поднимает вопросы, указанные в плане:

— Вот именно «как бы невзначай», — желчно перебил Турухин. — У вас есть протоколы этих собраний?

— Нет, — озадаченно ответил Парфентьев.

— Так как же мы можем установить, что план действительно выполняется? И почему вы считаете, что обычное собрание хуже, чем эти разговоры?

Парфентьев объяснил: он полагает, что после долгого дня похода и сражений, когда каждый нерв бойца напряжен до крайности, собрание в обычном его виде слишком утомительно для этого бойца. В то же время разговор, подобный только что описанному, дает бойцу разрядку, создает видимость приближения к мирному обиходу, к семье, к привычным разговорам о привычных вещах.

— Вот именно «видимость», — еще желчней произнес Турухин. — В общем все это ерунда, танцкласс! — прикрикнул он. — Надо работать серьезно, как следует, по-военному. План не для того составляется, чтобы им пренебрегать! Это война, а не пикинг.

Парфентьев стоял, покурив голову. Что-то в его позе тронуло Черемитина, а тон разговора Турухина настолько рассердил его, что комдив, не оборачиваясь, спросил комиссара полка:

— Как дерутся люди из его роты?

— Отлично, — откликнулся комиссар, радуясь, что может поддержать Парфентьева, которому он симпатизировал. — Лучшая рота в полку.

— Ну, следовательно, и делу конец! — отрезал Черемитин, уже прямо глядя в глаза Турухину. — Следовательно, и план выполняется! И лучше, чем у других.

И, озаренный внезапной идеей, он спросил, обращаясь к Парфентьеву:

— Вы можете подыскать трех-четыре отличных бойцов для ответственной разведки?

— Конечно! — сказал, оживляясь, Парфентьев, глядя на Черемитина поведенными, благодарными глазами.

— Так подыщите. И через час доложите. Ступайте!

Комиссар полка и Парфентьев вышли из землянки. Стоял холодный облачный день. Ветер дул резкими, ледяными рывками. Глухо шумели сосны.

— Ну, бапа! — произнес Парфентьев и глянул на комиссара полка робко и виновато, как провинившийся школьник. — Штатский я человек, все ошибаюсь! Непривычка! Вель хочется сделать лучше!

— Всяко бывает! — утешительно откликнулся комиссар. — Так ты кого думаешь послать в разведку?

★ ★ ★

Разведка, о которой шла речь, должна была точно установить возможность для дивизии пройти Доезжаловским лесом, а также наличие и силы немецкого гарнизона в Доезжалове. Парфентьев после некоторых колебаний выбрал для разведки трех бойцов: Кройкова, Зинякина и Серегина. В последнюю минуту Черемитин решил послать в качестве командира разведки самого Парфентьева.

Лес оказался, действительно, малопроходимым, враждебным, с крутыми, иногда почти отвесными холмами. По разведка шла кое-как по обходам, и Парфентьев панес их на карту. В общем, по его мнению, дивизия могла бы тут пройти. Таково же было мнение Кройкова, с которым политрук во всем советовался, так как уважал этого спокойного, хмурого бойца.

Через три дня разведка приблизилась к Доежалову — небольшой деревне на берегу замерзшей речушки.

Установив, что в деревне находятся одни лишь обозы немцев, разведка тронулась в обратный путь. На закате она натолкнулась на немецкий патруль и вступила с ним в перестрелку. В перестрелке политрук Парфентьев был ранен навывлет в мякоть правой ноги. Наступившая темнота прервала стычку.

Парфентьев не мог самостоятельно продолжать путь. Решили, что на рассвете Кройков и Зивялкин, привязав Парфентьева к лыжам, повезут его в медсанбат. Серегин же должен пемедля идти в часть с донесением о результатах разведки и с картой обходов, намеченных Парфентьевым. Чтобы Серегин не сбился с пути, Парфентьев приказал ему идти лесом, по держаться дороги.

Приказано — сделано. Серегин отправился в путь.

Снега, снега! Они устилали землю бескрайной пеленой, ослепительно белой при свете солнца, дымной и голубой в ночном сиянии звезд. Лес в снегу: огромные бугры под соснами, свесившими свои тяжелые обледенелые лапы.

Серегин пересек лес и пошел вдоль дороги, внимательно вслушиваясь и всматриваясь в темноту. Дорога некоторое время вилась вдоль ровных полей, затем спустилась в овраг, по дну которого проходил санный путь — покатавшая твердая дорога. Ветер, вздымая тучи снега, продувал овраг пасьвозь, словно длинный темный коридор.

Здесь-то и попали на Серегина два немецких солдата-разведчика. Они пропустили Серегина вперед и навалились на него со спины: им хотелось взять «языка».

Серегина сразу прижали к земле. Винтовка, выбитая из рук, провалилась в снег. Оба немца сидели на Серегине, осылая его ударами, стараясь разбить ему лицо. Его левую руку они скручивали за спину и шарпили в темноте, ища правую.

Но Серегин не давался, обороняя правую руку — единственное свое оружие. Ему удалось, наконец, изо всей силы ударить локтем в переносицу одного немца, который, разгорячась, наклонился слишком низко. Немец обмяк и свалился.

Тогда, пользуясь секундным замешательством, Серегин сбросил с себя второго немца и встал. Немец вскинул автомат, но Серегин выбил оружие из его рук. Они сцепились врукопашную, обхватив друг друга, задыхаясь от морозного ветра, от свистящего снежного вихря.

Некоторое время они топтались на одном месте, потом в пылу борьбы сопли с дороги и провалились по плечи в снег. Звезды померкли в облаках, стало совсем черно. Снег залепил борющимся глаза, уши, носы, они беспомощно барахтались в этом спелом месиве. В конце концов в темноте они потеряли друг друга.

Когда Серегин выбрался на дорогу, то, ослепленный ветром и снегом, в первое время ничего не видел. Он увязал в снегу, падал, вставал, опять увязал. Он нашел одну лыжу, но второй никак не мог пайти: ни зги не видать, поземка, черная почь. Он шарил по дороге, слепо тычась в снегу, фонарик он

же немец, с которым он боролся.

И снова они схватились врукопашную.

Немец был силен и ловок. Он наносил стремительные и очень болезненные удары. Серегин, уже пемолодой, начал чувствовать одышку и слабость в ногах. «Осилит! — пропелось у него в мозгу. — Лепька-то, Лепька как прсажит?» — подумал он о десятилетнем сыне.

Немец пригнул Серегина к земле, но тот рывком выпрямился, и оба снова слетели с дороги, опять забарахтались в снежном море, то погружаясь в него с головой, то словно выныривая на поверхность. Они били друг друга ногами, кулаками и головами, задыхаясь, с окровавленными лицами, к которым пришла изморозь.

И в конце концов опять потеряли друг друга в снегу и во тьме.

Теперь Серегин никак не мог выбраться на дорогу. Безбрежный снег, словно тряпина, засасывал его. Все было как в полусне, в полубреду после этой чудовищной схватки. «Влип! Замерзну!» — подумал он и лег пичком в снег, не пытаясь больше искать дорогу.

Он не испытал страха при этой мысли. «Лепька-то, Лепька-то как? — думал он озабоченно. — Споха его не обидит?.. Хорошо бы Лепьку к сестре, в Томск. Вот бы письмо написать... Ну разве теперь напишешь? — пасмешавно подумал он, вдруг вспомнив, где находится. — Как же с Лепькой-то?»

Словно ища совета, он огляделся вокруг. Та же крошечная, непроходимая тьма. В лицо сильно бил ветер. Снега, снега! Не было снегам ни конца, ни края. Они лежали, пушистые, мягкие, бездорожные.

— Много снега! — забываясь, подумал Серегин. — Хорошие будут хлеба!

Он живо представил себе, как сойдет снег с этих полей, как зацветут деревья, как начнется лето, зазеленеют колосья и встанет среди дорог живое, волнующееся море хлеба. За шумит листьями лес. Запылят стага.

— Эх, хорошо! — подумал он с тем добрым, серьезным восторгом, с каким всегда думал о плодоносящей земле. — Хорошо, хорошо!

И вдруг знакомое чувство ярости охватило его. Он вспомнил избу, ночь, детский трюпик в углу, глухой стук молотка, крестьянку-мать, склонившуюся над крестьянским столом в своем цветастом крестьянском платье.

— Его-то убили! — яростно забормотал он. — А меня не убьешь! Не убьешь!

Он встал, провалился в снег, снова привстал, пошел вперед, яростно разрубая своим телом снежную цепь. Ярость как бы придала ему зоркости — он сразу выбрался на дорогу. Тут же он увидел свои лыжи, виговку. Заметил немца, лежавшего поперек дороги — того первого немца, которого Серегин ударил локтем в лицо. Немец судорожно пошевелился — видимо, сознание возвращалось к нему. Серегин хватил его ногой в подбрюшко, и немец утих.

Серегин пригнул лыжи, виговку, взвалил на плечи немца и пустился в путь. Не прошел он и десяти шагов, как лицом к лицу столкнулся в темноте со вторым немцем, который только сейчас выбрался из снежного моря на дорогу.

Стрелять было поздно. В третий раз в эту страшную ночь схватились они врукопашную. Оба едва держались на ногах. Но ярость придала Серегину сил, как придала ему зоркости. Он свалил немца, они покатались по земле. Ловким маневром враг увернулся и прижал Серегина, придавил его.

Бей немца, Серегин! Убитые немцы не пойдут дальше нигуда. Они не сожгут, не удавят в петле, не надругаются: из них вытекла кровь. Им не нуж-

ни ни чужие куры, ни чужие головы, им проломил головы. Они не покусятся ни на чужие души, ни на чужие мысли: из них выбили кости. Они никуда не пойдут. Они останутся там, где их пригвоздили. Бей пемца, Серегин!

Серегин очнулся только минут через пять. Немец был мертв. Серегин, шатаясь, взвалил на плечи второго, живого пемца, и пешком — лыжи сломались — тронулся в путь. Он шел всю ночь. Он падал, полз, снова шел.

Снега, снега! Снега в ледяном молчании зимы. Снега, оранжево-синие в ясные дни и сиренево-синие в звездные ночи.

Через сутки Серегин приполз в свою часть. Положил пемца на снег, встал, сказал:

— Вот вам «язык», держите его!

И пошел к Петру для доклада.

Расставшись с Серегиным, Кройков и Зипялкин оттащили рапелого политука Парфентьева в глубь леса. Здесь и решили заночевать, — ночью пельза было пробираться домой с Парфентьевым по бездорожью.

Выкопали в снегу небольшую яму, чтобы укрыться от ветра, обложили ее хвоей.

Зипялкин вскоре заснул. Парфентьев держался весело, он заснуть не мог: боль была зверская. Он лежал на спине, глядел на звезды, блиставшие среди облаков, и шепотом разговаривал с Кройковым, который курил козью ножку и пускал дым в рукав шинели.

То ли рапа, то ли глухая лесная ночь, но что-то настраивало на разговоры о жизни, о доме. Парфентьев рассказывал о родном юге, о шиферных крышах, сливовых садах, белых домах под белым сверкающим солнцем. Говорил он, как всегда, хорошо, с прибаутками, и только часто останавливался в раздумьи: приступы боли, от которой пот выступал на лбу и перехватывало дыхание. Потом стал рассказывать о своем универмаге и о том, как, приехав на фронт, он почти совсем не умел стрелять, очень стыдился этого и каждый день на рассвете уходил тайком в лес, чтобы поупражняться в стрельбе.

— Бывает, — понимающе сказал Кройков, — мы ведь с вами всю жизнь работать учились, а не стрелять.

— Ты женат, Кройков? — спросил политука.

— Нет, не женат.

— Вот и я не женат, — сказал, помолчав, политука.

И он стал рассказывать о том, как однажды, несколько лет тому назад, на курорте встретил девушку Надю и влюбился в нее, ходил с ней по горам, катался на лодке. И все не решался сказать ей о своей любви. А потом пришло время уехать, и Парфентьев уехал. Он приехал в родной городок, явился в райком, его направили на финансовую работу, потом, под осень, — в деревню, по линии МТС, затем в ропо, в райздрав... Только один раз за все это время получил от Нади письмо, ответил, не получил ответа, да так и потерял ее из вида. Он все ездил и ездил по району, — то партийная, то советская работа. Ездил на чем придется: на телегах, на дровнях, на «гозпках», на тракторах, на грузовиках, ходил и пешком.

Нередко где-нибудь на почлеге, в глухом поселке, он вспоминал про курорт, про олеандры и кипарисы, вспоминал лодки, горы, Надю, ее лицо, ее глаза.

И, засветив огонь, в глухую ночь он вынимал из бумажника пожелтевшее надвое письмо и снова и снова перечитывал его, выкивая в каждое слово. Ночь

шла своим чередом, копошилась за оренчатой перегородкой корова, дремала коника в углу, мерцали во тьме кастрюли и сковороды, а Парфентьев читал и перечитывал письмо.

— Где-то Надя? Что теперь с ней?

— Бывает,— снова глухо и понимающе откликнулся Кройков.— Дел много у партийного человека, потому и бывает!

Он долго молчал, курил, а потом вдруг сказал:

— Вот и у меня одна на примете.

— Да? Какая же она из себя?

Кройков долго думал.

— Большая,— наконец сказал он,— да разве теперь ее встретишь? — Война.

— Это верно... Война,— проговорил политрук, и оба примолкли.

Вскоре Парфентьев заснул. Теперь бодрствовал один Кройков. Он лежал, курил и думал о Варе.

Он окончательно решил, что после войны уедет с ней домой, в Сибирь. «А согласится ли? — озабоченно думал он.— Да и встретимся ли? Война».

Он все думал и думал о том, как бы не потерять Варю из вида: ведь потерял политрук свою Надю, которую любил да так и не сказал ей о своей любви.

«Надо бы еще одно письмо написать,— тревожно соображал он.— Куда писать? Она теперь далеко. Нет, напишу, напишу»,— твердо, успокаиваясь, решил он.

Едва забрезжил рассвет, Кройков разбудил Зинякина, они опять привязали Парфентьева к лыжам и отправились в путь. Они шли строго на восток, по, пройдя километров пять по лесу, наткнулись на лыжный след немецкого патруля и были вынуждены взять влево. Километра через два снова увидели след. Видимо, встревоженный вчерашней перестрелкой, какой-то немецкий отряд петлял рядом, возле них. Парфентьев решил притаиться и обождать. Закусали. Боль в ноге Парфентьева усиливалась с каждым часом, но он терпел молча.

После отдыха взяли на север. Через час тяжелой ходьбы почти вплотную налетели на трех немецких разведчиков, и только наступившая темнота дала возможность, отстреливаясь, уйти. После этой стычки Парфентьев решил глубже забраться в лес и переждать ночь: ему становилось все хуже, каждый толчок лыж вызывал непереносимую боль.

Укрылись в лесу, за спешный бугор, принялись ужинать. Тут выяснилось, что Зинякин съел за день весь свой запас продовольствия. Теперь он приставал к Кройкову с просьбами о еде, жалуясь на голод и ссылаясь на фронтное товарищество. Кройков неохотно дал ему хлеба и банку консервов из своего пайка.

Вообще говоря, Кройков любил Зинякина, это был его фронтовой друг, напарник по пулемету. Он любил Зинякина за острый язык, уважал его за непринужденность в разговоре с людьми и охотно смеялся его шуткам. Не нравилось, однако, Кройкову то, что Зинякин и к жизни и к делу относился, как к шутке. Кройков считал, что жизнь есть жизнь, а дело есть дело, и смеяться тут печего. В нем жило всосанное с молоком матери убеждение, что к заботам, к делу нельзя относиться легко.

В общем Зинякин принадлежал к тому типу людей, которых Кройков называл танпорамп, то-есть людей резвых, удачливых в весельи, но с легкой, легких на перекурку, на чесание языка, не солидных в слове, скучных на ра-

Поте. Зинялкин был трусоват, — Кройков не мог этого не заметить. Но главное заключалось не в этом, — на фронте нередко бывает, что и трус преобразуется. Главное заключалось в какой-то разухабистости Зинялкина, в его весело-безответственном отношении к каждому поручению, в списходительном презрении к порядку, к делу, к рангопочитанию, в полной и радостной уверенности в своем превосходстве над всем. Это был один из тех молодцов, которые воспитаны на легком хлебе, легком заработке, легкой учебе. Зинялкин был одет так же, как и Кройков; шинель, ватник, валенки, шапка, — но, несмотря на это, Кройкову всегда казалось, что Зинялкин в шелковой синей рубахе. «Гармонист», — думал о нем Кройков.

Поэтому-то Кройков был доволен сейчас просьбой Зинялкина и жалобами его на голод. Самая легкость, с какой Зинялкин съел в один день весь свой «ПЗ» — неприкосновенный запас, Кройков считал распущенностью, баловством.

Поужинав консервами и хлебом, Зинялкин тут же заснул. Снова бодрствовали Парфентьев и Кройков. Парфентьеву было худо. В него что-то болезненно пульсировало, — видимо, начиналось нагноение. «Дело — табак! Попался!» — подумал Парфентьев равнодушно, как думает о трудности своего положения тяжело больной человек, в большом жару.

Чтобы отвлечься немного от досаждавшей ему боли, он стал разговаривать с Кройковым, напоминая ему, как встретился с ним в грузовике, когда ехал на фронт.

— Волновался я, брат, по правде, — сказал Парфентьев, — человек я штатский, партиец из далекой глубинки, в первый раз на войне. Все на тебя смотрел: вот, мол, фронтовик! Все думал — не справлюсь. А ничего. Как будто не сплеховал. Вот только начальство не очень довольно, — грустно добавил он, вспомнив про свой разговор с Турухиным.

— Начальство не знаю как, — ответил из тьмы Кройков, — а бойцы довольны. Такой политрук — как падо! Большевик!

Они долго молчали, глядя на безмятежные звезды. Все эти дни погода стояла довольно теплая, свежая, с резким ветром. Сейчас ветер утих, но стало морозить. Мороз к ночи усиливался. «Замерзнем», — подумал Парфентьев.

— Так вы ту Надю так и не встретили? — спросил вдруг Кройков.

— Не встретил, — удивленно проговорил политрук. Он не сразу понял, о чем идет речь.

— Значит так, затерялась?

— Затерялась.

— И писем больше не получала?

— Не получал.

— Да, это плохо! — сказал Кройков.

Он повернулся на спину. «Как бы Варю не затерять, — снова тревожно подумал он. — Падо письмо написать, обязательно падо. Затеряешь и не пайдешь. Пши тогда по всему свету. Война!»

Вскоре Парфентьев лишился сознания и больше уже не приходил в себя. В течение двух следующих дней и ночей Кройков и Зинялкин тщетно пытались пробиться к своим. Всюду бродили фашистские патрули. Кройков, Зинялкин, Парфентьев оказались словно в мешке в этом проклятом лесу. Пайки были съедены, голод давал себя знать, люди едва передвигали ноги. Очень мучил мороз. Маневрируя, они плутали, и надежда на благополучный исход их малелькой экспедиции становилась все прозрачней.

На третий день Кройков и Зиялякин совсем ослабели. Очень трудно было с Парфентьевым. Лыжи, на которых он лежал, то и дело развязывались, приходилось опять и опять их налаживать, закреплять. Да и тащить такой груз, проваливаясь по горло в снег, по холмам и оврагам, оказалось немисливо тяжело.

Короткий зимний день длился бескопечно. В сумерках они добрали до опушки. Судя по солнцу, они шли на северо-запад. Ясный день догорал, с опушки отчетливо была видна деревенька, раскинувшаяся на холме. Кройков посмотрел в бинокль. Немцы.

Дальше идти они уже были не в силах.— Сегодня замерзнем,— сказал Зиялякин и сел в снег. За три дня Зиялякин похудел вдвое, постарел, глаза у него ввалились. Он вероятно страдал от голода. Он глотал снег, ел размельченную кору. Кройков боялся, что вот-вот он упадет, и тогда ему, Кройкову, придется тащить за собой обоих. Кройков уже решил, каким мапером связать лыжи, чтобы они выдержали этот двойной груз. О себе он не заботился. «Я-то вытяпу»,— думал он.

Почью Зиялякин сказал Кройкову:

— Кройков! Как полагаешь? Не выберемся?

— Можем не выбратсья,— ответил Кройков.

— А политрук померет?

— Может помереть... Вполне может.

— Послушай, Кройков,— сказал Зиялякин,— знаешь, что? Давай оставим его тут, а сами пойдем. Ему все равно помирать. А без груза мы выберемся.

— Очумел?

— Нет, верно слово. Подумай!

— Я те подумаю!

Тогда Зиялякин забормотал:

— Да я пошутил! Пошутить нельзя! Вот люди!

«А может, и вправду шутит?»— подумал Кройков. Но слова Зиялякина звучали по-иному, не как его обычные шутки. «Нет, не шутит!— решил Кройков.— Ну дела! Воспитали! Легкого хлеба человек,— злобно размышлял он,— все экскурсии, музыка, подтяжки!.. Вот бы нам его в Сибирь, в плотники,— ему бы там показали, где музыка, а где товарищ! Человека бросить! Дела!»

Весь следующий день они из последних сил шли, как им казалось, на восток, таща за собой Парфентьева. Но в сумерках заблудились и к ночи, полужамерзшие, очутились на том самом месте, где и накануне: на опушке, перед деревней, запытой немцами.

Ночью Кройков проснулся от странного шороха. Открыв глаза, он увидел в звездном свете Зиялякина, разрезавшего ножом рубаху.

— Ты что это?

— Ухожу.

— Куда?

— Сам не знаю куда.

Он прикрепил к штыку белое полотнище — разрезанную рубаху — и стал подвизывать лыжи.

— Сдаваться? — спросил Кройков.

— Сдаваться.

— Садись, тебе говорят!

— А ты посади, попробуй! — угрожающе сказал Зипялкин. — Да что дурака ломать! — уже примирительно продолжал он. — Не будь дураком, пойдем вместе!.. Четыре дня ходим, сделали все, что могли. Зря погибать тоже не надо. Нет приказа, чтобы зря погибать.

— Убью! — сказал Кройков.

— Не убьешь! — равнодушно возразил Зипялкин и дружески улыбнулся. — Пойдем, пойдем! Поломался и хватит!

Он приладил, наконец, лыжи и заскользил по снегу.

— Назад! — крикнул Кройков.

Зипялкин обернулся, плюнул и снова пошел, высоко держа винтовку с белым полотнищем. Тяжелое бешенство охватило Кройкова. Та ненависть к предательству, к трусости, к слабости перед лицом смерти, которую он, сибирский плотник, впитал с колыбельной песней, возрастил и укрепил в далеких глухих лесах, на трудной сибирской артельной работе, — лютая ненависть вспыхнула в нем. Перед ним был предатель, тля, человек, продавший товарищей, шкура. С ним следовало постучить по-плотничьи, по-сибирски, по-большевистски. Кройков приложился и выстрелил. Зипялкин ужал. Кройков подполз к нему. Зипялкин был мертв. Кройков вынул у него из кармана документы, чтобы не попались врагу, и отполз обратно. На минуту его охватила жалость к Зипялкину. «Хорошо тащовал! — подумал он, — и с девками лажо играл. Ну да ничего не поделаешь! Шкура! Трису — первая пуля», — вспомнил он вдруг текст плаката, висевшего в штабе, и сразу почувствовал облегчение.

Немцы, слышав выстрел, начали бить из пулемета, но затем успокоились. Кройков задремал. Он проснулся от толчка, — его разбудил Парфентьев.

— Ну как, Кройков? Конец? — спросил политрук.

— Да надо быть — конец! — отвечал Кройков.

— Замерзаем?

— Да надо быть — замерзаем.

— А где Зипялкин?

— На разведку ушел, — пехотя отвечал Кройков.

Парфентьев снова забылся. А Кройков лежал и все думал, думал. Ему казалось, что он думает трезво, легко, в полном сознании, но на самом деле он тоже был в забытьи. То чудился ему лес, то мерещились избы, танки. «Замерзаю», — очнувшись, подумал он. Он увидел Варю, она убегала куда-то, и он никак не мог поспеть за ней. «Я все думаю о тебе, все думаю, думаю!» — говорила она. «Замерзаю!» — сообразил он, опять очнувшись. — «Не видать теперь Вари. А как бы хорошо с ней поехать домой! Мы с ней одинаковы... Только бы не затерялась, только бы не затерялась!»

Так, замерзая, лежали эти два человека — политрук Парфентьев и боец Кройков. Перед ними расстиралось снежное поле. Оно было велико, но при звездах казалось, что это не малое поле, а большая земля с ее снегами, дорогами, верстовыми столбами, поземками.

— Кройков! — еще раз среди ночи окликнул Парфентьев.

— Я — Кройков.

— Давай прощаемся?

— Давай прощаемся.

И они обнялись и крепко поцеловались, как два фронтовых товарища, два коммуниста, которые вместе жили, вместе дрались с врагом и которым вместе вот приходится помирать.

...На рассвете Кройков почувствовал, что его подняли и понесли.

— Куда? — пробормотал он. — А, Милкин! — узпал он, приткнув тяжелые, непослушные вепи.

Да то были Милкин и другие бойцы из роты Петра, прошедшей в голове дивизии Доезжаловский лес и неожиданно появившейся глубоко в тылу немцев, согласно плану, разработанному комдивом Перемитиным и утвержденному командованием Н-ской армии.

ГЛАВА 11

Лыжный молодежный отряд, в состав которого входили Оля, Варя и Миша, действовал в течение месяца по немецким тылам, падала на обозы, штабы, захватывал отдельные населенные пункты, истребляя пещенные гарнизоны и поджигая склады. Немцы направили против лыжников значительную группу войск, но каждый раз отряд благополучно уходил от преследования.

Уже на обратном пути, сильно ослабленный потерями, отряд попал в засаду, был рассеян и распался на отдельные небольшие звенья, которые самостоятельно пробирался к линии фронта.

Одно из таких звеньев состояло всего из трех человек: это были Варя, Оля и Миша.

Миша попрежнему был влюблен в Олю. Попрежнему улучал каждую свободную минуту, чтобы подойти к ней, перешептаться, и по вечерам писал ей письма, в которых излагал все то, что говорил ей днем.

Время, проведенное на фронте, совершенно изменило Олю. Уже совсем ничего не осталось в ней от той девушки, которая всего полгода назад сдавала экзамены в театральную школу, собирала открытки актеров, плакала в кино, когда герой расставался с героиней, и мечтала о том, что бы все — и в кино, и в книгах, и в дружбе, и в ссорах, и в любви — было гладко и счастливо кончалось. Она невидела удивительных людей этой войны, сама не раз была на краю гибели, и если плакала теперь, так от действительной боли, если восторгалась чем-нибудь, так тем, чем стоило восторгаться, если страдала от чего-нибудь, так от настоящего холода, не выдуманных расставаний, настоящих невзгод. Она видела жизнь, военную жизнь, где все протекало совсем не гладко, где не так-то часто можно было послушать рассказ со счастливым концом. Но это была суровая, правдивая жизнь. Здесь была настоящая дружба, настоящая кровь, настоящий подвиг, настоящая смерть. И эта жизнь, в которой голод был голодом, враг был врагом, мороз был морозом, рана была раной, а пустяк был пустяком, — вошла в ее кровь, плоть, душу и стала диктовать ей поступки и мысли.

Миша — ее первая любовь — начал казаться 18-летней девушке болтливым и мелковатым. Конечно, он неплохой парень, но по-ребячески обидчивый, самолюбивый. И главное — самозабвенно хвастливый.

О чем бы ни заговорили, он рассуждал убежденно, с апломбом, будто знал все лучше всех. С одинаковой, запальчивой и раздражающей уверенностью он спорил и об авиации, и о методе соления грибов, и о Сатурне, и о качестве табака «Заря», и о стратегических планах Браухича.

Вечло Миша состоял с кем-нибудь в жестокой ссоре — не разговаривал, отворачивался при встречах. У него был какой-то сложный, особый учет ссор и примирений, и он считал, что всех (и во всяком случае Олю) должен горячо интересоваться вопрос о том, как он относится к Сидорову, как поссорился с

Федотовым, как уличил в невежестве Яковлева. Товарищи по огряду не любили его.

Все это очень сердило Олю. Вмешиваясь в спор, она говорила Мише грубость, они ссорились, и тогда письма, которые ей ежедневно писал Миша, наполнялись упреками, проницательными выпадами, угрозами расстаться навеки.

Впрочем, наутро Миша как ни в чем не бывало опять объяснялся Оле в любви и опять вступал в споры о вещах, в которых ничего не смыслил.

Боялся он только Варвары, которая попрежнему его терпеть не могла. То и дело возникали между ними жаркие словесные перепалки. Чтобы уколоть Варю побольше, Миша называл ее не иначе как «канализационным илжепером». На это Варя отвечала:

— Ну и что же? А ты без канализации и уборной-то не построишь! Что ты вообще можешь построить?

Чем больше Оля приглядывалась к Мише, тем яснее понимала, что он ничего толком не знает и не умеет, что он хвастлив, глуповат, беден умом и сердцем, что нет у него ни настоящих мыслей, ни настоящих привязанностей.

Как-то раз она решилась сказать все это Вале. Было это поздно вечером, когда обе легли спать.

— Так он же дурак, я давно говорила,— равнодушно откликнулась Варя,— ну, ладно, давай спать!

— Дурак — не дурак, но какой-то странный...

— Дурак! Викляй! — решительно отрезала Варя. — Чучело!.. Ну, ладно, давай спать!

— Но меня-то он любит, очень любит! — взволнованно и задумчиво сказала Оля, как бы сама удивляясь тому, что Миша способен на такую любовь. — Любит он меня, Варя?

— Любит! И ты его любишь! Знаю! Ну, ладно, давай спать!

...Итак, теперь они шли втроем, пробираясь к линии фронта.

Они шли лесом. Варя и Миша все время пререкались о том, куда идти. Так как дело шло не о пустой болтовне, а о жизни и смерти и так как Варвара неизменно высказывала веские, дельные соображения, то Миша вынужден был нехотя соглашаться.

Для через три, когда до фронта оставалось километров 20, они заночевали в пустом сарае. Варя тут же заснула. Миша сказал:

— Оля, нам надо поговорить.

— О чем? — спросила Оля. Ноги у нее очень промерзли, и она соображала, как бы согреть их. Он начал все о том же, о чем говорил каждый вечер.

— Ты любишь меня?

— Люблю!.. «Надо бы валенки снять,— думала она,— валенки спать и ноги спиртом протереть». Но она очень устала, и ей было невозможно снять валенки, возиться с чулками, с портянками.

— Очень любишь?

— Очень. «Нет, все-таки надо снять валенки,— озабоченно думала она,— перовей час, пальцы обморозишь». Она принялась стягивать валенки.

— Нет, ты как-то странно говоришь! Ты о чем-то другом сейчас думаешь?

— Ни о чем я не думаю! «Эх, порвались чулки,— огорченно думала она, снимая чулки,— надо бы сейчас подштопать, а то завтра совсем замерзну». И она стала протирать пальцы ног спиртом.

— Значит, ты меня любишь?

— люблю. «Ну вот, теперь лучше, теплее. постигать чулки или отложить до утра? Нет, отложу до завтра, устала, сил нет... Постати и сорочку зашью...»

— А зачем ты с Савельевым переглядывалась?

— Ни с кем я не переглядывалась! «Вот и совсем тепло. Наверно у Вари тоже чулки порвались. Бедная Варя, — устала, как сладко спит».

— Ну, и отлично, вот и уладили недоразумение! А я так терзался, терзался!

«О чем это он говорит? — подумала Оля, вдруг очнувшись от своих полных заботы мыслей. — Чем он терзался? Ах да, опять все о том же! Боже мой, каждый день, каждый вечер, как граммофон! И как все это глупо, среди настоящего горя, настоящих страданий!»

Хотя все уже было выяснено, Миша еще раз спросил, чтобы окончательно на сон грядущий увериться в своей сладкой победе:

— Значит, любишь?

— Люблю. — Она развесила чулки и портянки, аккуратно обмела валенки и надела их. «А погям-то тепло, завтра с утра чулки ночью, все будет хорошо», — уютно и успокоенно подумала она, улегшись на пол сарая и засыпая. «И я, не люблю я его!» — вдруг спросопок, по отчетливо, ясно и холодно подумала она.

На следующий день, под вечер, наши путники остановились в лесу, в заброшенной прошлогодней землянке. Необходимо было произвести разведку, чтобы установить, как лучше всего пройти линию фронта. В разведку вызвался идти Миша. Собственно говоря, ему не очень хотелось идти, но Варя высказала желание пробраться в деревню и переговорить с крестьянами о дороге, так что Миша уже никак не мог уступить ей, — это противоречило бы всей его натуре. Когда же Варя, наконец, согласилась, то Миша почувствовал неприятный холодок в сердце, — разведка на этот раз была делом серьезным.

Оля проводила Мишу до опушки и возвратилась в землянку. На душе у нее было тревожно и грустно. Правда, Миша ей очень надоел за последнее время своими разговорами, она теперь сама хорошенько не знала, — любит ли его, или не любит, но все-таки это ведь первый парень, которого она полюбила в своей короткой жизни, первый парень, с которым она мечтала о комнате, где они будут жить, а это-то не вычеркнешь из сердца!

Совсем стемнело, когда Миша подошел к незнакомому селу. Он решил пройти югородами, постучать в первую избу и справиться о дороге, так не раз они делали во время пути.

В темноте он прошел под обрывистым берегом реки. Все было тихо. Он решил вскарабкаться по обрыву. Едва он подкрался к кустарнику, глухо шумевшему на ветру, как раздался громкий окрик на незнакомом языке. Мишу окружили, выбили автомат из рук, повалили на снег. Через четверть часа он уже стоял в избе командира немецкого батальона, и его допрашивали через переводчика.

Держался он хорошо. На вопрос, — куда идет, ответил, что был в окружении и пробирается к своим. На вопрос, — один ли он, ответил: один.

Офицер изо всей силы ударил его кулаком по лицу. Три передних зуба брызнули на пол, — кровавые, розово-белые брызги.

— Один?

— Один.

Офицер что-то сказал фельдфебелю, тот ушел и вскоре вернулся с плетью.

— Один? — спросил офицер.

«Убьют, — подумал Миша, с ужасом глядя на поднимающуюся плеть, —

забьют до смерти. Как глупо! Неужели нет какого-нибудь выхода? Надо что-нибудь придумать, схитрить... Ну, скорей, скорей!..»

— Подождите! — крикнул он.

«Скажу, что не один, а когда спросят, где другие, скажу, что не знаю»; пронеслось у него в голове.

— Я не один.

— Где другие?

— Не знаю.

— Где другие?

— Не знаю.

Его зверски избили и выбросили в сени.

Он лежал на обмерзшем полу, упираясь щекой в ледяную лопату. Где-то за стеной сопо тренькались куры. Мелькнул серый мышонюк, крохотный, бархатный, приблизился, прыгнул в сторону, снова приблизился и пробежал по Мишиным окровавленным волосам.

«Попался! — сказал себе Миша. — Вот и смерть, и как быстро! Еще сегодня днем я и не думал о смерти. А теперь погибаю... Да, погибаю... Погибаю, как мученик, не сказав врагу ничего!»

Ему вдруг страстно захотелось, чтобы товарищи были здесь и видели его подвиг. «Не увидят и не узнают! — с огорчением подумал он. Не любили меня, спорили, а вот теперь бы убедилась». Он представил себе, как товарищи, узнав о его подвиге, о его мученической смерти, будут говорить: «Смотрите, каков Миша; мы обижали его, а он вот какой! Нехорошо мы с ним поступали, нехорошо. Ссорились, унижали. Особенно ты, Завойкин, и ты, Сафонов. Нехорошо!»

«Но ведь они не увидят и не узнают! — Все с большим и большим огорчением думал он, — никто не увидит, а я погибну. Погибну, погибну!..»

Мало-помалу весь подлинный, неприкрашенный смысл этого слова предстал перед ним. Он погибает! Как это так? Значит, сейчас вот все будет кончено и он никогда не увидит ни солнца, ни звезд, ни леса! Никогда! Не увидит ни улиц, ни комнат, ни стульев, ни Ольги. Никогда! Тьма, одна тьма! Люди будут ходить, говорить, радоваться, хлопотать, а его не будет! Ветер будет по-прежнему гулять по полям, по-прежнему будет падать снег, по-прежнему будет шуметь море и выситься горы, а его не будет! Не будет, не будет!

«Нет, как же так? — лихорадочно думал он. — Разве возможно, чтобы меня не было? Здесь что-то не так... Здесь что-то невероятное, какая-то ошибка... Здесь есть какой-то выход, не может не быть выхода!.. Надо что-то придумать, обмануть врага, усыпить его подозрения...

Скажу, что я отстал от товарищей и потерял их, — думал он. — Не поверят!.. Скажу, что товарищи пошли дальше, а я попал сюда... Не поверят! Почему не поверят? Ведь это вполне естественно. Не поверят! Но ведь это могло быть? Могло!.. Нет, не поверят!»

И чем дольше он лежал, чем больше думал, тем ясней убеждался, что выхода нет. Надо идти на смерть. Встретить смерть мужественно, спокойно.

«Смерть? Да, смерть! Ерунда, я так молод — и уже смерть! Да, смерть. Но ведь мне так хочется жить — и уже смерть? Да, смерть! Нет, все же где-то есть выход! Надо успокоиться, хладнокровно обдумать, разобраться по мелочам...»

«А может быть, сказать правду, указать, где Варя и Оля? — внезапно подумал он. — Чуть! — тут же перебил он себя. — Ведь тогда их найдут, рас-

стреляют... А что, если не найдут? Они, наверно, давно ушли из леса! — себе-ражал он, сам не веря в это предположение. — А если не ушли? Тогда отобьются от немцев, — ведь Варя и Оля спайперы. А если не отобьются? Но почему же должен погибать я, а не Варя? Ведь я отличный чертежник, умный, начитанный, полезный человек, у меня есть много хороших мыслей и планов. А Варя? Что такое Варя? Злюка, недоучившийся канализационный студент. Кому она пужна? Какую пользу она может принести? Разве можно ее сравнить со мной, Мишей? А Оля?

Чорт побери! В Оле заключалась самая острая, самая неприятная часть проблемы. Ведь он же любит ее, только сегодня он клялся ей в вечной любви.

— Ну, хорошо — Варя, ее следует проучить! Но как быть с Олей?»

Однако, чем дольше лежал Миша на полу сарая, чем ближе подходила минута нового вопроса, чем явственней приближалась смерть, тем отчетливей ощущал он, что Оля не так уж хороша, как ему казалась. И не так уж он ее любит. Просто увлекся. И даже не увлекся. Просто относился к ней цеплохо, товарищески.

Что хорошего в Оле? И достойна ли она его, Миша? Нет, если судить трезво, — то недостойна. Она легкомысленна, пустовата, увлекалась актерством, воображает о себе нивесть что. Мало читала. Да разве это серьезный человек, о котором может идти серьезный разговор? Нет! Но почему же тогда только оттого, что он объяснился Оле в любви, он должен щадить ее, Олю, а не щадить себя, Мишу, который так серьезен, так много читал, такой хороший чертежник и которому так не хочется умирать? Где логика?

«Переглядывалась с Савельевым!» — вдруг вспомнил он, и эта юркая, ловкая мысль сразу принесла ему невероятное облегчение. — «Переглядывалась? Ну, теперь пейяй на себя!»

Так он лежал и думал, и с каждой новой мыслью он становился все лучше, цепней и великоленней, а Оля и Варя становились все мельче, ничтожней, преступней. И наконец они стали такими пикудышными, а он таким замечательным и полезным, что никакого выбора между ними и Мишей и быть не могло!

Немецкий отряд, приведенный рапшии утром Мишей к месту, где укрылись Варя и Оля, застал их врасплох. Обе они очень беспокоились о Мише, но прихода немцев никак не ожидали, — землянка была глубоко в лесу, далеко от дорог.

Олю и Варю было не так-то легко взять, — они стреляли без промаха. Землянка (очевидно, учебный блиндаж) имела не менее двух пакатов и четыре пулеметных амбразуры, расположенные вкруговую. Перебегая от амбразур к амбразуре, Оля и Варя вели стрельбу. Первые немецкие солдаты, приблизившиеся к землянке, были убиты паповал. Немцы пустили в ход автоматы. Однако, сколь ни ветхим казался блиндажик, он без труда предохранял от пуля.

Все же долго обороняться девушки не могли, — они сами это отлично понимали. Немцы подползали. Одного из них Варя сразила в тот самый момент, когда он уже замахнулся гранатой.

Варя стреляла быстро, спокойно, без промаха. Ее автомат то давал короткие очереди, то сухо отщелкивал одиночные смертоносные удары. Она лежала, удобно подперев локоть, прижимаясь к земле всем своим тяжелым большим телом.

— А ну, возьмите меня, попробуйте! — бормотала она.

Она вскинулась не спеша, — только в сердце или в голову врага. Она защищала свою жизнь сердито и упорно, как сердито и упорно она делала все. Она решила, что убьет десять немцев, прежде чем немцы убьют ее. Но десять немцев были уже убиты, она убила одиннадцатого, двенадцатого — и все еще жила!

— А ну, возьмите меня! — крикнула она сухим, обожженным голосом, всей силой своего неукротимого сердца, — возьмите!

— Дюжина, Оля! — сказала она. — Вот бы до пятнадцати дотянуть!

Не отходя от амбразуры, не своя глаз с врага, она нащупала в кармане кисет, свернула папироску, зажгла, с наслаждением затянулась. И вдруг засмеялась. Ее пасмешило, что немцы не могут убить их, двух девочек, что две девочки отправляют на тот свет немца за немцем, легко и спокойно, как ни в чем не бывало.

— Комедия! — сказала она. — Они бы еще сюда батальон привели!..

Эта работа — истребление немцев — ей нравилась. В этой работе не было болтовни, — это было настоящее ясное дело, польза которого палило: трун за труном. А Варя любила все ясное, точное, резко очерченное и ненавидела все расплывчатое, неопределенное, прикрытое разглагольствованьями.

«Падай, падай! — как бы говорила она каждому убитому ею немцу, — падай, отлично! У тебя есть жена, мать — пусть поплачут! Пусть узнают, как тяжело нам! Ты пришел побеждать — падай! Пусть твои дети будут сиротами — сколько сирот у нас! Пусть рухнет твой дом, пусть под бомбами горят и рушатся твои города! Падай, падай! Ты хотел жить, у тебя были планы, надежды, ты кого-то любил, кому-то писал — теперь нет ничего: тьма. Теперь ты понял, что значит жечь, убивать, разрушать чужие дома, чужие надежды! Падай. Двенадцать новых вдов на твоей земле, и это сделала я — женщина, Варвара Окнова! Понятно? Кто на очереди? Подползай!»

Больше она не думала ни о чем. Она была вся поглощена своим трудным, ясным, усердным делом: убить немца. И только однажды, когда ей удалось свалить офицера, подползшего почти совсем вплотную к землянке, она громко захохотала от восторга и крикнула:

— Эх, Кройкова бы сюда! Вот бы полюбилась!

— Чья? — спросила, стреляя, Оля.

— Ничего! — отрезала Варя.

«Да где он, Кройков? — тут же подумала она. — Что с ним? Получил ли он мое письмо? Вот помру, и снова будет ходить без пуговиц. И куда он запропастился! Наверно, забыл? Ну, что ж, пусть забыл, только бы не помер!..»

Больше она не думала о Кройкове. Все стреляла, стреляла...

Потом, перед самой развязкой, вдруг спохватилась: каким образом немцы нашли их землянку? «Неужели Миша попался и выдал?» — но как ни была Варя зла на Мишу, она тут же отогнала эту мысль: «Какая ни тля, а такой вещи не сделает!..»

Оля тоже стреляла отлично и тоже почти без промаха. Но, в противоположность Варе, она многое перелумала в эти короткие четверть часа.

О чем она думала?

Она думала, что не видать ей больше отца, брата Петра. Думала о Мише: «Где он? Не паткнулся ли на немцев? Не убит ли?» Вспомнила о Москве, о своей комнате, — теперь не придется побывать! Она опять вспомнила день экзаменов в театральной школе, темный зал, урок мимики, слова учителя:

«без мимики лет актера». — «Вот бы этого учителя сюда, — доорудили» подумала она. — «Небось, и сейчас преподает свою мимку». Снова думала о Москве, о школьных ребятах, о студентах, с которыми рыла эскарпы, о покойных Юсте Смирнове и Кате Петровой, об интенданте Шуре, который все писал тезисы и никак не мог объясниться в любви. И, вспомнив о тезисах, она вспомнила о мишинных письмах, и сердце ее снова забило тревогой. «Что с Мишей? Почему он не возвратился? Не подстрелили ли его?» Она представила себе, что Миша попался к немцам, его пытают, допрашивают, может быть, пристрелили — и вся кровь застыла в ней. «Нет, нет, он выбрался, он умный, толковый! — горячо, с великой надеждой подумала она, — только бы вылез, вылез!»

Немцы подтянули станковые пулеметы и начали обстрел. Дело шло к развязке.

— Пора! — сказала Варвара и вынула пистолет.

Оля промолвила:

— Давай, Варя, письмо напишем!

— Кому?

— Товарищам.

— Да ведь немцы найдут.

— А мы спрячем, может не найдут.

И она набросала письмо, в то время как Варя продолжала отстреливаться, перебегая в одиночку от амбразуры к амбразуре.

Вот что она написала:

«Дорогие товарищи! Сейчас мы умрем. Нас обпаружили, мы дальше до последнего. Товарищи! Шлем вам прощальный привет, Варя и я, помните, не забывайте нас. Мы решили застрелиться, чтобы не попасть в руки врага. Мы решили застрелиться, обернувшись лицом на восток, лицом к вам, друзья, лицом к нашей Красной Армии. Напишите моему брату лейтенанту Петру Котельникову. Товарищи, напишите ему большое письмо, скажите, что в этот последний момент я думала о нем, вспоминала, как мы с ним жили, нашу комнатку на Кропоткинской, мамин большой портрет на стене.

Напишите ему, чтобы не горевал. Пройдет время, придет победа, и счастливый народ сложит песни о всех убитых, погибших за родину. И может быть, и о нас с Варей кто-нибудь сложит стихи или песню, и снова мы будем жить, и я, мой дорогой брат и отец, буду снова с вами, пока будет жить эта песня. Знайте, что мы умираем спокойно и радостно. Прощайте. За Родину! За Советскую власть! Пусть будет победа!»

Она спрятала письмо в Варину лубяную табакерку, зарыла и завалила ее камнем. Потом Варя отложила автомат. Подруги обнялись, поцеловались.

— Прощай, девка! Любила я тебя, крепко любила, — сказала Варя и в первый раз в жизни Оля увидела слезы у ней на глазах. Это было последнее, что она видела.

Когда немцы вошли в разрушенную землянку, они нашли там трупы двух девушек. Одной по документам было 18 лет, другой — 20. В одном вещевом мешке лежали ватные брюки, пара отличных теплых кашсон и несколько пачек табака. В другом не нашлось табака, но зато нашлось много писем: Мишины письма. Вещи немцы разграбили, а трупы раздели и бросили в снег, в овраг.

Здесь они и пролежали до весны.

Маневр Перемитина удался. Дивизия дремучим, заснеженным Доезжаловским лесом обошла оборонительные линии, сооруженные немцами. Появившись внезапно для врага в местности, отстоявшей в нескольких десятках километров к западу от фронта, дивизия, рассеивая и уничтожая слабые тыловые гарнизоны врага, вбила новый глубокий клин в расположение немцев.

Перемитин руководствовался в этой операции суворовским правилом «удивить — победить». Он проделывал самые неожиданные марши, наносил удары в самых неожиданных направлениях, стараясь сбить противника с толка, привести его в замешательство, напугать решительностью и быстротой действий. Комдив старался удивить, ошеломить врага, вогнать его в панику, помня завет великого фельдмаршала: «Кто напуган, тот наполовину разбит».

Этот поход требовал величайшего напряжения. Опять шли бойцы по горло в снегу, на этот раз по лесам, которые даже летом были непроходимыми для такой массы людей. Опять захлебывались от ветра и вьюги, несли на себе полную выкладку, тащили за собой на лямках орудия, поставленные на полозья. Продовольствие не поспевало за дивизией, — ее движение было причудливо и представляло собой на карте ряд хитрых, проложенных по лесам кривых и зигзагов. Обычно продукты сбрасывали с самолетов. Однако все время бушевала непогода, с самолета почти не видно было земли, и мешки с сухарями падали где-то далеко в стороне, их приходилось искать долго, настойчиво, иногда целыми сутками! А дивизия не могла ждать, — Перемитин вел ее вперед тяжелыми путями, неожиданными, решительными бросками. И случалось, что люди совсем ничего не ели — по двое и трое суток, куда бойцы, оставленные для поисков сброшенных с самолета мешков, не находили их. Тогда начинался пир — 200 граммов сухарной крошки на брата.

В течение всего этого изнурительного похода внезапность и неожиданность были единственным преимуществом Перемитина, и он пользовался ими с силой и тонкостью настоящего мастера. Он заставлял врага сосредоточивать силы в пунктах, где не предполагалось удара, производил днем ложные марши по полям, чтобы почью по лесу уйти далеко в противоположную сторону и обрушить удар там, где силы немцев были ослаблены. Его движение сбивало с толку не только наземную разведку врага, но и воздушную разведку, — правда, чрезвычайно затрудненную непогодой.

Перемитин почти не спал. Он похудел, глаза его ввалились, он оброс бородами. Он шел сердитый, сосредоточенный, — ему все казалось, что колонна движется недостаточно быстро, всякие непредусмотренные, досадные задержки выводили его из себя. Он то и дело обгонял колонну, подходил к саперам, прорубавшим в лесу путь, и говорил им:

— Скорей, ребята! Наддай, наддай!

А саперы и так работали на славу. Лес как бы расступался перед ними. Широкая просека оставалась за саперами, и по этой просеке, увязая в снегу, надая, поднимаясь, переваливаясь, шли кони с вьюками, тапулись люди, санки.

В эти дни Перемитин часто вступал в спор с Турухновым. Турухин был с самого начала против похода через Доезжаловский лес и теперь настойчиво выступал против каждого нового решения, найденного комдивом и начальником штаба в бессонные ночи.

Маневр блестяще удался, поход был закончен, и в середине марта Перемитин получил благодарность от командования.

гал, что поход этот — авантюра.

Тот факт, что поход закончился отлично, несколько не разубедил Турухина. Он принадлежал к сорту людей, которые столь же охотно признают свои ошибки после разъяснения вышних инстанций, сколь упорно настаивают на них до такого разъяснения.

Словом, Турухин искренно поздравил комдива, который растроганно и радостно обнял его.

Перемитин отшучивался, а потом вдруг стеснительно и выжидательно сказал, обращаясь к пачальнику штаба:

— А правда, Петр Никифорович! Ведь неплохо провели операцию, а? Можно в центральную газету написать об уроках операции. Как вы думаете?

— Напиши, конечно, напиши,— радостно и дружелюбно отозвался комиссар,— я тебе литераторов из дивизионной газеты припущу, они тебе напишут.

— А зачем мне литераторы? — обиженно произнес Перемитин.— Я сам напишу!

— Ну как знаешь. С ними ловчее!

После завтрака Перемитин сел писать письма домой, а Турухин занялся докладом пачнодыва. Перемитин писал увлеченно, потом шум спора отвлек его. «О чем они спорят?» — подумал он.

Спор шел о месте секретаря партбюро в походной колонне. Турухин отстаивал мысль, что секретарь партбюро должен идти в середине колонны. Спор шел горячий, можно было подумать, что вопрос о том, где должен находиться секретарь партбюро во время марша, имел решающее значение для всего хода войны. Турухин ссылаясь на циркуляры, быстро и ловко перебирал папки,— этот спор был ему по душе, целиком захватил его.

— Ну, как полагаешь, комдив? Прав я? — спросил Турухин и дружески оживленно посмотрел на Перемитина, ища поддержки.

— Да, да! — кивнул головой Перемитин.

* * *

Парфентьев с Кройковым вернулись на фронт из лазарета уже весной, когда рота стояла в полусожженной немцами, брошенной жителями деревне Оленьи Горы. Встретили их радостно. Через несколько дней бойцы упростили Парфентьева устроить «разговор по душам» — по примеру тех, которые он устраивал зимой. Парфентьев согласился без особой охоты,— он помнил выговор Турухина.

Слушая Парфентьева, сидя в избе, в клубах теплого табачного дыма, в мирном мерцании лампы, каждый боец ощущал то, о чем так часто думал комдив Перемитин: «Вот,— думал боец,— сижу я, Васильев, здесь, неподалеку от врага, но я не один в этот трудный в моей жизни час, а рядом со мной друзья, и они видят, понимают, вздыхают, курят, смеются, поют, как я, они помогут мне, как я помогу им, и охранят меня, как я охраню их, потому что все мы — одна фронтная советская рота, столько видевшая, столько крови пролившая, столько голодавшая, холодавшая! Да разве я не поделюсь всем с Милкиным и он не поделится всем со мной? Да разве мне не легко, хорошо и спокойно оттого, что вот рядом со мной сидит Яна Смигло, чью семью, чьи заботы и думы, чей перочинный ножик с надписью «Кавказ» и гимнастерку с пятном на правом рукаве я так хорошо знаю? Вот Сафопов, он сегодня получил письмо от жены и поэтому так приятно весел и так приятно все просит

и просит спеть песню. Да, мы — советская, бывалая рота. Мы вместе видели смерть, мы знаем теперь, что ложь и что правда, что страшно и что нестрашно, что голод и что не голод, что д. сл. а, что — так, просто пустяк! Ну, ну, говори! — думал боец, слушая, как Сафонов рассказывает про свою пекарню. — Все это ты же раз рассказывал мне, по мне приятно, уютно слушать тебя, потому что и ты сам, и твои привычки, и твое пекарное ремесло, и батонки, которые ты выпекал, — все это наше, родное, советское, фронтовое».

Вот почему бойцы так любили парфеньевские «вечорки».

Полконец стали просить Кройкова, чтобы он рассказал, как тащил полнорука зимой по лесу. Однако Кройков сердито отпекнулся:

— Да что тут рассказывать? Тащил и тащил, и все тут!

Он помолчал, построгол пожичком какую-то палочку и добавил:

— Вот доклад о международном или военном положении сделать — это пожалуйста!.. У меня тут и карта неподалеку, — промолвил он, оживляясь.

Настала весна, сошел снег, зазеленели леса, запели птицы. Зори еще стояли холодные, но в полдень уже было жарко, вода ручьями текла по дорогам. Болота превратились в широкие озера — бледные, оранжевосерые в короткой веселой ночи.

Бои на время совсем прекратились, Оленьи Горы оказались как бы на острове, окруженные со всех сторон водой, даже пищу роте Котельникова доставляли на лодках.

А потом началось лето. Дороги просохли, тучи белой жгучей пыли стояли над селом. Жаркий ветер гулял по полям, рябил реку, шумел в деревьях. Стоял июль, начиналась летняя истома природы с ее плодоносной работой, с зелеными даями, мерцающими в полуденный час, с ленивыми всплесками рыб в реке.

В июле, как только дороги просохли, немецкое командование решило нанести удар, дабы срезать клин, вбитый зимой Перемитиным. Оно сконцентрировало крупные силы и начало операцию массированными полетами авиации, нанеся одновременный удар в основание клина и в его острие.

В острие клина, в деревне Оленьи Горы, стояла рота Петра, которая в течение всего зимнего похода шла в голове колонны. На «котельниковцев» (так называл эту роту комдив Перемитин) и обрушился первый немецкий удар.

Это была классическая немецкая атака: вслед за авиацией двинулись танки, бронированные платформы с мотопехотой. Шесть раз отбивали котельниковцы немцев, а волны танков и мотопехоты не только не иссякали, но нарастали. Не раз звонил Петр комдиву с просьбой о подмоге, но Перемитин отказывал: весь участок, занимаемый дивизией, испытывал сильнейшее давление, и комдив сберегал резервы. — Держитесь, — сказал он Петру, — к вечеру дам смену.

А где он, вечер? Солнце в самом зените, горячее, июльское солнце. Как лениво оно, как медленно ползет по голубому выцветшему небу!

Сельмая атака. Отбили. Восьмая атака. Прогрел в обороне... Скорее бы вечер! Но где там? Солнце застыло. Оно не движется. Плывут облака, рывками бьет теплый ветер, шумят деревья! А солнце неподвижно!

Девятой атакой немцы пробили брешь в обороне и ворвались в Оленьи Горы. Бой закипел в домах, в коровниках, в конюшнях, в клубе, в сельно, в детских яслях, в сельской амбулатории, в сараях.

— немцы приближались к селу, — сообщила Петр пер. улицу.

— Держитесь! — отвечал Черемитин, — надеюсь на вас! Держитесь!

И котельниковцы держались.

Однако редела их силы, и все меньше, меньше становилось в роте бойцов. Погиб штукатур Алексей Лузарек. Он засел в избе на окраине и подстреливал из автомата каждого немца, который прошикал на улицу. Избу окружили, вломилась в дверь. Лузарек залез на чердак, по лестнице, бил оттуда. Немцы сгоряча пошли на штурм лестницы, Лузарек бил их на выбор. Он работал только паверпяка, — как когда-то Варвара: в грудь врага, в голову и в сердце. Ни одной пули не пустил Лузарек на ветер. Не зря, значит, добывали свинец из советской земли советские рудокопы; не зря плавяли, калили, строгали металл, отказывая себе во сне, работая без отдыха в пронотевших рубахах, с воспаленными от труда глазами, советские рабочие — парни, девушки, старики; не зря везли эти пули на фронт, под бомбами, советские железнодорожники; не зря, не на ветер потутилась страпа, чтобы сработать, отшлифовать, подвезти Лузареку эти пули. Не подкачал штукатур Лузарек! Каждую пулю доставил по адресу!

Немцы выкатились из избы и подожгли ее. Огонь охватила стены, лестницу, потолок. Задымился пол на чердаке, дым развевал глаза.

Был Лузарек из Ивапова, работал по штукатурному делу, недавно женился и только вчера показывал товарищам лучшую в письме карточку жены: молодое лицо со светлыми глазами, с туго уложенными на затылке волосами, белая кофточка, скромная брошка. Надпись: «Коля, помни, и я тебя люблю!»

— Пожил! — сказал Лузарек. — Прощайте, кто меня знает!

Вынув гранату, бросил в слуховое окно. Взрыв. П. пробежав по горячей крыше, прыгнул, дымясь, Лузарек на землю.

Не стало Лобаккина — трамвайного кондуктора и Иши Смигло — бухгалтера.

Они засели в каменном здании магазина сельпо и стреляли оттуда из противотанкового ружья. Два танка подбили бойцы. А когда Петр приблизился к ним, они били немцев из автоматов.

— Так, так! — сказала Петр, — идет работа?

— Идет работа!

Петр пошел дальше, приполз в клуб, где сидели колхозник Свиридов, дворник Седых и другие, приполз под минами в амбулаторию, которую обороняли Сергеев с Сафоновым и другими бойцами, пробрался в клуб, в детские ясли по избам. И всюду спрашивал:

— Бьем немцев?

— Бьем немцев!

И они били немцев. Они поджигали их в танках. — и горящие черные фашистские танкисты с воплями выпрыгивали из люков, на радость русской земле.

Немцы обнаружили Лобаккина со Смигло и стали обстреливать сельпо из танковых пушек. Дрожали стены, сыпалась штукатурка, падали с полок магазина нехитрые товары — горшки, графины, коробки с пуговицами, лептаны, дешевыми кружевами, пачки с карандашами. Один снаряд пробил стену и взорвался внутри магазина. Все смешалось в огненном вихре — полки, осколки пола, битый кирпич, детский велосипед, обломки зеркал, деготь, лопаты, топоры, конская сбруя, разодранные килы ситца. Взрывная волна отбросила Лобаккина и бухгалтера в разные стороны и погребла их под мусором. Насилу выбрались. Ружье, автоматы — все отказало. Оставались четыре гранаты.

— Ближе конец! — сказал кондуктор.

Был Яша бухгалтером, любил свое дело и даже здесь, на фронте, добровольно вел всю ротную канцелярию, и почерк у него был бисерный, такой отчетливый, что каждая буква как бы светилась. Имел Яша мандолину, возил ее с собой повсюду, в обозе, вместе со своим сундучком. Даже обозные знали хорошо эту мандолину, пазывали ее «бухгалтерской» и изредка осторожно трогали ее струны.

А когда брал Яша мандолину в руки, то пел всегда старинные нежные песни — те, что поют на дальних железнодорожных станциях в степи. Пел глухо, голоса не имел, слуха — тоже, но заменял голос и слух чувством:

Ночь светла, над реком
Тихо светит луна...

И когда пел, то нередко плакал. О ком он плакал, кому он пел? Он не говорил этого, но Милкин, который все знал, выяснил, что у Яши была невеста, полюбила другого, и плачет Яша оттого, что эти самые песни он пел невесте, которая полюбила другого. Так утверждал Милкин. А Яша пел:

И блеснит серебро
Голубая волна...

Два новых взрыва. Немцы пошли на штурм. Первый немец вырыгнул через пролом в магазин, за ним другой, третий. На ходу застрочили автоматы. Копец? Нет, не копец! Лобакни бросил гранату.

Он работал трамвайным кондуктором в Москве, на маршруте № 17, в показательном мягком вагоне. Работал он превосходно, знал панзуть все остановки своего маршрута, заранее выкликал их названия и вообще был так предупредителен и вежлив, что пассажиры не могли нарадоваться на него. Он увлекался спортом, играл защитника в футбольной команде своего профсоюзного клуба. Играл он столь же хорошо, как и работал: с толком, воодушевленно, умело. Его давно хотели перевести в команду мастеров, однако трепер с сомнением говорил:

— Все отлично, но вежлив. Цельзя!

И на фронте он тоже был вежлив, все сидел в уголке и читал книжки, все рисовал заголовки для боевых листков и даже когда сердился на что-нибудь, то сердился тихо и вежливо. Только когда кто-нибудь из бойцов начинал с апломбом рассуждать о футболе, говорил очень резко, но в сущности тоже вежливо:

— Прости, но ты ни черта в этом деле не понимаешь! Ни белъмеса!

Немцы накапливались у пролома, осторожно продвигаясь вперед; не переставая работали немецкие автоматы. Вот немцы уже почти у прилавка, за которым укрылись Лобакни и Смигло. Копец? Нет, еще не копец. Яша бросил гранату. Взрыв. Стопы. Крики.

Немцы помедляли, потом стали опять осторожно подползать. Наконец они обеснуали прилавок и кинулись на бойцов. Два взрыва: кондуктор и Смигло бросили гранаты прямо в немцев, метрах в пяти от себя. Вздрыбился пол, развалился прилавок, обрушился потолок. И все стихло. Молчание.

Это — копец.

Эх, скорее бы вечер, скорее бы вечер!

Да что с ним, с солнцем, сегодня? Оно чуть-чуть склонилось на запад и снова застыло, точно кто-то приклеил его. Только бы выдержать, не отступить!

А немцы все заседают, заседают. Нет уже ни Свиридова, ни Седых, ни Сафонова.

Бросал все гранаты, а когда немцы вломились в здание, сорвал с окна железную штангу с занавеской и кинулся на врагов. Его хотели взять живьем, навалились, — он раскидал немцев. Понавалились опять, и опять он сбросил с плеч этот тяжелый, хрипящий, кричащий, задыхающийся груз. Выхватил пож. Нуля свалила его. Но, уже нападая, он всей тяжестью размахнулся пожом: даже сейчас, с помутневшим сознанием, с мерклым светом в глазах, он думал только о том, чтобы убить немца.

Его опрокинули, топтали сапогами, били прикладами. Кто-то выстрелил в упор, в сердце.

Немцы спихнули труп Серегина в канаву. И зашумела над конюхом родная трава, и глянуло ему в мертвый открытый глаз родное далекое небо.

Убили немцы Серегина, убили русского человека, знавшего доброту хлеба, песни, доброту плуга, цветка, травы, коня. Умер Серегин, но пошла гулять по селам и весям его бессмертная ярость. Ударила ярость в набат. Под этот набат загудела земля, и на спине Серегину встали десятки и тысячи советских людей, и каждый из них, как Серегин, в муках, в огне, убил в себе добрую душу и взрастил новую душу — ярость. Да разве пробиться немцам сквозь эту душу!

Спи, верный товарищ! Ярость твоя жива! Покрытая порохом, потом, пылью, она везде, где нищ и горестен человек. Ты славно бил немцев. Безвестный конюх, ты дрался в этот знойный июльский день в глухой деревеньке Оленьи Горы за все поля, луга, реки и города земли, за все страны, за все моря, за всех людей, за всех детей, за всех, кто радовался в этот час или грустил, кто влюбился или разлюбил. Спи, верный товарищ. Ты дрался за человека, и человек не забудет тебя. А если забудет, так нет ему имени!

Погиб политрук Парфентьев. Вместе с одним из взводов он пошел в контратаку на занятое немцами здание сельсовета. Немцев из сельсовета выбили, но в бою смертельно ранили политрука. Он лежал на плащ-палатке, и санитар возился над ним; дело было в избе, где находилась пулеметная точка Кройкова. Когда Парфентьев пришел в себя, он увидел Кройкова, бывшего короткими очередями из пулемета.

— Помираю, Кройков! — сказал политрук.

— Поживем, — нехотя откликнулся Кройков: он не любил врать, особенно перед лицом смерти.

— Ну, как, Кройков? Неплохо деремся?

— Да лучше пельзья! — уже охотней ответил Кройков, хотя и хвастаться он не любил. — Лучше никак невозможно!

Казалось политруку, что прошло уже много часов с момента ранения, и слабая надежда, что, может, это еще и не смерть, что, может, действительно еще поживем, — оживала в его сердце. Он видел широкую спину Кройкова, его затылок и на затылке крохотный хохолок, который смешно подрагивал при каждом выстреле пулемета. Он вспомнил, что вот точно так же, только без пулемета, лежали они вдвоем зимой, в снегу, когда Кройков несколько суток возил его, раненого, на лыжах, — лежали и разговаривали о чем-то важном. О чем? Парфентьев долго не мог припомнить, а потом вспомнил.

— Кройков! Помнишь, я тебе о девушке Наде рассказывал?

— Помню.

— Выходит, так я ее и не встретил... Ни разу... За всю жизнь... Вот

Кройков долго молчал и, щура левым глаз, вопзвал короткими стремительными очередями в переползавших дорогу немцев. И вдруг, без всякой видимой связи, сказал:

— Хороший вы человек, товарищ Парфентьев! Фронтовой. Большевик. Побольше бы нам таких, давно бы немцев побили!

— Что? — изумленно отозвался политрук. — Да я и полгода-то па войне не пробыл?!

— Ну, ладно, у каждого есть свои мысли! — уже нехотя отрезал Кройков, потому что и спорить он не любил перед лицом смерти.

Но думать он любил. Он стрелял и думал о том, что вот жил скромный партизан Парфентьев, всю жизнь работал как сталинец, не жалея сил, и когда пришло время, стал драться с врагом как сталинец, до последнего вздоха. И сколько таких людей, воспитанных Советской страной, Сталиным! И что было бы сейчас с Россией, если бы не они!

Солнце склонилось к западу. Но, уже приблизившись к макушкам деревьев, оно опять словно прилипло к небу, озаряя поля желтым светом. Только бы выдержать, не отступить! Отбили сельсовет, амбулаторию, потом немцы опять взяли амбулаторию, и во второй раз рота высадила их оттуда. Но силы роты слабели. Не стало чертежника Прохорова, колхозника Милкина. Убили портного Федосеева — того, что подштопывал всей роте обмундирование и умел пришивать пуговицы, как шито.

Пулемет Кройкова, установленный в подвале избы, контролировал важный подступ к сельсовету, и Петр перенес свой командный пункт в этот подвал. Отсюда ясно была видна улица. Немецкие трупы устлали ее. Они лежали в своих зеленых куртках, с разможженными головами, с развороченными животами, подогнув под себя ноги, вытянув руки с окостеневшими пальцами, — черповолосые, белокурые, рыжие, с окровавленными задками, с пробитыми касками, худые смертной восковой худобой, эти завоеватели.

Горы немецких трупов на улице, по немцы бросают все новые и новые силы. Ох, тяжело, тяжело, тяжело! Уже оставили наши и амбулаторию и сельсовет. Отошли из клуба. Идет бой за здание почты. Вот немцы заняли почту. Нет, не заняли! Кто-то из наших бьет со второго этажа. Так их, так! Теперь заняли, выстрелы умолкли!

Вот уже атакует враг вторую половину деревни — избы за избы.

Нет, так дальше нельзя! Ни шагу назад! Надо держаться, теперь недолго. Солнце уже за деревьями. Темнеет. Держаться, держаться! Ох, тяжело!

Кройков бьет, бьет, бьет из своего пулемета. О чем он думает? Он думает о том, что надо держаться. Ему очень хочется пить, — по где там, разве сейчас напьешься! А хорошо сейчас за деревней, в реке. Плещет вода, холодная вечерняя вода, пахущая илом и деревом. Мир-то какой, как хорошо его придумали, соиздали, разубрали! Жить бы да жить! А тут — помирать. Впрочем, может, еще не помрешь? Нет, где уж там, разве тут не помрешь? Помрешь!

— Только бы хорошо помереть, спокойно... Как коммунист... Вот, как Парфентьев! — думает Кройков.

И, вспоминая опять про Парфентьева, он вспоминает, как Парфентьев работал в глубинке, ездил по колхозам, заведывал райзо, директорствовал в уппермаге и вот так всю жизнь провел в работе и в хлопотах и даже Надю не встретил ни разу — затерял Надю неизвестно где. «Письмо бы той Наде написать, — подумал озабоченно Кройков, стреляя из пулемета, — говорил, мол, о вас перед смертью ваш знакомый Парфентьев... Да адрес! Адреса нет, вот незадача».

Он вспомнил, что от Вари тоже давно нет вестей. Что с ней? Где она?

«Забыла? — подумал он, как думал все это время. — Ну, что же, пусть забыла, только бы ее не убили! А если убьют?» Убьют и его и ее, и кончатся смертью их робкая, страшная, фронтовая любовь.

«А если убьют, — горячо, с верой, всем сердцем подумал он, — так пусть ей будет легкая смерть. Чтoб сразу!»

Петр не сидел на месте. Он каждый раз подползал туда, где разгорались особенно свирепые схватки. «Держаться, держаться!» — вот о чем думал он. Эта мысль захватила все его существо; каждую избу, которую отдавали немцам, он чувствовал всей своей кровью, как чувствуют гибель родимого существа. Он понимал, что пет уже силы держаться, что бойцы и так творят чудеса, он чувствовал, что то плюзорное равновесие, которое поддерживается сейчас только великоленным героизмом, чудесным военным упрямством, вот-вот рухнет, и тогда наступит конец. Он думал, что, может быть, другой командир давно бы отдал приказ отступить, — не благоразумней ли сделать это сейчас ему, Петру? Но он не мог пайти в себе силы отдать этот приказ, как не мог бы убить сына. «Вот сейчас, как только возьмут эту избу, я пачну отступать!» — думал он. Но немцы брали избу, а Петр не только не отступал, а с гореткой бойцов бросался в контратаку. «Держаться, держаться!» — это слово было сильнее его, он не мог произнести никакое другое.

И бойцы держались. Показала себя фронтовая рота котельниковцев! Да! Это были люди, вместе жившие, вместе прошедшие по снегам, вместе отбившие немцев от Москвы, вместе слушавшие рассказы политрука Парфенгева, вместе голодавшие, холодавшие, страдавшие, — фронтовые братья по радостям и печалям, по песням и смерти. И они держались. Немцы вламывались во двор — бойцы стреляли из сеней. Вламывались в сени — бойцы стреляли из комнат, стреляли, забаррикадировавшись столами, кроватями, сундуками, коленями, выломанными дверями, мешками. Стреляли с крыш, из окон, из сараев, с чердаков, с печей, из-под опрокинутых тракторов, из-под вражеских трупов.

Степцело, пемецкий напор ослабел, но, конечно, только на время. Петр приполз к себе на командный пункт, где Кройков попрежнему неустанно бил из пулемета. Петр присел около него, голова кружилась. Он вынул из сумки хлеб и консервы.

— Ты ел? — спросил он Кройкова.

— Нет.

— Так закусем!

— Неохота, — сказал Кройков. Он и на самом деле не хотел есть, хоть и не ел весь день.

— А я поем.

Петр разрезал краюху, открыл консервы. И как только взял кусок в рот, так почему-то в первый раз за весь этот страшный день вспомнил жещу и сына. Он вспомнил, как Яника кричал ему в трубку: «Только не убивайся». и ему до такой степени захотелось повидать сына и попрощаться с ним, что слезы выступили на глазах.

— Кройков, у тебя сын есть?

— Нет.

— А жена?

— Нет.

— Как же ты так? Уже ведь не молодой!

— Не гулял. Работал. Танцев не было,— сурово промолвил Кройков, стреляя из пулемета.

Потом они вдруг почувствовали сильный толчок, опрокинулись навзничь, земля поплыла, и они потеряли сознание: немецкий снаряд попал в избу, обвалился подвальный свод,— Кройкова с Петром придавило.

Петр очнулся не скоро. Когда он открыл глаза, рядом с ним попрежнему сидел Кройков, хоть было это в совсем незнакомой комнате. За окнами слышалась беспешая стрельба, разрывы. И сразу та единственная мысль, которая владела Петром весь день, снова вернулась к нему:

— Держаться, держаться! — пробормотал он, сляясь подняться и вповь падая на скамейку. — Где идет бой? — едва проговорил он.

— Лежите! Откомандовались! Пришла смена, отбили у немцев амбулаторию, теперь берут сельсовет,— сказал полковой врач, и Петр удивленно глядел на него, не узнавая, хоть знал не только его фамилию, но и имя.

— Благодарите Кройкова! — добавил врач, помолчав. — Вытащил вас из-под обломков. Ну-с, придется вам до медсанбата пенючком дойти с Кройковым: рапы у вас с ним легкие, а на лошадах сейчас не проедешь.

И пошли они с Кройковым вдвоем в медсанбат. Они шли, пошатываясь, подерживая друг друга, с окровавленными повязками на руках и на головах. Они шли в теплой июльской темпоте, эти два солдата нового мира. Звездное небо сияло над ними, озаряемое вспышками ракет, резкий ветер охлаждал их горячие, пыльные лица. Под погами у них была мягкая, пыльная земля, та земля, где они родились, простая и великая русская земля, ненаглядная родная земля, за которую шел этот страшный кровавый бой и которая лежала сейчас тихо и сумрачно в лучах недосягаемых звезд. Россия...

Они шли, останавливались, садясь на землю, отдыхали. Они имели право на отдых, они хорошо поработали в этот день. Они дрались за каждый угол русской избы, за каждую пядь, за каждый кирпич. Кто знает, как им было тяжело! Кто поймет, как трудно им было стоять, как медленно двигалось солнце, как ревели вокруг осколки, как дикий огонь хлестал в глаза, как падали один за одним стоявшие рядом бойцы — братья по мыслям и смерти. Кто знает и кто поймет? Только Россия.

Они пришли в медсанбат, и тут только Кройков спохватился, что не знает, где его партбилет. Он хлопал себя по карманам, ахал, растерянно рылся в мешке, — нет партбилета! Потом он вспомнил, что спрятал его в начале боя в задний карман. Извлек: потрепанный, погнувшийся по краям, измазанный набившейся в кармане черной землей. Тщательно продул его, отряхнул, завернул в чистую тряпочку.

— Вот, было совсем партбилет потерял,— облегченно и весело сказал он санитару,— уж искал, искал... Замаялся... Аж потом прошибло!

— Партбилет? — Санитар удивленно поглядел на него. — А ты разве партийный?

— Партийный! — хмуро сказал Кройков. — Ну и что же из этого?

— Да уж непохож! — крикнул санитар и подмигнула медсестре. — Никак не похож! И по виду и по разговору!

— Вид как есть вид, и разговор как есть разговор! — сердито отозвался Кройков.



ЖИЗНЬ

прислал записку: «Выстой!

Продержись!

Умри, но танки на себя прими».

И мы стояли. Мы любили жизнь,

Мы пять атак отбили, чорт возьми!



ДЕВУШКА И РАЗВЕДЧИК

инуя дозоры, по белой пороше

Вела, не захлопнув скрипучую

дверь.

Прощаясь, шепнула: «Вернися,

хороший!»

Ну, как я ее забуду теперь?



НА ПОЛЕ БОЯ

ыл этот летний день на редкость

светел,

А командира уносила ночь.

Спросил он строго: «Отогнали

прочь?» —

«Да, отогнали!» — глухо полжк

ответил.



НОЧЬ В ОКОПЕ

есь день на нас фашисты лезли

скопом.

Ночь пала. Тихо. Не видать ни зги.

Друг! Слышишь? Сталин ходит

по окопам.

Где трудно, там слышны его шаги.



ПАМЯТЬ

усть бахвалится выродок жалкий.

Пусть обида кровавая зла,

Помним мы, после битвы на Калке,

Куликовская битва была.

Л. ПЕРВОМАЙСКИЙ НА ПОЛТАВЩИНЕ

...А в детстве я на Полтавщине жил,
Над тихую рекой Берестовую.

Звенящею степною тишиною
Мой ясный мир до края полон был.
Я помню чистый утренний мотив,
Подхваченный степными голосами,
И ветерок, дрожащий над лесами,
Волнующий разлolve вольных нив.
Охалку солнца полдень уронил
В ложбинку у сверкающей

криницы,

И сказочный певучий мир жар-птицы

Мое ребячье сердце полонил.

А нынче только шелест птичьих крыл

Мне восточкой сдается дорогою
Из мест, где я на Полтавщине жил,
Над тихую рекой Берестовую.

Не малый путь прошел по жизни я,
Легко минуя годы и просторы.

Я восходил на снеговые горы,
Сходил в долины на дымок жилья.

В ненастье я переплывал моря,
И земли открывались мне иные.

Меня вносили коршуны стальные,
Встречала в тучах ранняя заря.

Я видел юг и север и восход,
Чужих краев пленялся я красою,

Но всюду он сиял передо мною,
Подоблачного детства небосвод.

Из дальних странствий я назад спешил,

Измученный тревогой мировую,

В края, где я на Полтавщине жил,
Над тихую рекой Берестовую.

Чем дороги они душе моей,
Степные зори, дождики косые?
За что так жаль мне рошницы босые,
Приют укрытий диких голубей.

Садочки, хаты, улицы в пыли,
Непроходимой, розовой, горячей...
Зачем все это предо мной маячит
В туманной вечереющей дали.

Тут я родился, бегал босиком,
Рос, как трава, и все мне было мило.

И где б я ни был, сердце не забыло,

Что там остался детства добрый дом.

Как он меня от непогод хранил,
Став для меня твердыней вековой
В краю, где я на Полтавщине жил,
Над тихую рекой Берестовую.

Здесь радости не знающая мать
С отцом седым в трудах перебивались.

От сына счастья ждали, не дождались,

Минула жизнь. Они устали ждать.
Как будто сквозь туманное стекло
Я вижу их,— встает передо мною
Все милое, далекое, родное.

И снова мраком все заволокло.
Звон ковыля и запах чебреца
Доносятся ко мне из дали дальней,

И до смерти уставшего отца.
Вовек мне не найти родных могил,
Вовек не окропить водой живую
В краю, где я на Полтавщине жил,
Над тихою рекой Берестовою.

Туна пад камышиною рекой,
Челнок забытый дремлет
на причале.
Доносят песню меркнущие дали.
Вечерний мир... Синеющий покой.
Ползет по склону темных листьев
шум.

Столетний сад листву свою
колышет
И день и ночь не спит и шумно
дышит,
Но в силах передумать трудных
дум.
Он знает все.. Мелькнула тень
в кустах,

Ллаточек промелькнул меж
деревями.

О, сны мои, что мне поделать
с вами!

Горите же, не превращаясь в прах.
Напоминайте мне мой первый пыл
И первый гром любви над головою
В краю, где я на Полтавщине жил,
Над тихою рекой Берестовою.
Чем я припомню, чем согрею вас,
Далеко отлетевшие виденья.
Проходит вечность, торопя

мгновенья
И седною покрывая нас.
Железо меркнет, и ржавеет сталь.

доле?
Затем и сердце стиснулось до боли,
Что мне минувшей молодости жаль.
Жаль первой песни, что в душе
росла,

II в теплоте вскормленная, как
птаха,
Почуяв силу, вырвалась без страха,
Разрезав воздух лезвием крыла.
Она вернется, ей достанет сил.
Она пробьется ночью грозною
В края, где я на Полтавщине жил,
Над тихою рекой Берестовою.

А сам я как? Дойду ли сквозь боп
В край, где любил и набирался
силы?

Увижу ли еще раз берег милый?
Воскреснут ли бывшие сны мои?
Теперь там ночь... Пожаров дымный
след.

Страшны во мраке бедные долины.
Там детства моего стоят руины..
А может статься, и руин уж нет.
Но пусть к руинам — все-таки

пойдем,
Всем самым благородным
в человеке

Мы поклонились им в верности
навек,
И мы вернемся или смерть найдем.
Ступай же с песней, что в бою
сложил,

Оружье стиснув верною рукою,
В края, где ты на Полтавщине жил,
Над тихою рекой Берестовою.

Перевод с украинского
МАРГАРИТЫ АЛИГЕР

АНДРЕЙ ПЛАТОНОВ

ОДУШЕВЛЕННЫЕ ЛЮДИ

(Рассказ о небольшом сражении под Севастополем)

В дальней уральской деревне пели русские девушки, и одна из них пела выше и задушевнее всех, и слезы текли по ее лицу, но она продолжала петь, чтобы не отстать от своих подруг и чтобы они не заметили ее горя и печали. Она плакала от чувства любви, от памяти по человеку, который был сейчас на войне; ей хотелось увидеть его и утешить вблизи него свое сердце, плачущее в разлуке.

А он бежал сейчас по полю сражения вперед, лицо его было покрыто кровью и потом, он бежал, задыхаясь от смертной истомы, и кричал от ярости. У него была поранена пулей щека, и кровь из нее лилась ему за шею и засыхала на его теле под рубашкой. Он хотел рвануть на себе рубашку, но она была спрятана далеко под бушлатом и морской шинелью. Он чувствовал лишь маленькую рану на лице и не понимал, отчего же он столь слабеет и дыхание его не держит тела. Тогда он рванул на себе воротник застегнутого бушлата; ему сейчас некогда было слабеть, ему еще нужно было немного времени, потому что он шел в атаку, он бежал по известковому полю, поросшему сухощавой полынью. Вблизи от него, справа, слева и позади, стремился вперед его товарищи, и сердца их бились в один лад с его сердцем, сохраняя жизнь и надежду против смерти.

Он пал вниз лицом, послушный мгновенному побуждению, тому острому чувству опасности, от которого глаз смежается прежде, чем в него попадет игла. Он и сам не понял вначале, отчего он вдруг приник к земле, но когда смерть стала напевать над ним долгою очередью нунь, он вспомнил мать, родившую его. Это она, полюбив своего сына, вместе с жизнью подарила ему тайное свойство хранить себя от смерти, действующее быстрее помысления, потому что она любила его и готовила его в своем чреве для вечной жизни, так велика была ее любовь.

Пули прошли над ним; он снова был на ногах, повинуясь необходимости боя, и пошел вперед. Но томительная слабость мучила его тело, и он боялся, что умрет на ходу.

Впереди него лежал на земле старшина Прохоров. Старшина более не мог подняться, моряк был убит пулею в глаз — свет и жизнь в нем угасли олно-

временно. «Может быть, мать его люопла меньше меня или она забыла про него», — подумал моряк, шедший в атаку, и ему стало стыдно этой своей печальной мысли. Вчера он говорил с Прохоровым, они курили вместе и вспоминали службу на погибшем пуне корабле. И ему захотелось прилечь к Прохорову, чтобы сказать ему, что он никогда не забудет его, что он умрет за него, но сейчас ему было некогда прощаться с другом, пужно было лишь биться в память его. Ему стало легко, томительная слабость в его теле, от которой он боялся умереть на ходу, теперь прошла, точно он принял на себя обязанность жить за умершего друга, и сила погибшего вошла в него. Он с криком ярости, изгоняющим страх и содрогание тела, ворвался в окоп, в убежище врага, увидел там серое лицо неизвестного человека, почувствовал чуждое злое и сразил врага прикладом в лоб, чтобы он не убивал нас больше и не мучил наш парод страхом смерти. Затем моряк обернулся в тесноте земляной щели и замахнулся винтовкой на другого врага, но не упомянул, — убил он его или нет, и упал в беспамятстве с закатившимся дыханием от взрывной волны. По немецкому рубежу, атакованному русскими моряками, начала сокрушающе бить немецкая артиллерия, чтобы место стало впчым.

Старший батальонный комиссар Поликарпов издали смотрел в бинокль на поле сражения. Он видел тех, кто пал к земле и не поднялся более, и тех, кто превозмог встречный огонь и дошел до щелей врага на взгорьп, чтобы закончить его жизнь штыком и прикладом. Комиссар запомнил, как пал сраженным Прохоров, как приостановился и неохотно опустился на землю младший политрук Афанасьев, и неровно, но упрямо удалялся вперед, на грудь противника. краснофлотец Красносельский, видимо уже раненный, однако стерпевший до конца свою муку.

Правый и левый фланги еще шли, по середину уже не было. Средняя часть наступающего подразделения была вся разбита и легла к земле под огнем; был или не был там кто в живых — комиссар Поликарпов не знал; поэтому он сам решил идти туда, и он пополз по земле вперед.

Позади него был Севастополь, впереди Дуванкойское шоссе. Немного левее шоссе поворачивало и шло прямо па юг, па Севастополь; против закругления шоссе, по ту сторону его лежало польшное поле, а немного далее паходилась высота, па которой теперь были немцы. С высоты врагу уже виден был город, последняя крепость и убежище русского парода в Брыму. Кроме Севастополя, здесь уже не было советской земли, и здесь пужно теперь стоять, обороняя остаток родины и жизни.

Правый и левый фланги атакующей морской пехоты вошли па взгорье, па скат высоты, и скрылись в складках земной поверхности и в окопах противника, запявшись там рукопашным боем. Огонь врага прекратился. Поликарпов поднялся в рост и побежал. Он миновал шоссепную насыпь; за насыпью лежали в водосточном кювете двое моряков, чего-то выжида.

— Вы что же? — крикнул им Поликарпов.

— Мы сейчас, — ответили ему бойцы.

— Чего вы — сейчас? — удивился комиссар. — А ну!.. Ваше подразделение уже достигло противника... Вперед! Марш-марш!

Один боец поднялся.

— Можно вам сказать, товарищ старший батальонный комиссар...

— Скорее! — приказал Поликарпов.

— В бой мы обождем идти, — сказал боец. — Нам надо сначала выяснить...

— Умереть усмереться, — стозвался другой боец, не подпавший с землей. — Не за что нам умирать.

— Успеется умереть? — произнес комиссар. — Изменники, трусы! Вы опоздали уже умереть!

Он поднял на них свой револьвер.

— Положите оружие!

Бойцы сделали резкое движение, желая, видимо, вскинуть винтовки на комиссара. Но Поликарпов упредил их в упор огнем из револьвера, сказав им на прощанье:

— Смерть врагам Советского Союза, смерть изменникам России!

Изменники остались мертвыми на земле, и Поликарпов не запомнил их лиц.

Он побегал по взгорью. Четверо моряков с правого фланга присоединились к Поликарпову и помчались вперед, во след комиссару, пользуясь тишиною на этой еще не остывшей от огня смертной земле. Поликарпов заметил краснофлотца Нефедова, лежавшего замертво на земле. У комиссара тронулось сердце печалью: он вспомнил Нефедова, павшего теперь, а прежде это был веселый, привлекательный, по трудный человек. Он тайно от Поликарпова стал однажды донором, и кровь свою мепал па спирт, угворившись с медицинской сестрой. Но его отважное сердце и верность бойца любую его вину обрашали в невинность. И вот он лежит мертвый, он остался уже позади бегущего вперед комиссара.

Внезапный и одновременный удар огня из нескольких пулеметов раздался со второго рубежа немцев; этот рубеж проходил возле самой вершины высоты. Огонь был жесткий и точный. Поликарпов обернулся к бойцам и сделал им знак, чтобы они залегли, и сам залег впереди них.

Вдобавок к пулеметам начали бить минометы, и общий огонь стал суетливым и неосмысленным. «Зачем столько огня против пятерых? — подумал Поликарпов. — Пугливо, безрасчетно бьют!»

Поликарпов осторожно обернулся лицом к бойцам. Они лежали врозь, правильно, хорошо вжившись в землю, тесно прильнув к пей в поисках защиты от гибели.

До переднего немецкого края, куда ворвались на флангах краснофлотцы, осталось пройти метров сто и обратно до Дуванкойского шоссе было столько же.

Минометный огонь усилился. Маленькие толстые тела мип с воем песлись над телами людей и рвались па куски, словно от собственной внутренней ярости. Оставаться на месте было нельзя, чтобы не умереть бесполезно.

Поликарпов двинулся вперед.

— За мной! Вперед — па злодеев, мать их...

Но мина прошла мимо него и рванулась невдалеке, а пули секли воздух столь часто, что он, казалось, иссыхал и крошился.

Комиссар оглянулся на моряков. Они лежали неподвижно, железная смерть пахала воздух низко над их сердцами, и души их хранили самих себя. Поликарпов почувствовал удар ревущего воздуха в лицо и припик опять к земле; стая тяжелых мип пронеслась над огрядом. Комиссар залег в полоборота к своим людям, чтобы видеть, все ли они целы. Пока они все еще были живы. Один Василий Цибулько что-то не шевелился, лежа ничком. Поликарпов подполз к нему ближе и увидел, что Цибулько тоже начал шевелиться, стало быть, и он был живой. Цибулько изредка приподымал свое лицо от земли и вновь принимал к ней вплотную: опухшие, потрескавшиеся от ветра, уста его

были открыты, он прижимался ими к земле и отымал их, а затем опять жадно целовал землю, находя в том для себя успокоение и утешение. Дашин Одипцов задумчиво смотрел на былинку полыни; она была сейчас мила для него. «Это все хорошо,— решил Поликарпов,— по нам пора вперед», и он снова крикнул краснофлотцам, едва ли услышанный за свистом и грохотанием огня:

— За мной! — и поднялся в рост, обернувшись на мгновение к бойцам.

Все бойцы привстали, однако, близкий разрыв артиллерийского снаряда поверг их снова ппц, и сам комиссар был брошен воздухом на землю.

В третий раз комиссар поднялся безмолвно, но тут же упал, не появив сам причины и озлобившись на враждебную силу, сразившую его. Он скоро очнулся и почувствовал, как холодеет, словно тает и уменьшается теплота его тела, но ум его думал попрежнему просто и жизненно, и комиссар понимал значение своих действий. Он увидел свою левую руку, отсеченную осколком мины почти по плечо; эта свободная рука лежала теперь отдельно возле его тела. Из предплечья шла темная кровь, сочась сквозь обрывок рукава кителя. Из среза отсеченной руки тоже шла кровь помаленьку. Надо было спешить, потому что жизни осталось немного.

Комиссар Поликарпов взял свою левую руку за кисть и встал на ноги, в гул и свист огня. Он поднял над головой, как знамя и как меч, свою отбитую руку, сочащуюся последней кровью жизни, и воскликнул в яростной и удовлетворенной радости своего сердца, погибающего за родивший его народ:

— Вперед! За родину, за вас!

По краснофлотцы уже были впереди него. Они мчались сквозь чашу смертного огня на первый рубеж врага, чувствуя себя теперь свободно и счастливо, словно комиссар Поликарпов одним движением открыл им тайну жизни, смерти и победы.

Поликарпов поглядел им вслед довольными, поблещевшими от слабости глазами и лег на землю в последнем изнеможении.

Двое краснофлотцев дорвались до первых коротких щелей — окопов противника и въехали в них. В одном окопе лежал без памяти, но еще живой Иван Красносельский; возле него валялись опрокинутыми два мертвых немца.

Окопы были достаточно хорошо открыты вглубь, и огонь со второго рубежа противника здесь ощущался безопасно.

— Ну, тут-то мы жители! — сказал Цибулько Одипцову.

— Тут-то, что же! — согласился Одипцов. — Тут ресторан-кафе на Приморском бульваре: только всего.

— А ребята как там устроились? — спросил Цибулько.

Одипцов смотрел наружу.

— Они все в том блиндаже остались, — сказал Одипцов. — Там им удобней.

Цибулько и Одипцов помогли Красносельскому, и тот пришел в память. Кроме ранения в щеку, у него оказалась рана в грудь павылет: нижняя, нательная рубашка присохла к телу в двух местах — возле правого соска груди, куда вошла пуля, и около родинки на спине, где пуля вышла прочь. Цибулько с умением и осторожностью перевязал Красносельского, изорвав на бинты свою рубашку, хотя паружные ранки на теле Красносельского уже вполне сошли и начали заживать, неизвестно было только, что сделала пуля внутри.

— Ну, как ты себя чувствуешь-то? — спросил Цибулько. — После боя в эвакуацию пойдешь или так обойдешься, под огнем отдынешься?

— Теперь мне много легче, — сказал Красносельский. — Плохо было, когда я в атаку шел, тогда истома меня всего брала, а пока до врага дошел — я обветрил, обозлел и выздоровел... Тут вот, я опять устал, пока двоих кончил. А теперь мне ничего. Плохо, когда ранение бывает спервоначалу, когда только в бой вступишь, — воюешь тогда в полсилы. А теперь мне ничего, я отошел от смерти.

Но дышалось Красносельскому тяжело, и пот шел по его лицу.

— Отдыхай! — крикнул ему Цибулько, покрывая голосом стрельбу врага. А мы пока без тебя повоюем.

Цибулько нашел место в тупом конце окопа и стал отсюда поглядывать в сторону неприятеля. Одинцов же вывалил мертвых немцев наружу и прибрал окоп от комьев земли, от осколков, от всего, что не нужно для жизни и боя.

Стало уже вечереть; стрельба немцев стала редкой, они палили сейчас ради одного предостережения, отложив свои главные заботы, видимо, до завтрашнего утра.

— А где наш батальонный комиссар товарищ Поликарпов? — спросил Красносельский.

Одинцов проговорил:

— Ночью уберем его с поля... Такие люди долго не держатся на свете, а свет на них стоит вечю.

— Это точно! — произнес Цибулько. — Вперед, говорит, за родину, за вас!.. За нас с тобой! Родиной для него были все мы, и он умер.

— Он кровью истек? — спросил Красносельский.

— Точно, — сказал Цибулько.

На высоте настала тьма, но Севастополь был светел: над ним сияли четыре люстры осветительных ракет, и по телу города была издали тяжелая артиллерия врага. Но врагу из мрака моря отвечали через город пушки наших кораблей. Цибулько и Одинцов загляделись на город, на блистающую мертвым заувывшим светом поверхность моря, уходящую в затанувший темный мир, где вспыхивали сейчас зарпнцы работающей корабельной артиллерии.

Красносельский лег на дно окопа и задремал для отдыха, чтобы выздороветь окончательно до утреннего боя.

Он дремал, большое тело его отдыхало, но в сознании его непрерывно шел тихий поток мысли и воображения. Он слушал артиллерийскую битву за Севастополь, чувствовал прах, сыплющийся на него со стен окопа от сотрясения земли, и улыбался невесте в далекой уральской деревне; ей там тихо сейчас, тепло и покойно — пусть она спит, а утром пробуждается, пусть она живет долго, до самой старости лет, и будет сыта и счастлива — с ним или с другим хорошим человеком, если сам Красносельский скопчнется здесь ранней смертью, но лучше пусть она будет с ним, а другому человеку пусть достанется другая хорошая девушка или вдова, и вдовы есть ничего...

А в уральской деревне давно уже умолкла песня одиноких девушек; там время ушло далеко за полночь, и скоро нужно было уже подыматься на сельскую работу. Невеста Ивана Красносельского тоже спала, и теперь она не плакала; ее лицо, прекрасное не женской красотой, но выраженном удивлении и невинности было спокойно сейчас, и лишь пажное, кроткое счастье светилось на нем: ей снилось, что война окончилась и эшелоны с войсками едут обратно домой, а она, чтобы стерпеть время до возвращения Вани, сидит и скоро-

на одеяло...

В полночь в окоп пришел из блиндажа политрук Николай Фильченко и краснофлотец Юрий Паршин. Фильченко передал приказ командования: нужно занять рубеж на Дувапкойском шоссе, потому что там насыпь, там преграда прочнее, чем этот голый скат высоты, и там нужно держаться до гибели врага; кроме того, до рассвета следует проверить свое вооружение, сменить его на новое, если старое не по руке или неисправно, и получить боепитание.

Краснофлотцы, отходя через пыльное поле, нашли тело комиссара Полкарпова и унесли его, чтобы предать земле от поругания врагом, от сокрушения беспомощных костей человека огнем и танками. Чем еще можно выразить любовь к мертвому безмолвному товарищу?

Политрук Николай Фильченко оставил командование отрядом на Даниила Одинцова и пошел в тыл, к Севастополю, на пункт снабжения, чтобы оттуда поскорее доставили боепитание.

Осветительные ракеты медленно и непрерывно опускались с неба, сменяя одна другую; их и сейчас было четыре люстры — четыре комплекта ракет под каждым парашютом. Их быстро и точным огнем расстреливали на погашенные наши зенитные пулеметы, но противник бросал с неба новые светильники взамен угасших, и бледный грустный свет, похожий на свет свидения, постоянно освещал город и его окрестности — море и сушу.

На краю города, в одном общежитии строительных рабочих, все еще жили ~~закне-то~~ мирные люди. Фильченко заметил женщину, вешающую белье возле входа в жилище, и двоих детей, мальчика и девочку, играющих во что-то на светлой земле. Фильченко посмотрел на часы; был час ночи. Дети, должно быть, выспались днем, когда артиллерия на этом участке работала мало, а ночью жили и играли нормально. Политрук подошел к низкой каменной ограде, огораживающей двор общежития. Мальчик лет семи рыл совком землю, готовя маленькую могилу. Около него уже было небольшое кладбище — четыре креста из щепок стояли в изголовьи намогильных холмиков, а он рыл пятую могилу.

— Ты теперь большую рой! — приказала ему сестра; она была постарше брата, лет девяти-десяти, и разумней его. — Я тебе говорю — большую нужно — братскую. У меня покойников много, народ помирает, а ты одна рабочая сила, ты не успеешь рыть... Еще рой, еще, побольше и поглубже — я тебе что говорю!

Мальчик старался уважить сестру и быстро работал совком в земле.

Фильченко тихо наблюдал эту игру детей в смерть.

Сестра мальчика ушла домой и скоро вернулась обратно. Она несла теперь что-то в подоле своей юбочки.

— Не готово еще? — спросила она у трудящегося брата.

— Тут копать твердо, — сказал брат.

— Эх ты, румын-лодырь, — опорочила брата сестра и, выложив что-то из подола на землю, взяла у мальчика совок и сама начала работать.

Мальчик поглядел — что принесла сестра. Он поднял с земли мало похожее туловище человека, величиною вершка в два, слепленное из глины. На земле лежали еще шестеро таких человечков, один был без головы, а двое без ног — они у них отгрошились.

— Они плохие, их не бывает, — с грустью сказал мальчик.

— Нет, такие тоже бывают, — ответила сестра. — Их танками пораздавило: кого как.

Фильченко пошел далее по своему делу. «И мои две сестренки тоже играют где-нибудь теперь в смерть на Украине, — подумал полнотрук, и в душе его тронулось привычное горе, старая тоска по погибшему дому отца. — Но, должно быть, они уже не играют больше, они сами мертвые... Пужно отучить от жизни тех, кто научил детей играть в смерть. Я их сам отучу от жизни!..»

За насыпью Дуванкойского шоссе четверо моряков рыли могилу для комиссара Поликарпова.

Одинцов остановился работать.

— Комиссар говорил, что мы для него — все, что мы для него родина. И он тоже родина для нас. Не буду я его в землю закапывать!..

Одинцов бросил саперную лопатку и сел.

— Это неудобно, это совестно, — говорил Одинцову Цибулько. — Надо же спрятать человека, а то его завтра огонь на куски растаскает. Потом мы его обратно выроем — это мы его спрячем пока, до победы!.. Неудобно, Данил!

Но Одинцов не захотел больше работать. Паршин и Цибулько отрыли неглубокое ложе у подножья насыпи и положили туда Поликарпова лицом вверх, а зарывать его землей не стали. Они хотели, чтобы он был с ними и чтобы они могли посмотреть на него в свой трудный час. Мертвую отбитую левую руку моряки поместили вдоль груди комиссара и положили поверх нее, как на оружие, правую руку.

После того Одинцов приказал Паршину и Цибулько спать до рассвета. Красносельский как выздоравливающий спал уже сам по себе и всхрапывал во сне, дыша запахом сухих крымских трав. Паршин и Цибулько легли в уютную канаву у подошвы откоса, поросшую мягкой травой, свернулись там по-детски и, согревшись собственным телом, сразу уснули.

Одинцов остался бодрствовать один. Почь шла в редкой артиллерийской перестрелке; над городом сиял страшный, обнажающий свет врага, и до живой утренней зари было еще далеко.

Наутро снова будет бой. Одинцов ожидал его с желанием: все равно нет жизни сейчас на свете и надо защитить добрую правду русского народа нерушимой силой солдата. «Правда у нас, — размышлял краснофлотец над спящими товарищами. — Пам трудно, у нас болит душа. А фашисту легко, ему кажется жизнь смутной, не то есть она, не то она ему снится, поэтому он действует для одного своего удовольствия — то пьян напьется, то девушку покалечит, то в меня стреляет. А нас учили жить серьезно, нас готовили к вечной правде, мы Ленина читали. Только я всего не прочитал еще, прочту после войны. Все равно — правда есть, и она написана у нас в книге, она останется, хотя бы мы все умерли. А этот бледный огонь врага на небе и вся фашистская сила — это наш страшный сон, в нем многие помрут, не очнувшись, по человечеству преснется, — и будет опять хлеб у всех, люди будут читать книги, будет музыка и тихие солнечные дни, с облаками на небе, будут города и деревни, люди будут опять простыми и душа их станет полной». И Одинцову представилась вдруг пустая душа в живом, движущемся человеке, — и этот человек сначала убивает всех живущих, а потом терзает насмерть самого себя, потому что ему нет смысла для существования и он не понимает, что это такое, он пребывает в постоянном ожесточенном беспокойстве.

Одинцов стоял один на откосе шоссе и глядел вперед, в смутную сторону

врага. Он оперся на винтовку, поднял воротник шинели и думал и чувствовал все, что полагается пережить человеку за долгую жизнь, потому что не знал, долго или коротко ему осталось жить, и на всякий случай обдумывал все до конца.

Потом воображение, замена человеческого счастья, зародилось в сознании Одицова и начало согревать его. Он видел, как он будет жить после войны: он окончит музыкальную школу при Фilarмонии, где он учился до войны, и станет музыкантом; он будет пианистом, и если сумеет, то и сам начнет сочинять новую музыку, в которой будет звучать потрясенное войной и смертью сердце человека, в которой будет изображено новое священное время жизни.

Одицов посмотрел на товарищей; спит Цибулько и Паршин; спит Красносельский, раненный в грудь насквозь; навеки уснул комиссар. Плохо им спать на жесткой земле, не для такого мира родили их матери и вскормил парод, не для того, чтобы кости отрывали от тела их живых детей. Одицов вздохнул: много еще работы будет на свете и после войны, после нашей победы, если мы хотим, чтобы мир стал святым и одушевленным, если мы хотим, чтобы сердце красноармейца, разорванное сталью на войне, не обратилось в забытый прах...

Еще рассвету прибыли на машине политрук Фильченко и полковой комиссар Лукьянов; они привезли с собой боеприпасы, вооружение и пищевые продукты.

Лукьянов осмотрел позицию и увез с собой в город тело Поликарпова, пообещав на утро снова приехать на этот участок. Фильченко велел Одицову лечь отдохнуть, потому что невыспавшийся боец это не работник на войне.

— Или ляжь! — сказал Фильченко. — В шубе — не пловец, в рукавицах — не косец, а сонный — не боец...

Одицов лег в капаву возле разоспавшегося, храпящего Красносельского, приспособился к земле и уснул; он не очень хотел спать, но раз надо было, он уснул.

Рассвело. Николай Фильченко переложил своих бойцов поудобнее, чтобы у них не затекли во сне руки, ноги и туловища; когда он их ворочал, они бормотали ему ругательства, но он укрощал их:

— Так удобней будет, голова! Мать во сне увидишь.

Он и сам бы сейчас, хоть во сне, поглядел на свою мать и дорого бы дал, чтобы обнять еще раз ее исхудавшее тело и поцеловать ее в плачущие глаза.

Наступила тишина. Далекие пушки неприятеля и наших кораблей, и до того уже бывшие редко, вовсе перестали работать, светильники над Севастополем угасли, и стало столь тихо, что трудно было ушам, и Фильченко слышала плеск волны о мол в бухте. Но в этом безмолвии шла сейчас напряженная скорая работа мастеровых войны — механиков, молотеров, слесарей, заправщиков, паладчиков — всех, кто воодушевляет боевые машины в работу.

Фильченко поглядел на товарищей. Они раскинулись в последнем сне, перед пробуждением. У всех у них были открыты лица, и Фильченко вглядывался отдельно в каждое лицо, потому что эти люди были для него на войне всем, что необходимо для человека и чего он лишен: они заменяли ему отца и мать, сестер и братьев, подругу сердца и любимую книгу, они были для него всем советским пародом в маленьком виде, они поглощали всю его душевную силу, ищущую привязанности.

По-детски, открытым ртом, дышал во сне Василь Цибулько.

Он был из трактористов Днепропетровской области, он участвовал уже в нескольких боях и действовал в бою свободно, но после боя или в тихом проме-

лутке, когда битва на время умолкала, Цибулько бывал утрюм, а однажды он плакал. «Ты чего, ты боишься?» — сердито спросил его в тот раз Фильченко. «Нет, товарищ политрук, я ничем не боюсь, — ответил Цибулько, — это я почувствовал сейчас, что мать моя любит и вспоминает меня; это она бьется, что я тут помру — п мне ее жалко стало!» В своем колхозе, рассказывал Цибулько, он устранивал разные предметы и способы для облегчения жизни человечества: там ветряная мельница пакачивала воду из колодца в чап; там на огородах и бахчах Цибулько установил страшные чучела, действующие тем же ветром, — эти чучела гудели, ревели, размахивали руками п головами — и от них не было житья не только хищным птицам, но и людям педоставало покоя; наконец, Цибулько пачал кушать в вареном виде одну траву, которая в его местности спокон века считалась негодной для нищп; и он от той травы не заболел и не умер, а наоборот, — у него стала прибавляться сила, пз чего появилось убеждение, что та трава на самом деле есть полезное питание.

Цибулько обо всем любил соображать своей особенной головой; он чувствовал мир как прекрасную тайну п был благодарен и рад, что он родился жить именно здесь, на этой земле, будто кто-то был волеп поместить его для существования как сюда, так и в другое место.

Фильченко вспомнил, как они лежали рядом с Цибулько четыре дня тому назад в известковой яме. На их подразделение пили три немецких тапка. Цибулько вслушался в ход машин и уловил слухом ритмичную работу дизельмоторов. «Николай! — сказал тогда Цибулько, — слышишь, как дизеля туго и ровно дышат? — Вот где сейчас мощность и компрессия!» Василий Цибулько наслаждался, слушая мощную работу дизелей; он понимал, что хотя фашисты едут на этих машинах убивать его, однако, машины тут не при чем, потому что их создали свободные гени мысли п труда, а не эти убийцы тружеников, которые едут сейчас на машинах. Не помня об опасности, Цибулько высунулся пз известковой пещеры, желая воочью разглядеть машины; он имел братское отношение ко всем машинам, которые где-либо только существуют на свете, убежденно веря, что все они — за нас, то есть за рабочий класс, потому что рабочий класс есть отец всех машин п механизмов.

Теперь Цибулько спал; его доверчивые глаза, вглядывающиеся в мир с удивлением п добрым чувством, были сейчас закрыты; темные волосы под бескозыркой слиплись от старого дневного пота, и похудевшее лицо уже не выражало счастливой юности — щеки его ввалились п уста сомкнулись в постоянном напряжении; он каждый день стоял против смерти, отстраняя ее от своего народа.

— Живи, Вася, пока не будешь старик, — вздохнул политрук.

Иван Красносельский до флота работал по сплаву леса на Урале; он был плотовщиком. Воевал он исправно п по-хозяйски, словно выполняя тяжелую, но необходимую п полезную работу. В промежутках между боями п на отдыхе он жил молча п с товарищами водился без особой дружбы, без той дружбы, в которой каждое человеческое сердце соединяется с другим сердцем, чтобы общей большой силой сохранить себя п каждого от смерти, чтобы запясть силу у лучшего товарища, если дрогнет чья-либо одинокая душа перед своей смертной участью.

Фильченко догадывался, почему Красносельский не пуждался в такой дружбе. Он был привязан к жизни другою силой, не менее мощной, — его хранила любовь к своей невесте, к далекой отсюда девушке на Урале, к странному тихому существу, питавшему сердце моряка мужеством п спокойствием. Фильчен-

ко давно заметил, еще до войны, что Красносельский, бывая на берегу, никогда не гулял в Севастополе с девушками, редко и мало пил вино, не предавался озорству молодости, — не потому, что не способен был на это, а потому, что это его не занимало и не утешало, и он тосковал в таких обычных забавах. Он жил погребенным в счастье своей любви: им владело постоянное, но однократное чувство, которое невозможно было заменить чем-либо другим или разделить, или хотя бы на время отвлечься от него. Этого сделать Красносельский не мог, и воевал он с яростью и ровным упорством, видимо, потому, что хотел своим воинским подвигом приблизить время победы, чтобы начать затем свершение другого подвига — любви и мирной жизни.

Красносельский был человек большого роста, руки его были работоспособны и велики, туловище развито и обладало видимой физической мощью, — он бы должен свирепствовать в жизни, но он был кроток и терпелив; одна нежная, невидимая сила управляла этим могучим существом и регулировала его поведение с благородной точностью.

Фильченко задумался, наблюдая Красносельского: велика и интересна жизнь и умирать нельзя.

Юра Паршин был четыре раза ранен: два раза тяжело, и не умер. Небольшой, средней силы, веселый и живучий, способный пойти на любую беду ради своего удовольствия, он допускал свою гибель лишь после смерти последнего гада на свете. На корабле, еще в мирное время, он дважды сваливался с борта в холодную осеннюю воду, пока не было понято, что он это делал нарочно, ради того чтобы корабельный врач выдавал ему для согревания спирт, потому что человек продрог. Паршин знал и любил многих своих севастопольских подруг, и они тоже любили его в ответ и не ревновали друг к другу, что было странно для женской натуры. Однако тайна привлекательности Юры Паршина была проста, и понимание ее увеличивало симпатию к нему. Она заключалась в доброй щедрости его души, в беспощадном отношении к самому себе ради любого милого ему человека и в постоянной веселости, которой сопровождал он расточение своей жизни. Он мог принять вину товарища на себя и отбыть за него наказание без ущерба для своей души и здоровья; он мог выручить подругу, если она нуждалась в его помощи.

Однажды, будучи в командировке в Феодосии, он познакомился с местной девушкой; она, почувствовав в нем истинного человека, попросила Паршина сделать ей одолжение: жениться на ней, но только не в самом деле, а нарочно; ей так нужно было, потому что она стыдилась своего материнства от любимого человека, который оставил ее и уехал неизвестно куда, не совершив с ней формального брака. Паршин, конечно, радостно согласился сделать такое одолжение молодой женщине. В следующий его приезд в Феодосию была сыграна свадьба; после свадьбы он просидел всю ночь у постели своей нарочитой жены, всю ночь он рассказывал ей сказки и были, а на утро поцеловал ее, как сестру, в лоб и протянул ей руку на прощанье. Но у женщины, слушавшей его всю ночь, тронулось сердце к своему ложному мужу, она уже увлеклась им, и она задержала руку Паршина в своей руке. «Оставайтесь со мной!» — попросила она. «А надолго?!» — спросил моряк. «Навсегда», — прошептала женщина. «Нельзя, я непутевый», — отказался Паршин, и ушел навсегда.

Видя в Паршине его душу, люди как бы ослабевали при нем, перед таким открытым и щедрым источником жизни, светлым и не ослабевающим в своей расточающей силе, и обычные страсти и привычки оставляли их: они забывали

ревновать в любви, потому что их сердцу и телу стало стыдно своей скупости, они пренебрегали расчетливым разумом, и новое легкое чувство существования зарождалось в них, словно высшая и простая сила на короткое время касалась их и влекла за собой.

Чем занимался Юрий Паршин до войны и до призыва во флот, трудно было понять, потому что он говорил всем по-разному и даже одному человеку два раза не повторял одного и того же. Пстипа о самом себе его не интересовала, его интересовала фантазия, и в зависимости от фантазии он сообщал, что он был токарем на ленинградском металлургическом заводе (и он действительно знал токарное дело), либо затейником в парке культуры имени Кирова, либо коком на торговом корабле. Служебные анкеты он заполнял с той же неточностью, чем вызывал нормальные недоразумения.

На войне Паршин чувствовал себя свободно и страха смерти не ощущал. Его сердце было переполнено жизненным чувством, и сознание запято вымыслом, и это его свойство служило ему как бы заградительным огнем против переживания опасности. Смерти некуда было вместиться в его заполненное, напряженное своим счастьем существо.

Четыре раза он был ранен. Четыре раза врывается к нему в тело сталь, но не уживалась там, и моряк четыре раза оживал вновь без следа смерти. Из этого Паршин убедился, что он обязательно уцелеет до конца войны и увидит нашу победу. У него была еще мечта — самому, лично, в рукопашную сразиться с последним гадом на свете. Он полагал, что последний гад есть Гитлер, поскольку Гитлер по военному званию ефрейтор, а Паршин к концу войны тоже успеет дослужиться до звания старшины или ефрейтора, то это будет битва двух мировых ефрейторов. Все соберутся тогда на то поле последнего сражения, и они будут глядеть на двух бойцов с захватывающим интересом. Так мечтал Паршин, потому что его голова никогда не могла быть пустой и не нуждалась в отдыхе.

Политрук Фильченко смотрел сейчас на скорчившегося от прохлады, но улыбающегося в неизвестном свидении Паршина.

— Жалко вас всех, чертей! — сказал политрук вслух. — Что ж! Если мы погибнем, другие люди рожаясь, и не хуже нас. Была бы родина, родное место, где могут рожаться люди...

Фильченко представлял себе родину, как поле, где растут люди, похожие на разноцветные цветы, и нет среди них ни одного, в точности похожего на другой; поэтому он не мог ни понять смерти, ни примириться с ней. Смерть всегда уничтожает то, что лишь однажды существует, чего не было никогда и не повторится вовеки веков. И скорбь о погибшем человеке не может быть утешена. Ради того он и стоял здесь, — ради того, чтобы остановить смерть, чтобы люди не узнали неутешимого горя. Но он не знал еще, он не испытал, как пужно встретить и пережить смерть самому, как нужно умереть, чтобы сама смерть обессилела, встретив его...

Политрук оглянулся. К насыпи, к их позиции мчалась машина. Где-то далеко ударила залпом батарея врага; ей ответили из Севастополя. Начинаясь рабочий день войны. Солнце осветило вершины высот; нежный свет медленно распространялся по травам, по кустарникам, по городу и морю, чтобы все продолжало жить. Пора была поднимать людей.

Моряки встали с земли, крихтя, сояя, бормоча разные слова, и стали очищать одежду от сора и травы.

— Разобрать оружие и боеприпасы по рукам! — приказал Фильченко.

Моряки разобрали по рукам доставленное ночью оружие и снаряжение, винтовки, патроны, гранаты, бутылки с зажигательной смесью, и приладили их к себе; некоторые же оставили свои старые винтовки, как более привычные. Цибулько откатил в сторону новый пулемет и сел за его пастройку в работу.

Старший батальонный комиссар Лукьянов подъехал на машине. Краснофлотцы выстроились.

— Здравствуйте, товарищи! — поздоровался комиссар.

Моряки ответили. Лукьянов поглядел в их лица и помолчал.

— Резервы подойдут позже, — сказал комиссар, — они выгрузились ночью и сейчас сваряжаются. Вы сейчас ударные отряды авангарда. Позади вас — рубеж с нашей пехотой. Ожидается танковая атака врага. Сумеете сдержать, товарищи? Сумеете не пропустить врага к Севастополю?

— Как-нибудь, товарищ старший батальонный комиссар! — ответил Паршин.

Комиссар строго поглядел на Паршина; однако, он увидел, что за шутливыми словами краснофлотца было серьезное намерение, и комиссар воздержался от осуждения краснофлотца.

— Надо сдержать и раскрошить врага! — произнес комиссар. — Позади нас Севастополь, а впереди — вся наша большая вечная родина. Враг, как волосяпой червь, лезет в глубь нашей земли, без которой нам нет жизни, — так рассечем врага здесь огнем! Будем драться, как спокон веку дрались русские — до последнего человека, а последний человек до последней капли крови и до последнего дыхания!

Комиссар поговорил еще отдельно с политруком Фильченко, сообщил ему нужные сведения и инструкцию командования, а затем предложил краснофлотцам хорошо и надолго покушать.

— Еда есть великое оружие солдата! — сказал комиссар Лукьянов на прощание и уехал, забрав две старые винтовки.

Краснофлотцы взялись за пшеничный хлеб, за колбасу и консервы.

— После такой еды землю пахать хорошо! — выразил свое мнение Цибулько. — Цепцу можно легко поднять и не умориться!

— Щей нехватает, — сказал Одинцов, — и горячей говядины.

— Сейчас удобно было бы газу в сердце дать: водочки выпить, — пожалел Паршин.

— Обойдешься, сейчас не свадьба будет, — осулил Паршина Красносельский.

— Пшь ты! — засмеялся Паршин. — Он обо мне заботится... Ну ладно, впно не в бессрочный отпуск ушло, после войны я, Валя, на твоей свадьбе буду гулять и тогда уже хвачу из бутылки!

— У нас на Урале не из рюмок пьют и не из бутылок, — ноянил Красносельский. — У нас из ушатов хлебают, у нас не по мелочи кушают...

— Поеду вековать на Урал, — сразу согласился Паршин.

После завтрака Николай Фильченко сказал своим друзьям:

— Товарищи! Наша разведка открыла командованию замысел врага. Сегодня немцы пойдут на штурм Севастополя. Сегодня мы должны доказать, в чем смысл нашей жизни, сегодня мы покажем врагу, что мы олухотворенные люди, что мы олухотворены Лениным и Сталиным, а враги наши только пустые шкурки от людей, набитые страхом перед тираном Гитлером! Мы их раскрошим, мы протараним отродье тирана! — воскликнул воодушевленный, онаящий силой Николай Фильченко.

— Есть таранить тирана! — крикнул Паршин.

фильченко прислушался.

— Приготовиться! — приказал политрук. — По местам! Морские пехотинцы заняли позиции по откосу шоссе — в окопах и щелях, открытых стоявшим здесь прежде подразделением.

По ту сторону шоссе, на полянном поле и на скате высоты, где гнездились немцы, сейчас было пусто. Но откуда-то издали доносились ровный, еле слышимый шорох, словно шли по песку тысячи детей маленькими ножками.

— Пиколой, это что? — спросил у Фильченко Цибулько. — Должно быть, новую какую-нибудь заразу придумали фашисты...

— Поглядим! — ответил Фильченко. — Фокус какой-нибудь: на испуг или на хитрость рассчитывают, а всерьез они думать не могут...

Шорох приближался, он шел со стороны высоты, по склоны ее и полянное поле, прилегающее к взгорью, были непреклонно пусты.

— А вдруг фашисты теперь невидимыми стали! — сказал Цибулько. — Вдруг они вещество такое изобрели, — намазали им и пропал из поля зрения!

Фильченко резко окоротил бойца:

— Ложись в щель скорей и помри от страха!

— Да это я так сказал, — произнес Цибулько. — Я подумал — может, тут новая техника какая-нибудь... Техника не виновата: она наука!

— Пускай хоть они видимые, хоть невидимые, их крошить падо врах одинаково, — сказал свое мнение Паршип.

— Без ответа помирать нельзя, — сказал Красносельский. — Не приходится!

— Стоп! Не шуми! — приказал Фильченко.

Он всмотрелся вперед. По склонам вражеской высоты, примерно на половине ее расстояния от подошвы до вершины, справа и слева поднялась пыль. Что-то двигалось сюда с тыльной стороны холма, из-за плеч высоты.

Краснофлотцы, стоя в рост в открытой земле, замерли и глядели через бровку откоса, через шоссе, на ту сторону.

Паршип засмеялся.

— Это овцы! — сказал он. — Это овечье стадо выходит к нам из окружения...

— Это овцы, но они идут к нам не зря, — произнес Фильченко.

— Не зря: мы горячий шашлык будем есть, — сказал Одинцов.

— Тихо! — приказал политрук. — Внимание! Товарищ Цибулько: пулемет!

— Есть пулемет, товарищ политрук! — отозвался Цибулько.

— Всем — винтовки!

— Есть винтовки! — отозвались краснофлотцы.

Овцы двумя ручьями обтекли высоту и стали спускаться с нее вниз, соединившись на полянном поле в один поток. Стадо направлялось прямо на Дувацкойское шоссе. Уже слышны были овечьи напуганные голоса; их что-то беспокоило, и они спешили, семеня худыми ножками.

Одна овца вдруг приостановилась и оглянулась назад, на нее набежали задние овцы, получилось теснение, из овечьей тесноты привстал человек в серо-зеленой шинели и замахнулся на животных оружием.

«Это умная овца!» — подумал Фильченко про ту, которая остановилась, и решил действовать.

— Цибулько, пулемет по гадам среди нашей скотины!

— Вижу! — откликнулся Цибулько.

Теперь Фильченко увидел среди овец еще шестерых немцев, бежавших согнувшись в тесноте овечьей отары.

— Цибулько!

— Есть, ясно вижу цель, — ответил пулеметчик и затрепетал от нетерпения у пулеметной машины.

— Цибулько! — крикнул политрук. — Зря овец не губи, они племенные. Огонь!

Пулемет заработал. Струя пуль задела в воздухе. Два врага сразу поникли, и задние овцы со спокойным изяществом перепрыгнули через павших людей.

Стадо приблизилось почти вплотную к противоположному откосу насыпи. Теперь немцев легко было различить среди плотной массы овечьего стада. Их было человек пятьдесят. Некоторые били с хода из автоматов по насыпи шоссе, другие молча стремились вперед.

Фильченко приказал Красносельскому стать вторым номером у пулемета, а сам вместе с Паршиным и Одинцовым открыл точный, прицельный огонь из винтовок по немецким автоматчикам.

Пулемет Цибулько работал яростно и полезно, как сердце и разум его хозяина. Половина врагов уже легла к земле на покой, но еще человек двадцать или больше немцев были целы; они успели добежать до противоположного откоса насыпи и залегли там; теперь их пулеметом или винтовками достать было невозможно. А тут еще набежали овцы, которые шли теперь прямо по головам краснофлотцев, дрожа и жалобно, по-детски, вскрикивая от страшной жизни среди человечества.

«Э, харчи хорошие гонят немцы в Севастополь!» — успел подумать Паршин.

— Цибулько! — крикнул Фильченко. — Дай нам дорогу вперед — через шоссе! Огонь по овцам!

Цибулько пачал сечь овец, переваливающихся через дорожную насыпь на подразделение. Ближние, передние овцы пали, а бежавшие за ними сообразили, где беда, и бросились по сторонам, в обход людей.

— Всем — гранаты! — крикнул Фильченко. — Вперед! — он бросился с гранатой через шоссе и ударил гранатой по немцам; через немцев еще бежали запуганные, пылящие, сеющие горошины овцы, и немцы их рубили палашами, чтобы освободиться от этих чертей, которых они взяли себе в прикрытие.

Моряки сработали гранатами быстро; они смешали кровь и кости овец с кровью и костями своих врагов. Когда овцы поредели, один немец приподнял свою голову с земли, но Красносельский схватил отсеченную овечью голову и одним ударом раздробил две головы — овцы и человека.

Краснофлотцы вернулись на свою позицию.

— Ну как? — спросил Цибулько у Фильченко.

— Пустяк. — сказал политрук. — Больше с овцами дрались.

— Какой это бой! — вздохнула Паршин. — Это ничто.

— Кури помалу, — разрешил Фильченко.

Красносельский сволок с откоса битых овец в одно место, чтобы ночью их увезли в город людям на пищу.

Из-за высоты по шоссе и по рубежу, что проходил позади моряков, начала бить артиллерия врага. Пушки били неспешно, нечасто, по пастойчивой долбежкой, не столько поражая, сколько прощупывая линии советской обороны; и немцы, вероятно, ожидали получить ответ, потому что время от времени их артиллерия умолкала, словно слушая и размышляя. Но оборона не отвечала, и немцы изредка били опять, как бы допрашивая собеседника.

морской нехоты — и расположил его на флапгах подразделения Фильченко, оставив инициативу на этом участке за Фильченко.

Лукьянов выслушал сообщение политрука о небольшом бое с немцами среди овец и сказал свое заключение:

— Ну что ж. Это их боевая разведка была. Бой будет позже.

Командар ушел. Вскоре немецкая артиллерия перешла на боевой, ураганный режим огня.

— Пустошь делают впереди себя, — понял Фильченко. — Значит, скоро будут танки.

Он увел свое подразделение в блиндаж, покрытый всего одним пакатом топких бревен, но здесь все же было тише. Сам же Фильченко остался у входа в блиндаж, чтобы поглядывать через насыпь и следить за выходом танков.

Шоссе и его откосы выпахивали снарядами до материковой породы; трупы овец и немцев калечились посмертно, и то засыпались землей на погребение, то вновь обнажались наружу.

Левый склон высоты заняли у подножья, где высота переходила в пологое солончаковое поле. Артиллерийский огонь не ослабевал. Темное тело переднего танка вышло на пологое поле, за ним шли еще машины. Они шли вперед под навесом артиллерийского огня.

Фильченко укрылся в блиндаж от близкого разрыва, закидавшего его черной гарью и землей. «Надо уцелеть! — подумал он, — сейчас артиллерия смолкнет».

Когда пушки умолкли, Фильченко вывел подразделение на позицию. Танки подходили к насыпи; их было пока что семь: по полторы машины, без малого, на душу бойца.

— Вася! — крикнул Фильченко в сторону Цибулько. — Пулемет — по смотровым щелям первой машины! Красносельский, Паршин — бутылки и гранаты! Действуйте! Огонь!

Цибулько дал первую очередь, вторую, — но танк бушевал всею своей мощностью и шел вперед на моряков. Паршин и Красносельский поползли через насыпь на ту сторону дороги.

— Точней огонь, пулеметчик! — крикнул Фильченко.

Цибулько прицелился, нащупал цель пулевой струей, с ошутимостью своей продолженной руки, и впился свинцом в смотровую щель машины. Танк круто рванулся в поворота вокруг себя на одной гусенице и замер на месте: он подчинился смертному судорожному движению своего водителя. Возле танка встал на мгновение в рост Красносельский и метнул в него бутылку: черный смолистый дым поднялся с тела машины, затем из глубины дыма появился живой огонь и занялся высоким жарким пламенем.

Цибулько бил из пулемета уже по другим танкам. Сначала он давал короткими прицельными, ошутывающими очереди, затем впивался в щель насмерть длинной жалающей струей. Красносельский и Юра Паршин действовали за шоссеиной насыпью. Они ютились в воронках, за комьями разрушенной земли, за телами навших овец, вставали на момент и метали бутылки и гранаты в ревущие механизмы.

Фильченко и Одинцов ожидали за насыпью своего времени. Сразу задымили густым дымом, а затем засветились сияющим пламенем еще два танка. Осталось в живых четыре.

пехоту.

— Пора! — крикнул Фильченко. — Вася! По живой силе — огонь!

Цибулько возил струю огня в пехоту противника, сразу залегшую в землю.

Фильченко и Одинцов перебросятся через насыпь. Но Красносельский и Паршин опередили их; они на животах уже подползали к залегшей пехоте врага и, чуть привстав, метнули в нее первые гранаты.

Четыре уцелевших танка молча пошли в отход; они не открыли огня, потому что немецкая пехота и русские матросы неравномерно распределились по полю — и огнем с танков можно уложить своих.

Фильченко и Одинцов с ходу запустили гранаты по темным телам пехотинцев. Пулемет Цибулько не давал врагам возможности подняться: когда они приподымались, Цибулько их бил точным секущим огнем; если они шевелились или ползли, Цибулько переходил на «штопку», то есть воззал огонь под углом в землю сквозь тело врага. Но у пулеметчика была трудная задача: он должен не повредить своих, сблизившихся на смыкание с противником.

Немцы, однако, тоже соображали кое-что: они поняли, что лучше на время отойти, чем до времени умирать. Человек тридцать сразу вскочили с земли, жалобно закричали, как кроткие люди, и побежали вослед танкам. Фильченко и Одинцов бросили в них гранаты, потом добавили по ним из винтовок, и человек десять пали обратно на землю. Остальные пехотинцы — с полсотни — подняться уж не могли никогда. Цибулько дал последнюю долгую очередь по бегущим и выщелучил из них еще семерых врагов, и по ним еще били с флангов.

Краснофлотцы возвратились на свою позицию в дорожной насыпи, уже обжитую и привычную, как дом. Они возвратились утомленные, как после трудной работы, и тотчас задремали, пользуясь наступившей тишиной в воздухе и на земле. На посту остался один Фильченко.

Через полчаса пад полынным полем и пад шоссеиной дорогой низко пронесли немецкие штурмовики. Они одновременно обстреливали землю из пулеметов и бомбили ее, и без того всю пораненную. Дремавшие в окопе моряки не поднялись; бодрствующий Фильченко не стал их будить: деть еще долго будет идти, и бой еще будет, пусть они отдыхают пока.

После прохода самолетов опять настала тишина. И в тишине кто-то окликнул Фильченко по имени.

Вдоль насыпи бежал корабельный кок Рубцов. Он с усилием нес в правой руке большой сосуд, окрашенный в невзрачный цвет войны; это был полевой английский термос.

— А я пищу доставил! — кротко и тактично произнес кок. — Разрешите угостить бойцов, товарищ политрук!

— Разрешаю, — значительным голосом сказал Фильченко.

— Благодарю вас, — поклонился кок. — Где прикажете накрыть стол под горячий, огненный шашлык? — Мясо вашей заготовки!

— Когда ж ты успел шашлык сготовить? — удивился Фильченко.

— А я умелой рукой действовал, товарищ политрук, и успел! — объяснял кок. — Вы же тут поспеваете овец заготавливать, а вас уж половина фронта все знает. Сколько вы овец подшибли — и то люди знают, ну — точно!

— Да откуда ж это люди знают, когда мы сами того не знаем! — засмеялся Фильченко.

уложил на ней приборы, поставил тарелки — все это находилось в особом ящике при термосе, а затем выпул из термоса алюминиевый сосуд, парующий и благоухающий мясом.

Краснофлотцы, дремавшие во время воздушной бомбежки, теперь проснулись и вышли из окопа наружу, па мясной запах.

— Это ты что за кафе такое па войне устроил? — строго сказал Фильченко.

— Кафе па фронте полезно, товарищ политрук, — объяснил кок Рубцов, — оно победе не помешает, нисколько — нет! Вот гроб это лишнее, его я не захватил. А кафе — это великое дело, товарищ политрук: это мирное время па память бойцам!

Моряки внимательно рассмотрели полевое кафе Рубцова, потом одновременно поглядели на кока и захохотали во все свои молодые, отдышавшиеся глотки.

— Бегаешь ты вот тут по переднему краю, шлепнут тебя, кок, по посуде па голове! — предупредил Паршин Рубцова.

— Нет, я чуткий, я буду живой, — отверг кок такое предположение. — А я ж для вас стараюсь, чтоб тело ваше питать!

— Врешь! — сказал Цибулько. — Не бреши!

— Так я брешу, Вася, малость, — сознался кок. — Ну, я тоже хочу немножко себе па грудь чего-нибудь схватить!

— Чего тебе надо па грудь схватить? — прохрипел Красносельский.

— Ну так, — сказал кок, — пусть орден, пусть будет медаль: я бойцов под огнем кормлю, а чем кок хуже сестры?

— Вот кок-то мировой! — сказал Одинцов. — Он и герой, он и карьерист, можно медаль ему дать, а можно и плюху! Он имеет право па две вещи сразу!

— Жрать давай! — не утерпел Цибулько.

— Пожалуйста, — пригласил кок, — у вас же во рту все время слова были, шашлык места нету!

Подразделение Фильченко целиком уселось па траву за скатерть, а коку велено было стать па пост и глядеть вперед па врага.

Покушав, моряки решили, что кок Рубцов «может»; это слово означало па их дружеском языке высшую оценку какого-либо действия; сейчас они оценили таким способом шашлычную работу кока.

— Кок, ты можешь! — крикнул Рубцову Паршин.

— Знаю. Я же работник творческий! — равнодушно отозвался кок.

— Этот кок высоко пойдет, — сказал Одинцов, — у него и талап и пахальство есть.

После обеда моряки выстроились; Фильченко скомандовал «смирно! равнение па кока!» Это было воинским выражением благодарности за шашлык, и кок ушел в тыл, вполне довольный своим героическим мероприятием по накормлению бойцов.

Моряки остались одни. Время было уже за полночь. Фильченко поставил чайники: Одинцова, а остальным своим людям велел отдыхать. Бойцы легли по откосу спаружи, чтобы погреться немного па весеннем солнце.

— Фу ты чорт, я пить захотел! — обиделся Паршин па свое свойство — пить после пищи. — Хорошо в бою: ничего не хочешь! А как только мирно живешь, так все время тебе чего-нибудь хочется: то кушать, то пить, то спать, то тебе скучно, то...

И Паршин подробно перечислил, что требуется мирно живущему человеку: такому человеку и жить некогда, потому что ему постоянно надо удовлетворять свои потребности. А живет, оказывается, счастливой и свободной жизнью лишь боец, когда он находится в смертном сражении, — тогда ему не надо ни пить, ни есть, а надо лишь быть живым, и с него достаточно этого одного счастья.

— Вижу танки! — сказал Одипцов с насыпи.

— По местам! — приказал Фильченко. — Принять танки огнем!

Он вышел на позицию и стал терпеливо считать танки, выходявшие из-за высоты. Их оказалось пятнадцать: по три машины на душу бойца, а прежде было по полторы; стало быть, немцы удвоили порцию. И тогда же началась скорая артиллерийская стрельба; немцы били сейчас беглым огнем, отвлекая внимание русских, чтобы занять их силы на широком фронте и внезапно прорвать оборону в одном месте, вонзившись туда танками.

— Уважают нас, — сказал Цибулько, сосчитав машины. — Ишь сколько выставляют против меня одного: пятнадцать, деленное на пять и помноженное на тысячу лошадиных сил! Я доволен.

Одипцов задумался; приближающийся грохот бегущих танков, артиллерийский огонь, беспокойная, шумная и какая-то нарочитая настойчивость врага — все это словно несерьезно, все это, хотя и опасно, похоже на действие человека, который нападает от испуга, стараясь спастись от гибели посредством злости и суеты.

Мощные танки шли напрямую; возможно, что немцы хотели теперь выйти на Дуванкойское шоссе и по шоссе рвануться сразу на Севастополь — так оно было бы более парадно.

Цибулько вслушался сквозь скрежет гусениц и дребезг стальных кузовов в частое мелодичное дыхание дизель-моторов и произнес самому себе:

— Эх, и все это против меня! Здравствуйте, инженер Рудольф Дизель! Я на вас не обижаясь, я уважаю вас за великое изобретение двигателя, я — Цибулько, простой краснофлотец, но великий человек!..

Фильченко сказал, обратившись ко всем:

— Товарищи!

Хотя он говорил тихо, а на земле сейчас было шумно, однако все слышали его.

— Товарищи, я хочу сказать вам, что нам будет трудно. Я хочу сказать, что мы отойти не можем, мы будем биться здесь до самых своих костей...

— И костями можно биться, — произнес Паршин. — Рванул из скелета — и бей. Комиссар товарищ Поликарпов хотел же биться своей оторванной рукой!..

— Товарищи, — говорил Фильченко. — Я говорю вам, друзья, у меня такое же сейчас чувство на сердце, как у вас, поэтому вы меня понимаете ясно... Приказываю вам стоять на этой земле и не умирать, чтобы драться долго, пока мы не поломаем здесь машины и кости врага!

Цибулько подошел к Фильченко и поцеловал его. И все, каждый с каждым, поцеловали друг друга и посмотрели на вечную память друг другу в лицо.

С успокоенным, удовлетворенным сердцем осмотрел себя, приготовился к бою и стал на свое место каждый краснофлотец. У них было сейчас мирно и хорошо на душе; они благословили друг друга на самое великое неизвестное и страшное в жизни, — на то, что разрушает и что создает ее, — на смерть и победу, и страх их оставил, потому что советь перед товарищем, который обречен той же участи, превозмогла страх. Тело их наполнилось силой, они

почувствовали себя способными к большому труду, и они поняли, что родились на свет не для того, чтобы изнурить, уничтожить свою жизнь в пустом наслаждении ею, но для того, чтобы отдать ее обратно правде, земле и народу, отдать больше, чем они получили от рождения, чтобы увеличился смысл существования людей; если же они не сумеют сейчас превозмочь врага, если они погибнут, не победив его, то на свете ничто не изменится после них, и участь народа, участь человечества будет смерть. Они смотрели на танки, идущие на них, и желали, чтобы машины шли скорее: лишь смертная битва могла их теперь удовлетворить.

На флажки подразделения Фильченко вышли из-за танков автоматчики; их приняла огнем моряки и краснофлотцы Фильченко и та полурота, которую привел комиссар Лукьянов. Значит, у флажков Фильченко была своя забота, на помощь их рассчитывать было нельзя. Да и флажки Фильченко, справа и слева, имели всего по тридцати бойцов, а противник давил на каждый флаг силой в полбатальона.

Там, на флангах, ожесточился частый, спешащий стрелковый бой, но в центре, на линии хода танков, Фильченко велел прекратить стрельбу, чтобы не обнаруживать своих слабых сил.

Битву моряков с танками должен начать Василий Цибулько. Фильченко приказал ему выжтать, дав машинам приблизиться метров на сто.

На подходе к шоссе на насыпи ведущий танк рванул вперед прыжком, и все танки за ним резко увеличили свою скорость.

И тогда Цибулько начал битву: он давно уже насторожил пулемет и следил прицелом за движением танка; теперь он пустил пулемет в работу. Привычная рука и чуткое сердце Цибулько действовали точно: первая же очередь пуль ушла в щель головного танка, машину занесло в сторону, и она стала со всего хода в руках своего мертвого водителя. Но второй танк с отважной яростью влетел на шоссе на насыпь, наехав почти в упор на подразделение Фильченко. Мгновенно, опережая свою мысль, Цибулько привстал, пригнулся всем телом и швырнул связку гранат под этот танк.

Цибулько забыл о себе и товарищах, и вся группа бойцов была оглушена близким взрывом и сбита с ног воздушной волной. Танк замер на месте, затем медленно от собственного веса сполз юзом по противоположному откосу, на котором еще оставалась на весу половина его туловища. Поднявшись, Цибулько ударил своей левой рукой о камень, чтоб из руки вышла боль, но боль не прошла и она мучила бойца; из разорванных мускулов шла густая спьяная кровь и выходила наружу по кисти рук.

Два танка сразу появились на шоссе. Цибулько забыл о раненой руке и заставил ее действовать как здоровую. Он слова припал к пулемету и бил из него в упор по машинам, порывая поразить их в служебные скважины брони. Но пулемет затих, питать его больше стало нечем, прошла последняя лента. Тогда Цибулько, не давая жлези машинам, бросился в рост на ближний танк и швырнул под его гусеницу, овшую землю на ходу, связку гранат. Раздался жесткий, kloкочущий взрыв — огонь стал рвать сталь, и разрушенный танк уполз.

Цибулько, занятый своим сосредоточенным вниманием, не слышал пулеметной стрельбы из этого танка, однако теперь он почувствовал, что в теле его поселялись мелкие посторонние существа, грызущие его изнутри: они были в животе, в груди, в горле. Он понял, что весь поражен, он чувствовал, как

таст, исходит его жизнь и пусто и прохладно делается в его сердце; он лег на комья земли и сжался, как спал в детстве у матери под одеялом, чтобы согреться.

Иван Красносельский не дал другому танку хода на Севастополь; он выбежал к нему паперерез и бросил в него раз за разом три бутылки с жидкостью. Танк занялся пламенем и, пройдя еще немного, остановился догорать. Красносельский обернулся к товарищам; еще четыре танка вырвались и били с хода для ужаса из пушек и пулеметов. Одинцов и Паршин ползали в мертвой зоне обстрела. Паршин метнул с земли бутылку в танк, горячая жидкость влипла в броню и пошла огнем. Снаряд с воем пропесня мимо головы Красносельского; боец ожесточился, что его может убить фашист, и закричал на машину страшным голосом, забыв, что ему внимать там не будут, потом резко и точно запустил бутылку в смертоносное тело машины и обрадовался пламени пожара. У Красносельского осталась еще одна бутылка со смесью; он бросился в яму, потому что свежий танк, обойдя горящий, шел на человека. Сейчас Красносельский узнал чувство хозяйственного удовлетворения: он уже уничтожил две машины, можно уничтожить еще одну, от этого все-таки будет смерть на свете и жить людям станет способней; уничтожая врага, Красносельский словно накапливал добро и он понимал пользу своего труда.

Полосуя огнем пространство, танк мчался вперед — пизкий, упорный и мощный.

— Стой, стервец! — крикнул Красносельский и вонзил в гремящую сталь жалкую бутылку. Машину обдало огнем; верхний люк танка откинулся и оттуда показалось смутное лицо врага. Красносельский вскинул винтовку, но враг опередил его скорострельным пистолетом, и Иван Красносельский пал на землю с сердцем, разбитым свинцом. Умирая, он глядел в небо, он жалел, что его невеста останется без него сиротой, потому что никто ее так не будет любить, как он любил ее, и он закрыл глаза, полные живых слез, и больше они не открылись у него.

Паршин ударил бутылкой в следующий цельный танк, бросившийся на шоссе, прямым ходом к Севастополю. Но пламя слабо припало к машине и танк продолжал ход, сдувая с себя скоростью дым и огонь. Тогда Паршин побежал вослед танку с гранатой, но Фильченко и Одинцов перехватили этот танк прежде Паршина: они рванули его гранатами по ходовому механизму, так что из него брызнул металл, и машина, поворочавшись на месте, омертвела. Однако Паршин уже не мог справиться с собой и добавочно дал жару машине, метнув в нее бутылку, чтобы смерть врага была прочнее.

На шоссе горели танки, но свежие машины, изменив курс, мчались по пыльному полю и стремились выйти на поворот шоссе, минуя горящие и омертвевшие танки. Остерегаясь огня врага, бывшего сейчас картечью из подвижных танков, Фильченко, Одинцов и Паршин прыгнули в ближний окоп и прошли по нем в блиндаж.

В сумраке укрытия Фильченко внимательно оглядел своих товарищей, не повреждены ли они и не тронуты ли робостью их души. Одинцов и Паршин часто дышали, лица их покрылись гарью и земляной грязью, но в глазах их был свет силы и неутоленное ожесточение боем.

— Что, Юра? — спросил Фильченко у Паршина.

— Ничего! — хрипло сказал Паршин. — Давай их остановим всех — нестрашно, я видел смерть, я привык к пей!

Паршни в волнении, не зная что ему делать и как остановить себя, погладил почерневшей ладонью земляную стену блиндажа.

— Давай их крошить, командир! А то я один пойду!.. Я никогда не любил так народ, как сейчас, потому что они его убивают. До чего они нас довели — я зверем стал!.. Сынь мне в рот порох из патронов — я пузом их взорву!

— Ты сам знаешь, патронов больше нет, — произнес Фильченко и спял с себя винтовку. Одинцов дрожал от горя и ярости.

— Пошли на смерть! Лучше ее теперь нет жизни! — пробормотал он тихо.

Враг гремел близко. Фильченко молча и надежно подвязал себе к поясу одну гранату, а две гранаты оставил товарищам; кроме этих последних трех гранат больше у них не было никаких припасов на врага. Поэтому теперь нельзя было промахнуться или ударить слабо, теперь нужно бить точно и насмерть с первого раза.

Фильченко ничего не приказал товарищам; он вышел из блиндажа и исчез в громе пушечной стрельбы с пабегающих тапков и в скрежете их механизмов, гнущихся подорожные камни. Он подполз к повороту шоссе и замер на время в ожидании.

Одинцов и Паршни, подобно Фильченко, подвязали к поясам по гранате и вышли на огонь навстречу машинам противника. Они увидели Фильченко, залегшего у поворота дороги, куда должны выйти тапки в обход побитых машин, и притаились во вмятине земли. Они понимали, что теперь им важнее всего пробыть живыми еще хоть несколько минут, и берегли себя пугливо и осторожно.

Фильченко тоже боялся; он боялся, что ошибся в расчете — и тапки не выйдут на шоссе, а пойдут по обочине с той стороны. И пока он перебежит через шоссе и доберется до машины, его рассекут из пулемета, и он умрет, как глухая кроткая тварь — на потеху врагу. Он томился, вслушиваясь в приближающийся ход машин по ту сторону дорожной насыпи, и боялся, что его последнее счастье мигнет его.

Стреляли теперь с машин реже — и только из пушек, правая огось по тому рубежу обороны, который находился ближе к Севастополю, позади моряков. На флангах, на удалении все время слышалась стрельба из винтовок и автоматов, там небольшие подразделения черноморцев сдерживали въедающихся вперед немцев.

Передний тапк перевалил через шоссе еще прежде поворота и начал сходиться по насыпи на ту сторону, где находился Фильченко. Командир машины, видимо, хотел идти на прорыв рубежа обороны по полевой целине.

Мощная тяжелая машина сбавила ход и теперь осторожно свержалась с откоса земли; водитель, должно быть, не желая гнать ее как попало и сплывать ее дорогое устройство. Жалкие живые былинки, росшие по откосу, погибшая овца и чьи-то давно усохшие кости равно вдавливались ребрами тапковых гусениц в терпеливый земной прах.

Фильченко приподнял голову; настала его пора поразить этот тапк и умереть самому. Сердце его стеснилось в тоске по привычной жизни. Но тапк уже сполз с насыпи, и Фильченко близко от себя увидел живое, жаркое тело сокрушающего мучителя, и так мало нужно было сделать, чтоб его не было, чтобы смести с лица земли в смерть это упылое железо, давящее души и кости людей. Здесь одним движением можно было решить, чему быть на земле — смыслу и счастью жизни или вечному отчаянию, разлуке и гибели.

И тогда в своей свободной спле и в яростном восторге дрогнуло сердце

Николая Фильченко. Пред ним, возле него, было его счастье и его высшая жизнь, и он ее сейчас жадно и страстно переживает, прижав к земле в слезах радости, потому что сама гнетущая смерть сейчас остановится на его теле и падет в лемешки на землю по воле одного его сердца. И от него, быть может, начнется освобождение мирного человечества, чувство к которому в нем рождено любовью матери, Лениным и советской родиной.

Перед ним была его жизненная простая судьба, и Николаю Фильченко было хорошо, что она столь легко ложится на его душу, согласную умереть и требующую смерти, как жизни.

Он поднялся в рост, сбросил бушлат и в одно мгновение очутился перед бегущими сверху на него жесткими ребрами гусениц танка, дышавшего в одинокого человека жаром напряженного мотора. Фильченко прицелился сразу всем своим телом, привыкшим слушаться его, и бросил себя в поlyingную траву под жующую гусеницу, поперек ее хода. Он прилежился точно — так, чтобы граната, привязанная у его живота, пришлась посредине ширины ходового звена гусеницы — и припик лицом к земле в последней любви и доверчивости.

Паршин и Одищов видели, что сделал Фильченко, они видели, как остановился на костях полнотрука потрясенный взрывом танк. Паршин взял в рот горсть земли и жевал ее, не помня себя.

— Коля умер, — сказал Одищов. — Нам тоже пора.

Пять свежих танков появились на шоссе и стали замедленно спускаться по откосу, обходя подорванную машину.

Двое моряков поднялись.

— Дацпа! — тихо пропел Паршин.

— Юра! — ответил ему Одищов.

Они словно брали к себе в сердце друг друга, чтобы не забыть и не разлучиться в смерти.

— Эх, вечная нам память! — сказал, успокаиваясь и веселясь, Паршин.

Они побежали на танки, сделав полукруг, чтобы встретить их грудь в грудь. Но Одищов унал к земле прежде, чем успел встретить машину вплотную, потому что пулеметчик с танка почти в упор начал сечь свинцом грудь краснофлотца. Одищов, умная, силой одного своего еще бьющегося сердца напряг разбитое тело и пополз навстречу танку — и гусеница раздробила его вместе с гранатой, превратив человека в огонь и свет взрыва.

Паршин, подбежав к другому танку, ухватился за служебный поручень и успел прокатиться немного на чужой машине, а затем, услышав взрыв на теле Одищова, оставил поручень и отбежал от танка вперед по его ходу. Там Паршин сбросил бушлат и облажил живот с гранатой, чтобы враг увидел, с кем он встретился здесь. А затем, дожидаясь, когда танк приблизился к нему, свободно и расчетливо лег под гусеницу.

Остальные еще целые танки приостановились на шоссе и на сходах с него. Потом они заработали своими гусеницами одна навстречу другой и пошли обратно — через поlyingное поле, в свое убежище за высотой. Они могли биться с любым, даже самым страшным противником. Но боя со всемогущими людьми, взрывающими самих себя, чтобы погубить своего врага, они принять не могли. Этого они одолеть не умели, а быть побежденными им тоже не хотелось.

И вот все окончилось. Пемецкие автоматчики, обходившие с флагов места боя танков с моряками, утихли еще раньше; одни были перебиты, а оставшиеся жить окопались.

На месте боя подразделения, которым командовал политрук Фильченко, остались видимыми лишь мертвые танки и один живой человек. Живым остался один Василий Цибулько; он понимал, что скоро скончается, но пока был еще живым. Он вылез на бровку шоссе, в стороне от места боя танков со своими товарищами, и видел почти все, что было там совершено.

Теперь он увидел, как с рубежа обороны подходила к шоссе рассыпным строем наша вонпская часть. От кровотечения и слабости сил Цибулько то видел все ясно, то перед ним померкал свет и он забывался.

Очнувшись, Цибулько рассмотрел возле себя людей и узнал среди них комиссара Лукьянова. Люди перевязали Цибулько, потом подняли на руки и повесили его к Севастополю. Ему стало хорошо на руках бойцов, и он, как мог, начал рассказывать им и Лукьянову, тоже несшему его, что видел сегодня. Но всего рассказать он не успел, потому что умолк и умер.

ЕВГ. ДОЛМАТОВСКИЙ

ИЗ ЦИКЛА «СТЕПНАЯ ТЕТРАДЬ»

ПОСВЯЩЕНИЕ

Пулей пробита степная тетрадь,
Стерло землю последнюю дату.
Девушкам можно стихи посвящать,
Крепче стократ посвященье солдату.
Тем посвящаю стихи, кто со мной
Ночью ползет через минное поле;
Тем, кто с рассвета — над картой
штабной;
Памяти тех, кто погиб на Осколе;
Тем, кто сжимает тяжелый штурвал;
Тем, кто дружил с динамитом и
толом;
Тем, кто в немецком тылу побывал,
Вышел оттуда седым и веселым;
Тем, кто идет по ложине сквозь
дождь,
С каски — ручей, плащ-палатка
намокла;

Тем, кто ведет громыхающий
«Дождь»,
Смотрит сквозь дымные, в трещинах,
стекла;
Тем, кто поклялся — ни шагу назад;
Тем, кто траву напоил своей кровью;
Тем, что сейчас в медсанбате
лежат;
Той, что склоняется у изголовья;
Тем, кто далекую видит Москву
В каждой отбитой у немцев
станции;
Тем, для которых дышу и живу
Жизнью, свои миновавшей границы;
Тем, в чьих глазах только ярость и
месть;
Тем, кого знаю, а может не знаю;
Тем, кому некогда их прочесть, —
Эти стихи посвящаю.

СТАНИЦА

Под луною земля серсбрится.
Спят гвардейцы в задонской
станции.
Шевелится и шепчется стог.
Что вам снится тревожной порою?
Дагестанцу — аул под горою,
Украинцу — степной хуторок,
А грузину — кипящая речка,
А чернявому парню — местечко,
Что зловещей рукой сожжено.
Северянину — крепко срубы,
Русы косы, упрямые губы,
Что, быть может, забыли давно.
Снова снится казаку кочевье,

А рязанцу — изба и деревья,
А таджику — горячий кишлак.
Мне — мой город в военной одежде,
В наши степи смотрящий в надежде,
Вдохновитель суровых атак.
Да, друзья, словно в книге
страницы,
Сплетены мы в задонской станции.
За нее мы вступили в бой.
В ней сроднились днепровские
лозы,
Подмосковья сквозные березы
И кавказских потоков струи.
Под раскаты далекого гула

После боя станция уснула.
Сено шепчется под головой.
И под лунным холодным пожаром

Лишь не спят командир
с комиссаром
Да глядящий во мглу часовой.

* *
*

Как давно я слов не слышал
нежных!
Сходит снег. Весна. Мы едем в полк.
Вдруг сказал ездовой:— Вот
подснежник.—
И вздохнул стыдливо. И замолк.
Где подснежник, маленький
и синий?
Я хочу его увидеть тут.
Триста метров до передних линий,
А у нас подснежники цветут.
Кони стали и храпят с разбега.
Гол бугор и не видать цветка.

Тянется из-под гнилого снега
Скрюченная желтая рука,
Ручейка звенящее теченье,
Каскою закрыта голова.
Новое, печальное значение
Обретают русские слова.
Нет, друзья! Пока идет сражение.
Не нужна цветов мне синева.
Сняли шапки. Постояли. Трогай!
Голос мести яростен и лют.
Кто ты был, упавший над дорогой,
Что тебя «подснежником» зовут?

ВИДЕНЬЕ

Полынью, густой и душистой степью
Мы едем ночью на грузовике.
Знакомую, заманчивую цепью
Опять огни мерцают вдалеке.

И снова бой, и ненависть, и
мщенье.
И смерть тому, кто эту степь
поджег.

Как будто это город довоенный
Стоит и светится во весь свой рост
И разговаривает со вселенной
Падением трассирующих звезд.

Опять бугры, прохладные низины.
Пыль на зубах и накипь возле
ртов.

Но запах гари, смешанный
с туманом,

Ревут американские машины,
И мы сидим на скамьях, вдоль
бортов.

Иную горечь придает огню.
Далеский город снова стал обма-
ном —

Забвеньем память сердца
не обидим.

Горят хлеба и травы на корню.

Мы выдюжим военные года
И так же будем ехать. И увидим
Свегившиеся наши города.

Сурово обрывается виденье:
Толчок колес и памяти прыжок.

* *
*

Когда-нибудь в этой степи пройдет
Девушка в голубом
Заметит заросший окоп и найдет
Дымные пильзы в нем.

На ржавые стальные листы,
Бывшие танком врага.

Дальше пойдет, собирая цветы...
Ступит ее нога

Поймет она, какая война
В этих степях прошла,
Как мы сражались, чтобы она
Цветы собирать могла.

Действующая армия, 1942

Ю. ЖУКОВ В БОЯХ ПОД ВОРОНЕЖЕМ

Ожесточенные бои на советско-германском фронте, происходившие с 15 мая по 15 июля, ясно выявили то новое, что отличает борьбу в 1942 году от борьбы в 1941 году. Это отличие состоит в том, что возросшая организованность и стойкость Красной Армии в борьбе с врагами принудили немцев сразу вводить в бой основные силы и резервы своих армий, продвигаться вперед гораздо медленнее, чем прежде, и нести в ходе боев огромные, невосполнимые потери людьми и техникой.

(Совинформбюро)

В горячие дни июльских боев, когда немцы, собрав все свои резервы, особенно остервенело рвались вперед, автору этих строк довелось побывать в качестве военного репортера в частях, действовавших в районе к западу от Воронежа. Бои эти, прогремевшие на весь мир, были насыщены событиями высокого драматизма. Они войдут в историю нынешней войны как пример стойкости, чести и благородства: как ни тяжка была судьба воинов, принявших на себя страшный масштабный удар немецкой бронированной армии, они мужественно встретили свою судьбу. Многих прекрасных людей не досчитались мы после этих боев. Но кровь их пролита не даром — на цветущих лугах Средней России, опаленных пламенем войны, немцы споткнулись еще раз.

На участке, о котором идет речь, германская армия почти не продвинулась. Сделав несколько шагов на восток, она застряла, истекая кровью, и оказалась не в состоянии подняться. Пусть же эти записи, набросанные в час жаркой июльской битвы, послужат еще одним свидетельством изумительных качеств советского человека, который в самые трудные минуты остается стойким, мужественным, решительным. Люди, которые сумели выстоять в эти

трудные дни, сумели преградить врагу дорогу на восток. — навеки останутся вдохновенным примером для нас. И каждый из нас говорит себе: «Им было тяжело, но они не дрогнули, не пали духом, устояли. Я такой же советский человек, как и они. Значит, и я смогу устоять. И хоть труден путь к вершине нашей победы, — мы его пройдем!»

Они начинали так...

Предпоследняя июньская ночь.

Мы бродили росистыми нетоптанными тропами по темным и округлым буграм, заросшим едчными медвяными травами. В небе висела луна, ее густой молочный свет озарял странные, необычные картины, которые два года назад любому из нас показались бы выдумкой, сном, бредом.

Еще недавно эти места были густо заселены: околица смыкалась с окольцей, и сады ветвистых узловатых яблонь тянулись на много километров вдоль тихого степного ручья. Теперь не стало ни домов, ни околлиц. Но сады успели. Уцелели и зеленые изгороди, — теперь они делили пустое пространство на аккуратные квадраты. Одни только одни чашки кошки, выскакивавшие на тропы нивесть из каких дыр, напо-

минали о том, что когда-то здесь жили люди.

Зимой здесь побывали немцы. Их прогнали. Уходя, они уничтожили и сожгли все. Но тогда, зимой, мы видели только угли и снег. Снег прятал скелеты умерших деревень. Сейчас, когда природа проснулась и в пустыне наперекор войне расцвели сады,—на это вдвойне тяжело смотреть.

Там, вдали,—передний край. Там мерцают рыжие, зеленые, голубые ракеты. Тишина. Но тишина недобрая, подозрительная, она длится уже много дней и больше изматывает нервы, чем самая оглушительная канонада. Фронт бодрствует в эту тихую ночь, не давая себя усыпить. Глухо стучат саперные лопаты, осыпается земля, жирная, черная, тускло поблескивающая в лунном свете. Саперы заканчивают еще один ход сообщения,—густая извилистая сеть окопов исполосовала все поле. Неслышно ступая по высокой траве, уходят вперед разведчики. Черными тенями встают на пути дозорные: «Пропуск? Отзы?» Под развесистым деревом темнеет силуэт походной кухни, повара готовят завтрак: к рассвету его надо уже разнести в термосах по всем окопам.

В штабе знают обстановку. Это затишь вот-вот сорвется. Бой могут развернуться в часу на час. И люди в окопах бодрствуют.

Луна укрылась за грязным облаком. Совсем темно. Минувя свежие воронки, перепрыгивая через холы сообщения, останавливаясь у блиндажей, наш попутчик, отсекр полкового бюро комсомола, легко идет вперед, изредка повторяя извиняющимся тоном:

— Понимаете ли, иначе нельзя. Дорогу тут не проложишь,—Фриц все просматривает...

Правее остается широкое поле созревающей ржи. Слышен размеренный шорох — волны тяжелеющих колосов перекатываются из края в край. Опять зашемило сердце: где люди, засеявшие это поле? Кому доведется прийти сюда с серпом? Чудесный урожай дарит человеку природа, и некому его взять. Суровый закон войны находит только одно применение для этой ржи, в рост человека вставшей на переднем крае: она — чудесная маскировка для противотанковой артиллерии, для наблюда-

телей, для разведчиков, для автоматчиков.

Где-то здесь, совсем уже близко, — колючая проволока. За ней минное поле — холодные круглые коробки из железа, начиненные смертью и тщательно спрятанные в земле. Дальше — пустота, ничто. Еще дальше — немцы. Здесь, на самом переднем крае, несут свою боевую вахту веселые пулеметчики во главе с заместителем политрука Зингером, никогда не улывающим одесситом. Они — боевое охранение.

— Стой, кто идет?

— Свои.

— Пропуск?

— Мушка.

— Проходи...

На скате холма чернеет едва заметная щель. Нало очень хорошо приглядеться, чтобы ее различить: она отлично замаскирована свежим дерном. Широкая выпуклость укрывает мощный блиндаж.

С пулемета снят чехол. Под искусно связанной маскировочной сеткой он стоит, как оскаливший зубы хищный зверек, готовый к прыжку. У машины — дежурные. Остальные тут же, рядом, в просторном и уютном блиндаже, поскольку на войне можно говорить об уюте. Полсекунды нужно им для того, чтобы выскочить оттуда через широкий выход, завешенный ковром из сухой травы, и занять свои посты.

У земляной стены — пирамида, в которой стоят заряженные, вычищенные винтовки. Аккуратно уложены в чехлы бутылки с зажигательной жидкостью и гранаты. На широкой лежанке у самодельной печурки сидят пулеметчики. Пламя озаряет молодые загорелые лица. Закипающий чайник поет свою мирную песенку, черноусый боец, называющий остальных пулеметчиков сынками, рассказывает, как он 25 лет назад бил немцев под Черновцами. Это Кожухов. Он воюет уже третью войну, и слово его имеет большой вес в этом блиндаже.

Отсекр полкового бюро, отведя в сторону Зингера, плечистого крепкого южанина в лихо залернутой пилотке, беседует с ним вполголоса о будничных комсомольских делах Зингер передает отсекру анкеты пулеметчиков, желающих вступить в комсомол, рассказывает о беседе, проведенной после обеда, охает по поводу того, что закончили чтение книги «Как закалялась сталь», а другой

ставляешь себе в эту минуту, что здесь именно проходит передний край нашей обороны и что в любой момент здесь может разгореться жесточайшая битва. Беседа кончается, Зингер с отсекром присаживаются к огоньку и вполголоса начинают мурлыкать забавную одесскую песенку. Кажется, что люди здесь живут мирно и беззаботно.

Но вот отсекр шепнул Зингеру одно лишь слово — «тревога». И разом сдуло людей с лежанки, и нет уже винтовок, и гранат, и бутылок на месте и пуст блиндаж, а в нишах окопа на привычных местах застыли бойцы — отделения готово открыть шквальный огонь.

Тишина. Горизонт начинает сереть. Прозвенел жаворонок, взвившийся на встречу заре.

— Половина третьего. Мы всегда по жаворонку часы проверяем,— говорит Зингер.— Не хуже обсерватории Штернберга...

Отсекр уже хочет дать отбой тревоги, как вдруг откуда-то слева доносится глухой, словно замогильный, удар. Люди прислушиваются. Еще удар, еще и еще. Звуки сливаются в один нарастающий гул. На горизонте мелькает канитель ракет.

Всё еще тихо. Но пулеметчики готовы к бою. По чести говоря, им даже немного досадно, что сражение началось где-то в стороне и что их машина пока вынуждена бездействовать.

Бой на левом фланге разгорается. Надо вернуться на командный пункт, чтобы разобраться в обстановке. Что это — частная стычка, каких было много за последние дни, или начало той большой битвы, которой ждали уже несколько месяцев?..

В густом осиннике еще сыровато. Ноги путаются в траве. Золотые чашечки куриной слепоты, гроздь журавлиного гороха, увядшие ландыши сплошным ковром укрывают лужайки. Ни троп, ни дорог. Надо очень внимательно присмотреться, чтобы увидеть входы в блиндаж, мачты радиостанций, нити проводов. Отсюда не близко до немцев. Но то, что происходит там, на переднем крае, в ту же минуту становится известно здесь, и точный штрих хорошо оципленного карандаша ложится на карту, переводя на язык шта-

и танков.

Генерал внимательно изучает донесения. Пока что нет оснований тревожиться за этот небольшой участок фронта. Правда, много шума, но, повидимому, это обычная провокация: немцами введены в бой небольшие силы. Так они поступают всегда, когда хотят отвлечь наше внимание от участка, где ими будет нанесен главный удар...

Отдаленный гул канонады стихает. Интермедия окончена: наши пулеметчики и минометчики отсеки сунувшуюся к переднему краю труппировку немцев и уложили в течение часа 200 солдат и офицеров. Из полка везут пленного. Сейчас кое-что выяснится.

Пикап въезжает в лесок, лихо подпрыгивая на ухабах. Долговязый рыжий немец судорожно держится за кабину, испуганно озираясь по сторонам. Рядом с ним наш автоматчик, не скрывающий своего отвращения к спутнику. Пленного вводят в штабную палатку и начинается допрос.

Вильгельм Эйнштейн хлебнул горюшка в это утро. Он до сих пор не может понять, как ему удалось остаться в живых, — все его приятели уже на том свете. Теперь он готов рассказать все, — о чем бы ни спрашивали. Он даже готов величать следователя паном, если это может повлиять на его судьбу, и непрочь посмеяться над самим Гитлером. Но наши следователи не такие наивные люди, как это кажется Эйнштейну. И они вовсе не склонны верить ему на слово. Больше, чем его рассказы, их интересует памятный театральный билет, найденный в кармане ефрейтора: билет в городской театр Курска — немецкий городской театр, как это явствует из надписи на билете. Он действителен на спектакль 8 июня. Значит, дивизия, в которой служит Эйнштейн, появилась на этом участке фронта совсем недавно и прибыла сюда прямо из Курска...

Ефрейтор прчет глаза. Да, этим людям надо говорить правду — они все равно не поверят на слово. И постепенно в ходе допроса выясняется: то, что мы наблюдали несколько часов назад, было демонстрацией наступления, демонстрацией, которая должна была, по расчету германского командования, от-

где наносился главный удар,— немало дальше отсюда, в направлении на юг.

Пленного уводят. Через час его отправят в лагерь. Начальник штаба достаёт из кармана радиограмму. В сущности ничего нового этот немец не сообщил: в радиограмме, полученной час назад, говорится о том, что на участке одного соединения на рассвете разгорелся ожесточённый бой. Значит, началось...

Неширокая проселочная дорога лениво петляет среди густых пшеничных полей. Тончайшая белая пыль, облаком встающая из-под колёс, словно пудра, укутывает машину. Солнце стоит ещё не высоко, но зной уже разлит в воздухе.

Современный бой тягуч и медлителен. Но в его начальной стадии каждый час и каждая минута стоят больше, чем месяц в период затишья. Выиграет тот, кто сумеет быстрее сманеврировать. Проиграет тот, кто замешается.

Сейчас уже более или менее ясно направление немецкого удара. Его надо быстро и решительно парировать. И пока передовые части, истекая кровью под ударами сотен самолётов и танков, держатся за свои рубежи, цепляясь за каждую кочку, из глубины обороны устремляются к переднему краю могучие лавины наших резервов.

Небо непрерывно звенит. То и дело слышится команда «Воздух!» Надо, значит, выходить из машины и, не мешкая, направляться к ближайшей щели.— промедление может обойтись дорого. Немцы пытаются, по примеру прошлого года, взять под свой контроль все дороги, уничтожая на них все живое. Но теперь это дело далеко не такое простое, как в прошлое лето.

Правда, немецких самолётов в небе много, очень много. Они ходят группами по 18—20 машин, и длиннохвостые «Мессершмитты», словно осы, вьются в хвосте у бомбардировщиков, прикрывая их от наших истребителей. Но с каждым часом эти прогулки обходятся немцам все дороже. Решающие направления, по которым идут наши танки, надёжно прикрыты с воздуха.

Вот и сейчас, заведя на горизонте группу немецких самолётов, наши истребители вихрем устремляются им навстречу. Бомбардировщи-

«Мессершмитты» прикрывают их отход.

Из-за круглого перламутрового облучка вываливается кривоногий «Хеншель» — разведчик хочет сфотографировать наши запасные позиции. Раздается бешеный треск: земля встречает непрошеного гостя вихрем трескающих пуль. Бьют пулеметы. Бьют винтовки. Бьют автоматы. Рев мотора обрывается. Самолёт клюёт носом, срывается в штопор и идет к земле. Внезапная тишина. Потом со всех сторон — радостные крики, аплодисменты, и сотни людей через рожь, через дуг бегут туда, где уже вспыхнул огромный костер.

Летчики не успели выпрыгнуть с парашютами. Их рыжие головы торчат из пламени, и в мертвых открытых голубых глазах застыл ужас. В огне рвутся патроны. Но это не останавливает бойцов,— надо вытащить трупы летчиков, у них могут быть ценные документы. Нахлещ горелым. Фанерные крылья разведчика коробятся. Огонь сбивает песком. Трупы вытащили. Из сумок достали карты, документы. На обожженном желтом погоне — серебряная птичка: наблюдатель был лейтенантом. Саперы поспешили закопать трупы.

— Чтоб не воняла падаль...

Из-за облака на мгновение показывается второй разведчик. Он ищет своего собрата. Этот ведет себя осторожнее — держится на большой высоте, и как только наша пехота открывает огонь, мгновенно уходит обратно в облако.

С запада отчетливо доносится трюкот канонады. В деревне, где водителю заливают радиатор водой, встречаем первых беженцев. За тележкой, на которую второпях положен скудный скарб, идут запыленные старики. Девочка подгоняет теленка. Он упирается, мычит, и девочка со слезами уговаривает его:

— Что ж ты, Вася! Пойдем, пойдем... Съедят же тебя, окаянные.

Бойцы видят беженцев. Их лица мрачнеют. Старики ничего не говорят им. Но это молчание красноречивее всяких слов. И я слышу, как молодой сержант вполголоса говорит своим бойцам:

— Ну, погоди... Схватимся вечером — жизни ренжусь, не отойду!

Проносится весть о страшной тра-

ставляешь себе в эту минуту, что здесь именно проходит передний край нашей обороны и что в любой момент здесь может разгореться жесточайшая битва. Беседа кончается, Зингер с отсекром присаживаются к огоньку и вполголоса начинают мурлыкать забавную одесскую песенку. Кажется, что люди здесь живут мирно и беззаботно.

Но вот отсекр шепнул Зингеру одно лишь слово — «тревога». И разом сдуло людей с лежанки, и нет уже винтовок, и гранат, и бутылок на месте и пуст блиндаж, а в нишах окопа на привычных местах застыли бойцы — отделение готово открыть шквальный огонь.

Тишина. Горизонт начинает сереть. Прозвенел жаворонок, взвившийся навстречу заре.

— Половина третьего. Мы всегда по жаворонку часы проверяем, — говорит Зингер. — Не хуже обсерватории Штернберга...

Отсекр уже хочет дать отбой тревоги, как вдруг откуда-то слева доносится глухой, словно замогильный, удар. Люди прислушиваются. Еще удар, еще и еще. Звуки сливаются в один нарастающий гул. На горизонте мелькает канитель ракет.

Все еще тихо. Но пулеметчики готовы к бою. По чести говоря, им даже немного досадно, что сражение началось где-то в стороне и что их машина пока вынуждена бездействовать.

Бой на левом фланге разгорается. Надо вернуться на командный пункт, чтобы разобраться в обстановке. Что это — частная стычка, каких было много за последние дни, или начало той большой битвы, которой ждали уже несколько месяцев?..

В густом осиннике еще сыровато. Ноги путаются в траве. Золотые чашечки куриной слепоты, гроздь журавлиного гороха, увядшие ландыши сплошным ковром укрывают лужайки. Ни троп, ни дорог. Надо очень внимательно присмотреться, чтобы увидеть входы в блиндажи, мачты радиостанций, нити проводов. Отсюда не близко до немцев. Но то, что происходит там, на переднем крае, в ту же минуту становится известно здесь, и точный штрих хорошо очиненного карандаша ложится на карту, переводя на язык шта-

и танков.

Генерал внимательно изучает допесення. Пока что нет оснований тревожиться за этот небольшой участок фронта. Правда, много шума, но, повидимому, это обычная провокация: немцами введены в бой небольшие силы. Так они поступают всегда, когда хотят отвлечь наше внимание от участка, где ими будет нанесен главный удар...

Отдаленный гул канонады стихает. Интермедия окончена: наши пулеметчики и минометчики отсеки сунувшуюся к переднему краю группировку немцев и уложили в течение часа 200 солдат и офицеров. Из полка везут пленного. Сейчас кое-что выяснится.

Пикап въезжает в лесок, лихо подпрыгивая на ухабах. Долговязый рыжий немец судорожно держится за кабину, испуганно озираясь по сторонам. Рядом с ним наш автоматчик, не скрывающий своего отвращения к спутнику. Пленного вводят в штабную палатку и начинается допрос.

Вильгельм Эйнштейн хлебнул горюшка в это утро. Он до сих пор не может понять, как ему удалось остаться в живых, — все его приятели уже на том свете. Теперь он готов рассказать все, — о чем бы ни спрашивали. Он даже готов величать следователя паном, если это может повлиять на его судьбу, и непрочь посмеяться над самим Гитлером. Но наши следователи не такие наивные люди, как это кажется Эйнштейну. И они вовсе не склонны верить ему на слово. Больше, чем его рассказы, их интересует памятный театральный билет, найденный в кармане ефрейтора: билет в городской театр Курска — немецкий городской театр, как это явствует из надписи на билете. Он действителен на спектакль 8 июня. Знают, дивизия, в которой служил Эйнштейн, появилась на этом участке фронта совсем недавно и прибыла сюда прямо из Курска...

Ефрейтор прячет глаза. Да, этим людям надо говорить правду — они все равно не поверят на слово. И постепенно в ходе допроса выясняется: то, что мы наблюдали несколько часов назад, было демонстрацией наступления, демонстрацией, которая должна была, по расчету германского командования, от-

где наносился главный удар,— немало дальше отсюда, в направлении на юг.

Иленного уводят. Через час его отправят в лагерь. Начальник штаба достает из кармана радиограмму. В сущности ничего нового этот немец не сообщил: в радиограмме, полученной час назад, говорится о том, что на участке одного соединения на рассвете разгорелся ожесточенный бой. Значит, началось...

Неширокая проселочная дорога лениво петляет среди густых ишеничных полей. Тончайшая белая пыль, облаком встающая из-под колес, словно пудра, укутывает машину. Солнце стоит еще не высоко, но зной уже разлит в воздухе.

Современный бой тягуч и медлителен. Но в его начальной стадии каждый час и каждая минута стоят больше, чем месяц в период затишья. Выиграет тот, кто сумеет быстрее сманеврировать. Проиграет тот, кто замешкается.

Сейчас уже более или менее ясно направление немецкого удара. Его надо быстро и решительно парировать. И пока передовые части, истекая кровью под ударами сотен самолетов и танков, держатся за свои рубежи, цепляясь за каждую кочку, из глубины обороны устремляются к переднему краю могучие лавины наших резервов.

Небо непрерывно звенит. То и дело слышится команда «Воздух!» Надо, значит, выходить из машины и, не мешкая, направляться к ближайшей щели.— промедление может обойтись дорого. Немцы пытаются, по примеру прошлого года, взять под свой контроль все дороги, уничтожая на них все живое. Но теперь это дело далеко не такое простое, как в прошлое лето.

Правда, немецких самолетов в небе много, очень много. Они ходят группами по 18—20 машин, и длиннохвостые «Мессершмитты», словно осы, вьются в хвосте у бомбардировщиков, прикрывая их от наших истребителей. Но с каждым часом эти прогулки обходятся немцам все дороже. Решающие направления, по которым идут наши танки, надежно прикрыты с воздуха.

Вот и сейчас, завидев на горизонте группу немецких самолетов, наши истребители вихрем устремляются им навстречу. Бомбардировщи-

«Мессершмитты» прикрывают их отход.

Из-за круглого перламутрового облачка вываливается кривоногий «Хеншель» — разведчик хочет сфотографировать наши запасные позиции. Раздается бешеный треск: земля встречает непрошеного гостя вихрем трассирующих пуль. Бьют пулеметы. Бьют винтовки. Бьют автоматы. Рев мотора обрывается. Самолет клюет носом, срывается в штопор и идет к земле. Внезапная тишина. Потом со всех сторон — радостные крики, аплодисменты, и сотни людей через рожь, через луг бегут туда, где уже вспыхнул огромный костер.

Летчики не успели выпрыгнуть с парашютами. Их рыжие головы торчат из пламени, и в мертвых открытых голубых глазах застыл ужас. В огне рвутся патроны. Но это не останавливает бойцов,— надо вытащить трупы летчиков, у них могут быть ценные документы. Пахнет горелым. Фанерные крылья разведчика коробятся. Огонь сбивает песком. Трупы вытащили. Из сумок достали карты, документы. На обожженном желтом погоне — серебряная птичка: наблюдатель был лейтенантом. Саперы поспешили закопать трупы.

— Чтоб не воняла падаль...

Из-за облака на мгновение показывается второй разведчик. Он ищет своего собрата. Этот ведет себя осторожнее — держится на большой высоте, и как только наша пехота открывает огонь, мгновенно уходит обратно в облако.

С запада отчетливо доносится трохот канонады. В деревне, где водителю заливает радиатор водой, встречаем первых беженцев. За теллегой, на которую вторых положен судный скарб, идут запыленные старики. Девочка подгоняет теленка. Он упирается, мычит, и девочка со слезами уговаривает его:

— Что ж ты, Вася! Пойдем, пойдем... Съедят же тебя, окаянные.

Бойцы видят беженцев. Их лица мрачнее. Старики ничего не говорят им. Но это молчание красноречивее всяких слов. И я слышу, как молодой сержант вполголоса говорит своим бойцам:

— Ну, погоди... Схватимся вечером — жизни решушь, не стойду!

Пронесится весть о страшной тра-

утром неподалеку отсюда, в старинном русском городе. Никаких военных объектов там не было. Но это нисколько не смутало немцев. Стремясь дезорганизовать наш тыл, они открыли по этому городу бешеный артиллерийский огонь из мощных дальнебойных орудий и одновременно бросили на него около 100 самолетов, которые беспрерывно бомбят его, методически и планомерно уничтожая квартал за кварталом.

Мы все ближе и ближе к местам, где разворачиваются эти беспрецедентные бои. Запыленный фронтной автотомобиль сходу влетает в улицы тихого зеленого прифронтового города. Здесь много церквей, густые тенистые сады, широкая привольная река, воды которой так манят в этот жаркий день. Город как будто выглядит очень мирно. Но это обстрелянный город — город-фронтвик. Минувшей зимой на его улицах кипели жаркие бои, и до сих пор многие каменные многоэтажные дома зияют глазами пустых окон, — небо смотрится в эти окна, и голубые заплатки выделяются на красных кирпичных стенах.

В этом городе знают цену бою. Может быть поэтому сегодня здесь так спокойно? Укрывшись за широкими линиями заграждений, за противотанковыми рвами и минными полями, за проволокой в несколько рядов кольев, ошестившись зенитками, город продолжает жить мирной жизнью. Все так же дымят трубы на предприятиях. На углу площади продают розы, по радио транслируют вальсы Штрауса. Девушки идут в городской сад посмотреть кинокартину «Трактористы». А на окраине сада стоят военные патрули, зорко всматривающиеся в голубое небо. Оно не предвещает ничего хорошего.

Но будем подробно описывать местность, среди которой расположен армейский штаб. Скажем просто: военные люди делают свое дело там, где им положено его делать, и так, как им положено. Карты с красными и синими знаками. Гул мотоциклов. Рокот связного самолета, который то и дело взлетает и садится неподалеку отсюда. Стук телеграфных аппаратов. Это и есть армейский штаб.

Люди не спят вторую ночь. Обстановка на фронте исключительно на-

но работает аппарат телеграфа, и офицеры связи на быстрых своих машинах попрежнему регулярно доставляют донесения и приказы. Командование каждый час и каждую минуту отчетливо видит, что происходит за десятки километров отсюда.

Здесь никогда не были склонны недооценивать силы противника. Здесь ясно: немцы начали наступление не с пустыми руками; они стянули сюда огромные силы, и естественно, что с первых же часов боя им удалось достигнуть определенных успехов. Эти успехи врага расцениваются здесь трезво. Все думы и мысли только об одном, — как быстрее парировать удары противника, как лучше парализовать его маневр.

Майор, работник штаба, усталый, но, как всегда, сосредоточенный и точный во всем, коротко информирует. Немцы рассчитывали одним ударом прорвать нашу оборону. На передний край одной лишь нашей дивизии обрушились двести немецких самолетов. Буквально каждый метр земли был перепахан бомбами. Однако недели, затраченные на инженерные работы, не прошли даром. Как только прекратилась бомбежка, немцы ринулись в атаку. Ожили наши огневые точки. Немцы стали яростно бить из сотен орудий. Их встречал яростный огонь.

Сначала немецкие генералы берегли танки. На наши минные поля они гнали пехоту. Во весь рост шли фашисты, но падали, как подкошенные. Вслед за пехотой двигались венгерская кавалерия. Их постигала та же участь. Наконец, германское командование вынуждено было вступить в бой свои танки. И им пришлось заматываться под огнем нашей артиллерии и противотанковых ружей.

Фашисты решили пробиться в стыке двух наших частей. Они бросили сюда две пехотные и одну танковую дивизии. Немцы потеряли много. Но им удалось все же прорваться вперед. И теперь бой идет в глубине нашей обороны...

В армейском штабе отчетливо слышен гул канонады. В вечернем небе снова и снова гудят самолеты — немецкие и наши. Взлетают сигнальные ракеты. По до-

роге идут танки,— это наши резервы выдвигаются на передний край.

Большая июльская битва началась. Что-то даст завтрашний день?

Бронированный рубеж

Степь, привольная степь уходила далеко к самому горизонту. Лишь кое-где возвышались холмы, поросшие дубравами. Но в этот чудесный тургеневский пейзаж война внесла теперь свои коррективы. Холм теперь не холм, а высота Н. Густая нива, изрытая воронками, теперь не нива, а передний край. Тихая серебряная река — но река, а водный рубеж. И самое небо, которым любовался Тургенев, теперь стало военным небом, и плохо тому, кто во время не заметит в нем длинного черного силуэта «Мессершмитта». Вот и сейчас немного поодаль взлетели вверх фонтаны чернозема и слышалась дробь авиационных пулеметов.

Мы едем к танкистам в прославившуюся за эти два дня часть, которой командует товарищ Аникушкин. То, что сделали эти люди, не укладывается ни в какие законы тактики и стратегии. Но разве мало таких людей выдвинула эта война? Немцы прорвали фронт на стыке с участком, который занимали танкисты. Фланг у них оказался открытым. Но они не отошли. Маневрируя с большим искусством, действуя из засад, они сбили противника с толку, заставили его повернуть, что перед ним огромная танковая армия, и удержали рубеж.

Сейчас обстановка все еще напряженная. Свыше тысячи немецких солдат, располагающих мощной поддержкой артиллерии и танков, пытаются, как сообщает наш штаб, прорваться на правом фланге танкистов. Но те крепко стоят и, как говорят в штабе, зубами держатся за свой рубеж.

Раскаты артиллерийской канонады все ближе. Изредка слышна даже трель крупнокалиберных пулеметов. Вот и командный пункт танкистов. Из блиндажа доносится властный голос:

— Именем Родины, ни шагу назад! Сделайте все, что можете, и в десять раз больше того. Не отходить!

Нас встречает комиссар части — высокий человек с золотой звездой

на груди. Он внешне спокоен, но за этим спокойствием кроется большое напряжение. Комиссар советует побывать в одном из батальонов, который сейчас держит рубеж.

— Там Козлов. Слыхали о Козлове? Замечательный человек!

Конечно, о Козлове все слыхали. Еще вчера слава о нем облетела весь фронт. Дважды орденноносец, герой нескольких войн, капитан Козлов дерется пять дней. В первом же бою он разбил немецкий танк, раздавил четыре противотанковых орудия и три противотанковых ружья, расстрелял пятьдесят немецких автоматчиков. На другой день он же с тремя танками обратил в бегство пятнадцать немецких танков, один из них уничтожил, рассеял эскадрон кавалерии и раздавил девять орудий. Еще через день он опять разбил немецкий танк, две противотанковых пушки и бронетранспортер. Немцы уже знают Козлова и в страхе бегут от его неуязвимой машины.

Итак, вперед, к Козлову.

Мы подъезжаем к реке с отлогими илистыми берегами. Наскоро наведена переправа. Рядом с нею режут и фыркают восемь мощных тягачей,— они вытягивают наш танк, застрявший в иле при попытке форсировать реку. Неподалеку отсюда под соломенным навесом установлен полевой телефон. Замаскирована соломой машина с походной радиостанцией. Это и есть командный пункт батальона.

— Штаб Козлова?

— Нет, здесь второй батальон. Козлов ушел в атаку. Только что. Придется подождать...

Бой идет за высотой, широкий гребень которой уходит за реку. Оттуда доносится вой моторов и лязг стали,— танки идут на врага. Вешенным лаем заливаются пулеметы. Бухают пушки. Слышатся разрывы мин. Но вот в этот грохот врезаются сухие чеканные удары.

— Это танки Козлова начали бить,— говорит молодой танкист, потирая обгоревшие белые брови.— Здорово! Каждому бы так...

Начальника штаба опять зовут к полевому телефону. Треск пулеметов становится все явственнее, теперь уже слышны дробные очереди немецких автоматов. Пришло время бросить в бой все, что есть на этом участке. Начальник штаба отдает приказание. Потом подходит к нам:

— Козлову придется задержаться.

мелка была, бы подождать поплиже, — вот там, за высотой, есть небольшая ложина. Там наши исходные позиции. Время от времени танки возвращаются туда. Возможно, вы встретите там и Козлова.

На машине дальше ехать нельзя. Надо идти пешком. Непиროкая дорога пролегает между двумя стенами высокой, в рост человека, ржи. Недавно немцы бомбили эту рожь, — поле в черных заплатах; круглые черные воронки пестрят на склоне. По краям их рожь скошена, словно комбайном. Посеченные колосья валят на сырой земле.

Вот и ложина. Подминая рожь, здесь маневрируют несколько наших могучих машин, поддерживающих артиллерийским огнем действия танков, ушедших в атаку. Меняя позиции, они бьют из своих длинных крупнокалиберных орудий. Сноп пламени, резкий удар, упругий свист и снова удар. Снаряды уходят через гребень — туда, где стоят немецкие батареи противотанковых орудий, препятствующе продвижению наших танков.

Капитана Козлова все еще нет. Бой в самом разгаре.

Снова гремят орудия танков. Из могучего КВ выходит юный командир. Сялясь перекричать грохот канонады, он обращается к представителю штаба:

— Снаряды! Срочно плите снаряды! Мы отобьемся, но дайте больше снарядов.

— Говорю вам, будут снаряды. И снаряды и обед. Приказано obedать!

Где-то там за гребнем, случилась беда: высоко к небу поднялся черный столб дыма. Очевидно, немцы зажгли наш танк. Чей это танк? Это выяснится позже, когда машины вернуться из боя.

А капитана Козлова все нет и нет. Видимо, нам так и не удастся с ним повидаться. Танкисты, перегруппировав свои машины, снова уходят в бой, в засаде лишь несколько машин. И снова в нарастающем темпе за гребнем шумит бой, звуками напоминая ритм какого-то чудовищного завода, вырабатывающего смерть.

Поздно вечером в штабе части подводят итоги этого боя. Немецкая колонна рассеяна ценой больших усилий. Танкисты не только задержали ее, но и опрокинули. У нас

тоже немалые потери. Сейчас они подсчитываются.

Нам хочется встретиться, наконец, с Козловым. Но комиссар части мрачнеет, когда мы спрашиваем его о капитане. Нахмурившись, он коротко говорит:

— Танк Козлова сгорел.

Так вот чей столб дыма и пламени мы видели за гребнем! Тоскливо. Но пришлось повидать капитана Козлова и его экипаж. Но каждому из нас кажется, что мы потеряли близких, родных людей.

Но война есть война. Нельзя давать волю чувствам. В штабе продолжается все та же напряженная работа. Этот маневр немцев бит. Значит, сейчас начнется новый маневр. Сил у нас стало меньше. У немцев их все еще очень много. Значит, надо будет опять удвоить упорство.

Люди устали, смертельно устали. Но понимаем, что некуда отступать. Недаром сейчас в армии рубеж, который держат эти танкисты, называют бронированным рубежом. На него возлагают большие надежды. Танкисты должны устоять, пока подойдут наши резервы.

Им все еще приходится сражаться почти без пехоты, танки вынуждены одни принимать бой. И они будут стоять до последнего танка, до последнего человека...

В армейский штаб мы возвращаемся ночью. Машины идут с потупленными фарами по пыльной проселочной дороге. Темно.

Останавливаемся в небольшой деревеньке. Черные силуэты изб под соломенными крышами. Призрачные тени высоких тополей. Невзирая на поздний час, в деревне никто не спит. Хлопают калитки, белеют в темноте платья колхозниц. Слышится знакомый храп танковых моторов — значит, здесь под покровом ночи разместились еще одна наша танковая часть.

Из сада слышится чей-то озабоченный голос:

— Типше ты, чорт! Куда прешь, тут же грядки...

Голос как будто знакомый. Кто это может быть?

Майор Бурда? Ну, конечно, он! Прославленный герой зимних подмосковных боев. Где только не доводилось военным репортерам встречаться с ним, — бригада, в рядах которой он дрался, успела побывать

на решающих участках подмосковного фронта. Когда мы отступали,—бригада стальных шитом преграждала путь немцам. Когда мы наступали,—бригада стальным клином рвала немецкий фронт. Ей дали гвардейское знамя. И вот сейчас майор Бурда здесь.

Входим в избу. Короткий фронтовой разговор. Майор тоже рад видеть старых знакомых. Но ему, право, сейчас не до бесед. Танки идут быстрым маршем вперед. Здесь только короткая остановка. Им уже пришлось драться на этом участке,—немного севернее. Но сейчас положение осложнилось на юге, и вся часть спешит туда.

— Помните, как у Суворова: «Где тревога, туда и дорога». Вот так и мы. Наш генерал часто повторяет эту фразу...

Танки провожают всем селом. Какая-то старуха крестит танки, семенит за ними и кричит вслед:

— Бог вам в помощь, сыночки! Чтоб вам вернуться живыми, и змея раздавить...

Танки уходят вперед. Танков много в этих боях. Много на всех участках. Это не прошлый год. Они решают исход боев. И какие прекрасные танки! Рубежи, которые они защищают, можно смело назвать бронированными рубежами.

Упорство

Сегодня нам посоветовали побывать у артиллеристов.

Это артиллеристы той самой дивизии, которая приняла на себя один из основных немецких ударов в памятное утро 28 июня. Рассуждая теоретически, дивизия, выдержавшая такой удар, должна была бы перестать существовать. Аккуратные немецкие генералы все свои расчеты строили так, чтобы в течение нескольких часов умертвить все живое в том квадрате, где стояла дивизия. Было рассчитано все: необходимое количество взрывчатых веществ, стали, алюминия, необходимое количество самолетовылетов, необходимое количество танков, артиллерии, пехоты. И, как всегда, был допущен только один просчет: недооценена сила советского человека.

Мы помним некоторые горькие даты. Помним некоторые ошеломительные удары немцев в прошлом году,

когда они не только прорывали фронт, но и окружали наши части, которые, истратив все патроны и снаряды, вынуждены были выходить из окружения мелкими разрозненными группами, подчас без оружия. Теперь картина иная. Дивизия пришлось отойти, оставить рубеж, укреплению которого было уделено так много сил и энергии. Но она отошла организованно, не потеряв ни одного орудия, ни одной машины. И сейчас она продолжает сражаться, удерживая новый рубеж, хотя потери ее в людском составе велики.

Сейчас небольшая передышка. Немцы, получив свое, вынуждены перегруппировываться, подтягивать резервы. Наши пушки молчат. Артиллеристы пишут письма домой, бреются, приводят в порядок свое обмундирование,—первая передышка за неделю страшных, поистине небывалых боев.

Люди полны впечатлений от пережитого. Им хочется как-то осмыслить, продумать сделанное за эту неделю. В сущности то, что произошло, не укладывается ни в какие нормы человеческого поведения. Поэтому бойцы так словоохотливы сегодня. Собравшись в тесный кружок, они наперебой рассказывают о памятном дне.

— Начал он с рассвета. Как стали бить из пушек,—земля закипела...

— Да что из пушек! Самолеты, вот что было страшно. Сразу десятки. И без перерыва. Через каждые три-четыре минуты — штук по тридцать самолетов... И снова, и снова...

— А огнеметы? Как зажарили по нашему лесу,—все горит, нет спасения...

Картина боя стоит перед глазами у людей. Памятны все подробности, до самых мельчайших.

— Медведь! Где ты, Медведев? Расскажи же, как ты дрался?..

Светлоглазый юноша в тяжелой железной каске подходит и присаживается на корточки. Сорвав ромашку, он вертит ее в руках, прикидывая, с чего начать разговор. Ему, как и многим, кажется, что в сущности долго тут рассказывать не о чем: подбил один танк гранатой, потом еще четыре подбили всем расчетом, когда стреляли прямой наводкой, и все тут.

— Нет, Медведев,— подсказывает ему отсек полкового бюро комсомола.— Ты скажи, почему ты так зло дрался. Про свое село расскажи.

— Ну, что ж про село? Сожгли село, гады. Сожгли,— повторяет он и вытирает со лба густо выступивший пот. В его светлых голубых глазах мелькает недобрый огонек.

— Сожгли,— снова повторяет он.— Это было еще зимой, когда немцы отступали. Мое село называется Рытва. Село, конечно, небольшое. Ну, а кому свое село не мило? Вот мы пришли на позиции и стали. А я знаю, что мое село в трех километрах отсюда. Да. Ну, я и попросился у командира,— разрешите проведать.

Он говорит медленно, подыскивая слова. Трудно говорить о таких вещах. Не найти слов, которыми можно было бы выразить то, что переживают сейчас миллионы людей.

— Попросился у командира. Он разрешил. Иду. Вижу, осталось у нас три дома из пятидесяти. А там, где наш дом стоял, одна труба торчит. Ну, все ж таки я мать нашел. Еще нашел сестру, братика, маминного отца. А второго моего деда немцы пристрелили. Он корову хотел вывести из сарая. Сарай горит, а в нем корова. Он говорит немцам: за что животное пропадает? А немец из автомата. Тут его и кончил.

— Это в феврале было. Посчитаемся,— подумал я про себя, только бы встретиться. Вот и рассчитался.

О том, как он рассчитался с немцами, Медведев так и не сказал. Но товарищи, вместе с которыми он дрался в бою, помогли восстановить картину этой схватки.

Когда наши артиллеристы уже отошли, Медведев с группой товарищей остался у реки, чтобы задерживать продвижение неприятельских танков. У него были две противотанковых гранаты. Осторожно приближались темнозеленые немецкие машины, прощупывая путь. Они опасались засады. Медведев притаился за кустом. Он ловко метал гранаты и был совершенно спокоен. Он ждал только, пока танк подойдет ближе, чтобы ударить наверняка. Темнозеленая громада была уже метрах в десяти, когда молодой артиллерист размахнулся, наконец, швырнул гранату под гусеницу и сам нырнул в канаву. Комья земли посыпались на его спину. Потом послышались кри-

ки немцев. Медведев осторожно выглянул из канавы: танк стоял на месте с оборванной гусеницей. Люк приоткрылся. Медведев швырнул вторую гранату. И все затихло. Артиллерист подождал еще немного, потом осторожно спустился к реке и переплыл через нее, держа над головой винтовку.

Здесь, за рекой, игравшей роль промежуточного рубежа, стояли батареи противотанкового дивизиона, срочно выброшенной навстречу немцам. Находу выжимая воду из гимнастерки, Медведев подошел к артиллеристам и деловито спросил:

— Что вам, люди не требуются?

— А ты кто такой будешь?— недоверчиво спросил сержант.

Медведев предъявил красноармейскую книжку. У одного орудия не хватало заряжающего, и его тут же поставили на боевой пост.

Ждать немцев пришлось недолго. Они гнали вперед свои танки, пытаясь сходу форсировать и вторую реку. Противотанковые орудия заговорили в полный голос. Свежие орудия сделали свое дело: вторую реку немцам пришлось форсировать с таким же напряжением, как и первую, хотя они рассчитывали, что пойдут вперед как на параде.

— Ну, мы их отбили, а потом меня отпустили, и я нашел свою батарею,— не утерпев, снова заговорил Медведев.— Вот и все. Разрешите идти.

И он встал.

— Ну, а что случилось с вашей семьей?

— Ушли,— сказал Медведев.— Ребята видели, как они отходили. Сейчас, конечно, мне неизвестно, где они. Но теперь я спокоен, немцу их не достать. Не допустим!

Мы помолчали, прислушиваясь к тишине.

Отсек полкового бюро вдруг сказал:

— Часто бывает скучно читать про войну. Тут что важно? Важно душу человека понять, почему он действует так, а не иначе? Вот если так, не слеза, разобраться бы в этом, получились бы такие произведения,— читал бы, не оторвался!

— Возьмите вы этого человека,— кивнул он на лесок, куда ушел Медведев.— Конечно, он воюет во имя Родины. Правильно. Но это далеко не все. Не только за родину дрался

за свою хату мстил, за деда, за ко-
рову. Вот так просто, по-крестьян-
ски. Помните, как он сказал «рас-
считался»? Это он не случайное сло-
во бросил. Вы знаете, у нас много
бойцов ведут такой расчет. Осно-
вная ошибка немцев, по-моему, та, что
они не понимают и не понимают на-
ших людей. Они думали: самое
сильное чувство — страх. И били на
это чувство. А вышло все совсем
по-другому, по-медведевски вышло.

Комары жужжали все настойчивее
и надоедливее. Мы сбились в тесный
кружок. Уже смеркалось, и только
огоньки папирос озаряли молодые
загорелые лица.

— Жаль, что вам не удалось по-
бывать на нашей шестой батарее, —
продолжал отсекр. — Это довольно
далеко отсюда. Там на днях разы-
гралась такая история... Вы знаете,
что такое сорок минут для артилле-
рийской батареи, когда она ведет
шквальный огонь? Мгновенье! От-
секр помолчал, закурил и снова за-
говорил:

— Наша батарея стояла в селе,
расположенном в ложине и на трех
буграх вокруг нее. Ну, конечно, яб-
лоневые сады, ракиты, посредине
села — речка. В этих местах все де-
ревни так строятся. А батарея на
берегу. Так это было красиво —
просто заглянуть. И вдруг этот рай
в момент превращается в ад. Немцы,
как звери, насаждают на село. Их на-
до во что бы то ни стало задержать.
Меня посылают на батарею с при-
казом: поставить заградительный
огонь, любой ценой остановить нем-
цев. А у нас там был всего один
комсомольский расчет. Но какие
люди!

Отсекр затянулся, и в отблеске
огонька я увидел, какой тоской пол-
ны его глаза.

— Золото. Бесценный народ. Вели-
когонь исключительно дисциплиниро-
ванно. Немцы быстро нащупали на-
шу батарею. Уже через несколько
минут снаряды стали падать на
огневые позиции. А нам некогда
менять позицию: надо все время дер-
жать огневую завесу, иначе немцы
ворвутся в село. В десяти метрах от
комсомольского расчета рвется сна-
ряд. Комсомольцы не прекращают
стрельбы. Второй снаряд. Прямое
попадание в комсомольское орудие.

орудия Гаврилов ранен. Он упал, но
собрал силы, встал, зажал рану ру-
кой и командовал: «Прицел тот же,
огонь!» Ребята стреляют, а наводчик
мертвый лежит тут же, и от этого
комсомольцы еще злее. Снова пада-
ет снаряд. Убит второй номер — Ле-
вицкий. Убит третий номер — За-
градский. Орудие выведено из строя.
Оставшиеся в живых комсомольцы
переходят к другим пушкам.

Отсекр вздохнул. Вот так и дра-
лись сорок минут. До последнего
снаряда дрались. Мы потеряли два
орудия, четырех убитыми, одиннад-
цать ранеными. Все в пороховом ды-
му, кругом мертвые лежат, раненые
стонут, а командиры орудий коман-
дуют: «По врагам родины — огонь!»
Немцы прямо взбешены: стоит пе-
ред ними одна батарея, а продви-
нуться не могут. Если бы у нас
больше снарядов было, мы бы там
до последнего человека держались.
Но пришлось все-таки отходить. Под
бешеным огнем. Помню, тракторист
подвел трактор — тут же разбил ра-
диатор. Один боец схватил ведро с
водой и всю дорогу стоял лил воду
на мотор, а водитель вел машину.
Ничего, спасли пушку.

Мы распрощались уже поздней
ночью. Отсекр несколько раз напо-
минал о том, чтобы газеты отметили
подвиг комсомольского расчета. Он
снова и снова возвращался к упор-
ству и стойкости этих людей:

— Вот за границей много говорят
о русском фатализме. И немцы об
этом пишут. Им это выгодно. Про-
ще всего представить противника
дикарем, который верит в фетиши и
которому собственная жизнь ни-
сколько не дорога, потому что он ей
цены не знает. Фатализм — это че-
пуха, выдумка. Вы думаете, этим
комсомольцам не страшно было уми-
рать? Вы думаете, они не любили
жизнь? Да ведь я знаю этих ребят,
как себя.

Он осекся:

— Вернее сказать, знал.. Как се-
бя знал. Они мечтали дожить до
конца войны и страшно боялись, что
не доживут. Боялись, да, но не тру-
сили. Это разные вещи.

Когда мы отъезжали от батареи,
позади загремели выстрелы. Пере-
дышка кончилась. Батарея снова
вступила в бой.

События разворачивались. Теперь уже было совершенно ясно, что речь идет не о частной операции, не о наступлении, имеющем местное значение, а о большой генеральной битве, одной из решающих битв 1942 года. Началось большое наступление, тщательно подготавливавшееся в течение всей зимы немецким командованием.

Сузивая размах операций, немцы рассчитывали выиграть за счет темпов. Они попрежнему тешили себя мыслью о том, что им удастся одним ударом сломить, окружить и уничтожить не только отдельные армии, но и целый фронт. Для этой цели они подтянули на участок, где наносился главный удар, много танков и самолетов. В дело был пущен и неприкосновенный фонд германского командования — резервные кадровые дивизии, которые тщательно сберегались в глубоком немецком тылу.

Уже на седьмой день наступления немцев на Курском направлении в плен были взяты солдаты и офицеры одной из таких дивизий — 88-й пехотной. Нам довелось присутствовать на их допросы. Одеты в новенькие, с иголочки, мундирчики, холеные, откормленные на французских хлебах, они еще ни разу не участвовали в боях до начала этого наступления.

— Где вы были в дни боев во Франции в 1940 году? — спрашивали их.

— Стояли в резерве.

— Где вы были в дни боев в Югославии?

— Стояли в резерве.

— Где вы были в дни прошлогодних боев?

— Стояли в резерве.

И только теперь эту дивизию пригнали в Россию и бросили в бой.

Таких дивизий у Гитлера уже немного. Это его последние ресурсы. Германский штаб вынужден вводить их в бой попеременно с сырыми, сформированными только несколько месяцев назад дивизиями и дивизиями венгров, румын и прочего сброда. На том же участке, где дралась немецкая 88-я дивизия, десятками сдавались в плен солдаты 385-й немецкой дивизии. Вишноторговцы и фермеры, певцы и маляры,

пивовары, они были призваны в армию только в январе — феврале и уходили на фронт далеко не в волевом настроении. Илленый Людвиг Гроб плакал горькими слезами, рассказывая о том, как 1 января он получил в качестве «новогоднего подарка» призывную повестку. Сами по себе эти скороспелые дивизии не представляли большой военной ценности. Но как пушечное мясо, попеременно с кадровыми дивизиями, они делали свое дело.

Германские генералы никогда не отличались излишком человеколюбия по отношению своим солдатам. Сейчас же они действовали с предельной жестокостью. Построив дивизию в затылок друг к другу, они гнали их вперед. Дивизии таяли в течение немногих часов. Но на смену им появлялись новые и новые. Решив любой ценой прорвать фронт, германский штаб не жалел для этого ни людей, ни снарядов.

Наши части, занимавшие оборонительные районы, с исключительной стойкостью встретили этот бешеный натиск. Когда-нибудь весь мир обнажит головы перед памятью героев, которые сделали все возможное и невозможное, чтобы сорвать план германского штаба и заставить врага ослабить свой натиск.

В июле, когда большая битва на Курском направлении достигла своего напряжения, нам довелось снова побывать в знакомом армейском штабе. Армия продолжала удерживать свои основные позиции, хотя на некоторых участках и пришлось отойти. Нам показали короткую оперативную сводку: «За истекшие шесть дней наши части истребили больше 27.000 гитлеровцев, разбили и сожгли 112 немецких танков и много другого вооружения».

Среди героев войны особо почетное место занимают офицеры связи. Их работа требует огромного риска, готовности к самопожертвованию, силы воли, находчивости и оперативности. От связиста зависит очень многое. В его полевой сумке лежат бесценные документы: оперативные донесения, боевые приказы, которые он должен доставить во что бы то ни стало. Если часть переменяла свое место, он должен ее найти. Если путь преградили враги, он обя-

транспортных средств, он должен найти любой способ для того, чтобы продолжить путь.

В эти дни, когда не только каждый день, но и каждый час изменял обстановку, офицеры связи работали с особым напряжением. Их легкоги бинты, вырвая через рожи и овраги, скользили над самой землей, рыскали по широким пространствам среднерусской равнины. За ними охотились целые стаи «Мессершмиттов». Они увертывались от них и продолжали путь. Им расставляли ловушки на земле. Они разгадывали их и продолжали путь.

И как ни напрягали силы немцы, пытались дезорганизовать управление нашими войсками, раздробить и рассеять наши части, им это не удавалось.

В это время к фронту подтягивались и начинали вступать в бой наши резервы. Часть, в которой служил наш старый знакомый майор Бурда, в течение нескольких месяцев отдыхала, пополнялась, готовилась к решающим боям. Теперь она выдвигалась к фронту, чтобы нанести врагу сокрушительный удар. Такие свежие части встречались все время на дорогах войны. Новые мощные танки, колонны артиллерии новейших образцов, отлично вооруженные полки пехоты и кавалерии шли вперед и вперед. И от их вида легче становилось на душе в эти трудные дни.

В армейском штабе нам посоветовали заглянуть к танкистам, среди которых опять уже действовал майор Бурда.

Наш фронтовой автомобиль снова в пути.

Черная мокрая ночь. В стороне от размытой дождями полевой дороги виснут в агазовом небе гирлянды зеленоватых осветительных ракет. Ветер доносит грохот артиллерийских залпов, сухой треск автоматов, тывканье пулеметов. Стреляют впереди, стреляют сбоку, стреляют где-то в стороне, почти что сзади.

Вот, наконец, и командный пункт. Он находится в заброшенной хижине, среди ветвистых яблонь. Окна тщательно завешены. Сторожевые посты прекрасно замаскированы. Старый сад кажется безлюдным.

За простым сосновым столом группа командиров изучает карту при свете керосиновой лампы. Знакомые лица. Все эти товарищи дрались с немцами под Москвой в памятные дни прошлой осени. Они стали на полгода старше. Но на войне счет ведут не на годы и не на месяцы, а на дни. И теперь их с полным правом можно назвать ветеранами танковой войны.

Генерал невозмутимо спокоен. Надо быстро распутать довольно сложный тактический узел. Немцы только что форсировали реку, стремительным броском заняли деревню на фланге и пытаются распространиться дальше, зайти в тыл, окружить танкистов.

— Ничего, — говорит генерал, — сейчас мы их успокоим. А вот насчет этого пункта надо подумать обстоятельнее..

И он карандашом отмечает деревню, лежащую в стороне от участка, к которому сейчас приковано всеобщее внимание.

Армады бронированных подвижных крепостей изумительно маневрируют в эти дни на широком фронте, появляясь неожиданно на пути фашистов, опрокидывая их, уничтожая образцово организованным огнем. Недаром танкисты на отдыхе несколько месяцев продолжали учебу, готовясь к решающим летним боям.

Когда началась большая битва, пришел и танкистам приказ выступать. Их построили на зеленом лугу, вынесли славное знамя гвардейцев, окуренное пороховым дымом в зимних боях. Генерал прочел клятву танкистов — не опозорить в бою честь знамени, умножить ее новыми подвигами. Потом опустился на колени и бережно поцеловал священное полотнище. Танкисты повторили клятву слово за словом.

На утро танки пошли в бой. Прямо с марша они бросились на участок, где ссоздалось напряженное положение: две немецкие дивизии, подержанные шестидесятью танками, вклинились в нашу оборону и рвались к крупному населенному пункту. Воздух дрожал от взрывов авиабомб и артиллерийских снарядов. Танкистам надлежало пройти сквозь эту огневую завесу, остановить врага, отбросить его.

Среди зеленых тополей у живописных деревушек закипела жестокая битва. Смертью героя погиб любимец части, Герой Советского Союза Любушкин. Погибли еще чудеснейшие люди, которых нет цены. Но две немецкие дивизии были растрепаны, обескровлены и остановлены.

В это время с другого участка пришла тревожная весточка. Собрать мощный бронированный кулак, немцы искали военной удачи южнее. И танкисты, выполняя боевой приказ командования, устремились по проселочным дорогам к новым пунктам сосредоточения врага. Задача была исключительно трудная; находку сменить действующую часть, незаметно для противника перейти на новый участок. Она была выполнена блестяще. Рассредоточенные отлично замаскированные танки незаметно совершили переход на юг и обрушились на фашистов.

Немцы никак не ждали здесь русских танкистов. Немецкие танки и пехота без особых предосторожностей свободно переправлялись через реку, когда внезапно появились наши могучие машины. Они ринулись вперед, уничтожая немецкую технику и солдат. На улицах деревни остались горы трупов, десятки сожженных и подбитых машин. Еще не отшумело эхо этой битвы, как пришла весть о новом маневре немцев: в обход танкистам шла свежая, только что прибывшая из Франции дивизия.

Ночь. Упорные бои. В лагерь бодрствует штаб. Генерал складывает карту. Теперь ему все ясно. Через шесть часов в немецком штабе вычеркнут эту дивизию из списков. Конечно, и у нас будут потери. Тяжело, планируя бой, думать об этом. Но это война. Генерал видит: люди измотались, устали. Он сам дорого дал бы за то, чтобы хоть часа два соснуть. Но спать сейчас нельзя. Каждая минута может принести что-нибудь новое. В немецком штабе тоже не спят. Телеграфный аппарат молчит. Передышка. Людей охватывает дремота. Генерал, свертывая цыгарку из махорки, вдруг говорит:

— Скажу рассказать вам, что ли?

Люди оживаются. Они очень любят своего генерала, это простой и веселый человек, никогда не теряющий присутствия духа и бодрости.

С самым серьезным видом он начинает рассказывать:

— Однажды по Сахару шел караван. День, два... На третий день к вечеру караван сделал привал. Хозяевами каравана были три купца. Один из них заметил в ящике белые кости и стал откапывать их длинным посохом. Кости оказались верблюжьими. Купец копнул глубже, наткнулся на человеческие кости. Еще глубже — обнаружил шкатулку. Купец подозвал друзей, раскопали шкатулку. В ней были бриллианты...

Генерал говорит неторопливо, тихо, спокойно, будто находится не у самого фронта, в момент, когда решается судьба этого участка, а где-нибудь в доме отдыха в мирное время. Его спокойствие передается людям. Цель достигнута: разрядилось напряжение, люди отвлеклись, забыли о сне.

На дворе посветлело. Тяжелые, налитые дождем тучи ползли по свинцовому небу. Ближился час, когда танки должны были ринуться в бой. Послышался шум мотора, — на юрком воздеходе примчался разведчик майор Гусев. Он всю ночь колесил по бездорожью, объезжая участок, занятый танкистами. Рядом с ним на сиденьи — скорчившийся от страха, грязный, мертвецки пьяный ефрейтор Стефан Войташек. Показываясь, он бормотал что-то невразумительное.

— Гусев, откуда ты это чуешь выкопал?

— Майор Давиденков поймал. Немцы за пулеметом сидят. Майор выскочил из танка, схватил его за шиворот, бросил на броню и привез...

Гусев уходит для доклада к генералу. Войташка ведут на допрос. Он до сих пор не может прийти в себя от изумления. Русские танкисты — это черти в представлении немецкого ефрейтора. Разве полагается танкистам прыгать из танка и брать людей в плен? Ведь ни в каком уставе этого нет.

Из карманов ефрейтора извлекают документы. Тут же похабные стишки «Молдая жєнищяна», аккуратно напечатанные на машинке, визитные карточки и фотографии новости. Стефан Войташек — поляк по происхождению, но воспитывался в Гумячине, и теперь этот выродок открещивается от своей родины.

упорно требуя, чтобы в протоколе допроса его записали немцем.

— Но ведь вы поляк?

— Я воспитывался в Германии.

От него разит спиртным перегаром. Да, чудесно воспитала этого выродка Германия...

На левом фланге слышны удары орудий. Начинается новая операция, к которой штаб генерала готовился ночью. Сейчас наши танки пойдут в атаку.

Танки идут

Бой длится уже несколько часов. Бьются за каждую пядь земли. Немцы, форсировавшие реку и захватившие несколько деревень, прекрасно оценивают важность захваченного ими плацдарма и хотят во что бы то ни стало его удержать. Наши танкисты получили приказ во что бы то ни стало выбить отсюда немцев. Естественно, обе стороны дерутся с невероятным напряжением.

Генерал снова сидит за картой. Телефон, телеграф, радио непрерывно связывают его со всеми подразделениями. Он видит перед собою широкое поле боя, раскинувшееся на десятки километров. Только что наши части ворвались в деревню. Идет горячий бой на улице. Рядом захвачена еще одна деревня. Наши танки погнали немцев к реке. Но вот немцы пошли в контратаку. Они опять выбили нас из деревни. Генерал бросает новые силы на этот участок, немцев прогоняют вторично.

Мощная бронированная машина, которую управляет генералом, действует безотказно. Здесь, на узком плацдарме, взрезанном оврагами, работает механизм, в котором перемалываются один за другим немецкие полки. Немцы держатся час, держатся второй, держатся третий, но, в конце концов, нервы у них сдают, и они начинают отходить.

Днем мы направляемся в тольго что отбитую деревню. Пробираемся к ней надо по оврагам, — все подступы к деревне просматриваются немцами, и их артиллерия, расположенная за рекой, яростно бьет по каждой движущейся точке.

На краю села еще трещат автоматы. Наши автоматчики выбивают немцев, спрятавшихся во ржи. Тан-

ки дерутся — слева и справа. Угнетают рожь, давят наслох возведенные немцами блиндажи, прорываются вперед и вперед.

В деревне догорают избы, зажженные немцами. Но большая часть изб цола. Слишком жарко пришлось немцам, и они не успели сжечь деревню, как это делали обычно.

У одной из изб останавливаемся. Жуткая картина. Здесь сидели гробы наших бойцов. Немецкий зажигательный снаряд ударил прямо в них, убил и зажег. Обугленные тела еще дымятся. Бойцы до последнего мгновения сжимали в руках оружие. Они так и лежат — лицом к врагу, штыками на запад. Перебегая вперед и вперед, бойцы нашей мотопехоты оглядываются на погибших товарищей. Их лица строги, в глазах решимость. Сейчас они сочтутся с врагом и за это...

Треск автоматов и пулеметов на окраине села усиливается. Враг огрызается. В деревне опять ложатся мины и снаряды. Но это лишь слабый отзвук ожесточенного боя, который отшумел здесь. Немецкая дивизия уже полностью обескровлена и ей не удастся вернуть село. Наши танки теснят ее остатки дальше и дальше за реку.

Из подвалов выходят бледные от волнения колхозники. Плачет женщина, — осколок мины ранил ее корову. Наш автоматчик на мгновение задерживается. Он тут же по-хозяйски дает совет, как вылечить корову. Видно, до войны сам работал на животноводческой ферме. Женщина благодарит и немного успокаивается.

Трудно, очень трудно нарушить устойчивый деревенский быт. Вот только что отшумел страшный кровопролитный бой. А жизнь уже восстанавливается. Озираясь по сторонам и пригибаясь при свисте пуль, ходит по огороду старушка, связывая разбежавшихся ягнят. Бородатый старик, опасливо выглядывая из двери, зовет голых выгладывая и сыплет им пшено. Колхозники выносят из погреба кувшины с холодным, со льда, молоком и приветливо угощают запыленных усталых бойцов. Молодая девушка, озлобленно косясь на трупы в зеленых мундирах, говорит нашему командиру:

— Не пришлось иродам здесь пограбить.

мы возвращаемся на командный пункт генерала. Здесь узнаем подробности операции в целом. Нашими частями очищено от врага несколько населенных пунктов. Немецкий прорыв на этом участке ликвидирован. Угроза выхода в тыл нашим танкистам миновала. Немцы с огромными потерями отброшены за реку. Надежно обезопасив свой правый фланг, наши танкисты приступают к осуществлению новых боевых задач.

Сутки прошли спокойно. Немцы после неудачной операции на нашем правом фланге приводили в порядок свои разбитые части, подтягивали новые резервы. Наши танкисты тоже не дремали. Полковые мастерские день в ночь ремонтировали подбитые машины. На всех участках расставлялись танковые засады, которые должны были преградить путь врагу, откуда бы он ни сунулся. Разведчики непрерывно вели наблюдение за противником.

И вот наступило утро новой жестокой битвы.

Как обычно, с наступлением этого утра вместе с жаворонками возвратилась артиллерия. От бешеной канонады дрожали стекла в избах деревень, расположенных на значительном отдалении от переднего края. Высокие дымки пожарниц встали на горизонте. А канонада все усиливалась, возвещая начало сражения.

Как выяснилось позже из показаний пленных, немцы на этот день намечали операцию большого размаха, — они хотели массированными ударами нескольких дивизий с двух направлений отрезать и окружить наши части с их штабами, выйти на магистраль и развить успех на восток. Поэтому германское командование стремилось всемерно форсировать события. Уже к десяти часам утра немцы развернули на узком участке фронта две пехотных дивизии. В штабе танкистов все было готово к отражению нового удара немцев. В засадах бодрствовали танковые экипажи. Каждый батальон был обеспечен достаточным количеством боеприпасов. Были заранее продуманы все варианты боя.

Наблюдать за ходом сражения удобнее всего с командного пункта

танкового батальона, где командиром майор Бурда. Этот батальон прикрывает участок, куда немцы нацелили острый своего главного удара. Сюда и держит путь наша автомашина.

Передний край пока проходит за высотой. Оттуда доносится несмолкающий гул. В узкой ложнине, заросшей яблоневыми садами, — группа замаскированных танков. Укрывшись в раскинутой плащ-палатке, телефонист поддерживает непрерывную связь с соседями. Рядом на грузовике — походная радиостанция. Молодой радист слушает эфир, ловит голоса боя.

Майор Бурда только что кончил бриться. Он аккуратно расправляет складки своей гимнастерки. На груди поблескивают два ордена. Лицо его совершенно невозмутимо, словно майор на обычном учении. Между тем обстановка весьма серьезная, последнее донесение гласит: «Противник вводит в действие все больше артиллерии. Усиливается нажим пехоты. Из А движется большая колонна немецких танков. Вынуждены отойти к Б».

А вот опять примчался с переднего края разведчик с новым донесением: немцы атакуют высоту. Их силы во много раз превосходят наши. Нужна немедленная помощь. Бурда отдает короткий приказ, и шесть грозных танков, вихрем вырываясь из засад, устремляются вперед. Вот они нырнули в ручей, и столбы радужных брызг поднялись к небу. Вот они вошли в рожь и устремились вперед, как бронепосылы, плывущие по широкому морю. Вскоре танки скрываются из вида.

Из-за высоты доносятся сухие и злые удары танковых пушек. Танки вступили в бой.

На командном пункте тишина. Ждут новых сводок. Майор негромко говорит:

— Ни разу не видел у немцев столько артиллерии, сколько они сейчас вводят в бой. Научились, значит, ценить наши танки. Ничего! Мы еще больше набьем цену...

Бой усиливается. Слышны длинные исторические очереди пулеметов, без передышки бьют автоматы. Особенно нарастает огонь левее. Приходит донесение: западнее де-

семнадцать танков и полк пехоты, рассчитывая нанести удар по флангу. Командир танкистов Бойко бьет их короткими жесткими ударами. Через полчаса — новое донесение: немцы откатываются. И сразу же огонь усиливается на самом гребне, — мы светло видим, как немецкие снаряды и мины рвутся в километре отсюда.

Майор подзывает молодого щеголяватого танкиста с испанскими бачками. Это Леонид Лехман, дикой лейтенант, о котором говорят, что его можно послать на разведку хоть в пекло, он вернется невредимым да еще прихватит языка из армии Вельзеула.

— Поезжайте к высоте... Нужно знать, что делают сейчас наши шесть танков. Разведайте и немедленно возвращайтесь.

Лехман повторяет приказание, отдает честь, поворачивается. Через минуту он в машине.

К майору подходит повар, плечистый сибиряк Пинегин.

— Нельзя же так, товарищ майор. Генерал приказал кушать, — говорит повар, повидимому, уже не в первый раз.

Майор беспомощно улыбается и беспомощно машет рукой:

— Ну ладно, тащи.

Обрадованный повар несет кастрюлю с макаронами, согретыми на костре, банки с консервами, хлеб. Здесь же, под яблоней, командиры наскоро закусьвают, не отводя глаз от гребня вершины.

Слышен знакомый рев танка. Майор вскакивает и бежит навстречу машине. Вот она останавливается. На башне видны свежие следы осколков, но танк невредим. Открывается люк, выскакивает Лехман. Он мрачно докладывает:

— Товарищ майор, танк Новикова подбит. Я видел, как возле него копошились немцы. Мы хотели подойти — артиллерия не подпустила. Во ржи — противотанковые пушки. Мы их помяли малость, но танк увести не удалось. Остальные машины ведут бой...

Танк Новикова подбит.. Тяжелая весть. Даже эти бывалые воины потрясены. Майор, как бы отказываясь верить, только повторяет:

— Новиков? Новиков? Да не может быть...

ние, майор произносит официально:

— Продолжайте доклад.

Сведения, привезенные Лехманом, говорят о новом продвижении немцев. Танкистам трудно держаться, — нехватает пехоты. Как дорого дали бы танкисты за то, чтобы их мотопехота, оставшаяся на Северном участке, теперь оказалась здесь! Пехотины стрелковой части, измотанные многодневными боями, не в силах противостоять напору свежих немецких дивизий.

Закончив доклад, Лехман с силой швыряет на земь свой черепной шлем и с горочью восклицает:

— Видите вон там холм? Я насчитал там только семь человек. Вы понимаете, — этот холм держат семь пехотинцев. Если немцы сунутся туда, они пройдут, обязательно пройдут...

И как бы в подтверждение этих слов над холмом появляются и тают облачка разрывов. Немцы начинают новую атаку. Майор не может бросить вперед свой последний резерв. Он должен беречь его до конца.

Обстрел из орудий и пулеметов усиливается. Наша артиллерия непрерывно палит, но немцы все же продвигаются вперед. Вот на гребне показались черные точки. Сейчас даже невооруженным глазом можно разглядеть перебегающие по склону фигурки. Их много, очень много.

Видно, как отходит наша пехота. Бойцы цепляются за каждый бугорок, строчат из пулеметов, винтовки, вступают в рукопашные схватки. Но немцев в несколько раз больше, и они наступают. Теперь уж ясен их замысел... Психическая атака. Шагая во весь рост, они идут напролом. Впереди их катится вал огня. Разрывы приближаются к нашему саду. Теперь мины ложатся совсем близко. Отлапа команда — «По щелям». Осколком с карающим шуршанием сбивают листву с яблонь.

Немцы бросили в эту атаку три полка. Они наступают одновременно в нескольких направлениях. Видно, как впереди немцы катят руками противотанковые пушки. Сзади идут батареи на конной тяге. При каждом орудии восемь коней. В их боевых порядках рвутся наши сна-

разлетаются. Но они смыкают ряды и снова идут вперед.

— Точь в точь, как в фильме «Чапаев». Ну, сейчас им дадут дрозда! Оглянитесь назад!

На скат горы стремительно взлетают машины с нашими минометчиками.словно на параде, развертываются они на открытой позиции. Минометы бьют в упор массивными залпами на предельно короткой дистанции. Сотни мин с взр., в дыму и пламени, пронесются над нашими головами, и сразу же на противоположном скате, где только что маршировали немцы, встают клубы дыма и языки злобещего пламени. Все горит. Солдаты немцев остаются навеки на почерневшей земле. Среди уцелевших — замешательство. Тщето пытаются восстановить порядок выскочивший из-за бугра эскадрон кавалерии. Немские солдаты не хотят идти на верную смерть.

Германский штаб просчитался. Полагая, что наши бойцы психологически уже надломлены, они бросили в бой все свои силы. А наше командование, как ни тяжело нам пришлось, сберегло резерв. И сейчас, пользуясь минутным замешательством в рядах противника, свежие подразделения наших танков вылетают из укрытий и бросаются вперед. Это и есть переломный момент боя.

Уже сгущаются над полем боя сумерки, а бой все не утихает. До самого неба встают над пылающими деревьями злобещие столбы дыма. Надрывно воют бомбы. Далеко по степи разносится лязгание стали и рев танковых моторов. В воздухе пахнет порохом, гарью, отработанным бензином. И как-то странно ощущать в эти минуты запах жасмина: цветут сады.

Наконец, германское командование окончательно убеждается в том, что этот бой им проигран. Поредившие цепи немцев отходят за гребень. Разведчики доносят: «Немец оканчивается и тянет проволоку». Артиллерийский и минометный огонь утихает. Усталые бойцы начинают готовиться к ночлегу в раскопе открытых окопах. По ухабам проселков ныряют походные кухни с запоздалым ужином. В штабах состав-

итогах боевого дня.

Мы возвращаемся в штаб генерала. Здесь все поглощены уже новыми тактическими замыслами. Операция кончена, надо готовиться к новой.

— Сейчас уже ясно, — немцы поняли, что здесь им не пройти. — говорит генерал. Наступление противника на нашем участке можно считать законченным.

В мертвом городе

Наткнувшись на железное сопротивление частей Красной Армии на Северном участке Курского направления, немцы собрали все силы для того, чтобы прорваться южнее. Подавляющий численный перевес и превосходство в технике сделали свое дело: немецким мотомеханизированным войскам удалось форсировать водный рубеж, обойти Касторжскую и вырваться на подступы к Варшавке.

Опасаясь за свой левый фланг, над которым нависали наши танковые части, германский штаб выбросил на север мощный заслон. Несколько сот танков пытались пробраться проселочными дорогами как можно глубже, чтобы расширить узкий немецкий клин. На этом участке начинались новые ожесточенные битвы, и мы, простившись с танкистами, отправились туда.

Дорога в этот район пролегла через тот самый старинный русский город, который в первый же день наступления немцев сделался объектом воздушных ударов.

Мы вехали в город ранним утром. Был тот чудесный час, когда все живое расцветает и радуется: птицы стараются перекричать друг друга, цветы, согретые июльским солнцем, издают особенно густой аромат, и самое небо — изумительно голубое русское степное небо, налитое ранним зноем, — улыбается усталому путнику.

Город, раскинувшийся на высоком, в девяносто саженей, откосе, над серебряной рекой, манил зеленью старых садов. Девять затейливых колоколен очерчивали профиль стариннейшего из городов русских, чье название упоминают еще летописцы XII века. Как-то не шло, что

город разрушен, что пред нами только каменный его скелет.

Но страшная правда напомнила о себе с первого же шага. Изувеченный осколками шпалгаум повис на шарнире, словно подбитая рука. Три воронки на мостовой отмечали въезд в город. Удушливый запах пожарами от легвие.

Две недели назад, когда мы проезжали по этой же улице, она была полна людей. Люди возвращались с работы. В песке на уютных скверах играли дети. Девушки покупали билеты в кино, на базаре шла бойкая торговля. Теперь тишина. Полночь безлюдна. И только назойливое чириканье воробьев нарушает тягостное молчание.

Это началось 28 июня на рассвете.

Был базарный день. К рынку тянулись подводы со свежими овощами, молоком, картофелем. Город еще спал. И вдруг в центре его разорвался тяжелый снаряд. За ним второй, третий. Это немецкая дальнобойная артиллерия, установленная за десятки километров от города, начала свое черное дело.

Снаряды падали густо. Немцы не жалели металла. Начиная свое наступление, германский штаб решил похода расправиться со всем живым в прифронтовой полосе, посеять панику среди мирного населения, дезорганизовать наш ближний тыл. Слепые снаряды из разбирали дороги. Тонны взрывчатых веществ делали свое дело: с домов слетали крыши, каменные стены рушились, детские кроватки покрывались траурной пороховой копотью.

Но это было только начало. Самое страшное пришло позже, когда в воздухе загудели десятки самолетов.

Между тем в городе не было военных объектов. Здесь мололи зерно, вывелили мыла, варили мыло. Четыреста лет не воювал город. И трудно было представить себе, что враг именно на этот город обрушит всю тяжесть удара.

Пока наши вооруженные силы на линии фронта сдерживали бешеный натиск врага, немецкие воздушные эскадры ворвались прорываться к мирному городу, метолчески аккуратно разрушая кварталы один за другим.

Это продолжалось недолго. Наше

командование быстро нашло средство, заставившее немецкую дальнобойную артиллерию умолкнуть, а немецкую бомбардировочную авиацию умерить свою страсть к прогулкам над мирными городами ближнего тыла. Но этот город разрушен.

Обходим квартал за кварталом. Разбитые дома, изрытые воронками мостовые, кудожки рваных проводов по земле, обломки подвод,— это ехали на Фынок колхозники. В изрытом снарядами сквере — памятник Ленину, чьи-то заботливыми руками укрытый от осколков деревянным чехлом.

Из-за угла выходит человек в красноармейской форме с рукой на перевязи:

— Кто вы такие будете, граждане? Ваши документы.

Знакомимся. Человек в форме снимает левой рукой пилотку и вытирает загорелый лоб.

— Правильное дело. Сфотографируйте все это. Пускай на те карточки весь мир поглядит. Что наделал злодей, что наделал...

Это санитар Петр Дорогалцев. До войны он работал здесь в городе грузчиком. Потом его призвали в армию. Был на передовой. Ранили. Лежал в госпитале. Недавно отпустили в родной город на отдых.

— Ехал в отпуск, а попал обратно на фронт,— с грустью улыбается санитар.— Предлагали эвакуироваться. Но как тут эвакуироваться, когда для твоей профессии столько работы? Конечно, одной рукой неспособно действовать, но в горячем деле и одна лишняя рука дорога.

Руины всегда утомительно однообразны. Но когда с вами спутник, угадывающий в этих бесформенных гудах камней знакомые очертания дорогих его сердцу зданий, вы по-иному смотрите на обожженный камень. Мука, страшная, нечеловеческая мука светится в глазах Дорогалцева, когда он глухо говорит:

— Вот тут был наш музей. Знаменитый музей. Все там было. Из других городов приезжали глядеть... А это театр. Городецкий театр... Больница. Хорошая была больница... А тут парикмахарская. Бриться ходили... Аптека...

Ветерок колеблет ржавые железные листы рваной вывески. Это хлебозавод. Сивозв зияющие прова-

лы стены видны разбитые тесло-сильные машины. Тесто успело застынуть и покрыться толстой грязно-серой коркой пыли. Настель распахнуты двери здания городской почты. Из-под груд обвалившейся штукатурки виднеются пачки писем, которые так и не успели вручить адресатам. В доме без крыши стоят печатные машины. На одном из них ветер шевелит последний отиск — какой-то бланк. Над шеголеватой аркой сада каким-то чудом уцелел рупор радио. Он молчит. Ему не с кем теперь разговаривать.

Вот квартира учительницы. Под грудой кирпичей книги: «Методика арифметики», «Литературная хрестоматия». На уцелевшей стене — вышитый заботливой рукой коврик с наивным рисунком — кошка с бантиком. В опрокинутой банке — засохший букет полевых цветов.

А тут было обезценитие рабочих: аккуратно застланные койки, уже запесенные пылью, шкафчики для одежды, библиотечка красного уголка.

А здесь в небольшом уютном домике жила маленькая школьница Галя Карпухина. Вот ее школьная тетрадка, пробитая осколком. Последний диктант, аккуратно выписанный круглым старательным почерком. Ни одной ошибки. Отметка учительницы: «Отлично».

Наш спутник отворачивается и подносит здоровую руку к глазам. Потом сдавленно говорит:

— Где-то она теперь, сердечная? Галя, эх, гады! Какую жизнь поручили...

Мы идем все вперед и вперед. Мертвый город. Помпея наших дней лежит над рекой, как памятник времени. Надо все запомнить и все обречь. И ящик с елочными игрушками, засыпанный женой землей. И детская кроватка, просторченную пулеметной очередью с самолета. И свежие могилы на кладбище. И разбитые стенные часы в квартире старого доктора, которого любил и уважал весь город. И эту страшную тишину.

Контрудар

Здесь прошли наши танки. Много танков. Очень много.

Бои на этом участке фронта отличаются исключительным напряжением. Немцы, прорываясь к Воронежу, все время опасливо поглядывали на

свой непомерно растянутый фланг. Не оправдались их надежды на то, что двести танков, брошенных на север, расширят клин. Совершенно неожиданно для немцев они напоролась на советские танки неподалеку отсюда, за тихой степной заболоченной речкой. Так началась большая и упорная битва танков против танков.

Первая схватка танкистов с немецкими мотомеханизированными силами длилась около суток. Расставив противотанковые орудия в глубине улиц, в садах, сараях и домах, немцы пытались задержать неумолимый бег советских танков. Но тщетно. Немцы оставили одну деревню, за ней другую, потом третью.

А на следующий день началась бой за этот самый лес, где сейчас находится командный пункт танкистов. Сразу же — без всякой передышки, чтобы не дать немцам оправиться от первого удара, не дать организовать прочную оборону. И, быстро пополнив боеприпасы и бак горючим, даже не смыхнув с лиц пороховой копоти, танкисты снова и снова бросались в бой.

Дрались с небывалым остревением. Короткие сухие подтидонесения батальонов повествуют о делах исполненных подлинного драматизма:

«Командир танка, парторг Поздняков, вел огонь до тех пор, пока не потерял сознание от отравления порохowymi газами. Рядом с ним сражался Кукушкин, машина которого была выведена из строя. Увидев, что танк Позднякова прекратил огонь, Кукушкин под обстрелом пересел в машину парторга и продолжал драться, задыкаясь в порохомому дыму. Выпустив по немцам сто черты снаряда и нанеся им огромный урон, Кукушкин вывел танк парторга с поля боя».

«В машину танкиста Дмитриенко попали три немецких снаряда. Один из них ударил в днище, где соединяется сиденье водителя с броней. Водителя Степанова подбросило. Люк самопроизвольно открылся. Мотор заглох. Немцы усилили огонь. Но водитель Степанов не растерялся. Он закрыл люк и запустил мотор. Основные механизмы танка остались невредимы, и экипаж повел машину вперед на врага, продолжая сокрушать немецкую оборону».

немцами. Командир приказал механику-водителю и стрелку-радисту оставить горящую машину, а сам с башенным стрелком, комсомольцем Лозой, продолжал вести огонь до тех пор, пока снаряды не начали рваться в огне. Оба героя погибли смертью храбрых, но не оставили боевой машины».

Бой за лес продолжался целый день. У немцев было много хлопот. Их могильщики едва успевали закапывать убитых. Мертвецов оттащивали за реку в деревню и там, словно по конвейеру, укладывали в могилы. Когда немцев выбили из деревни, там обнаружили тысячу свежих, только что поставленных деревянных крестов.

Да, жарко пришлось тут немцам. С неба их били наши самолеты. В лоб громила наша артиллерия. Мощные танки мяли гусеницами. Пехота уничтожала огнем и штыком. И как ни удобна была для обороны эта дубрава, иссеченная овражками, раскинутая на скалах высот, немцы и суток не удержались в ней.

Они отскочили за реку, думая хоть здесь получить передышку, не представляя себе, что люди, укрытые зеленой непроницаемой броней, способны вести бой трое и четверо суток без всякого отдыха, без перерыва хотя бы на час.

Возвращена еще одна деревня. Теперь немецкому командованию ясно, что ни о каком продвижении на север, ни о каком расширении прорыва за счет северного фланга не может быть и речи. Теперь у них одна цель — хотя бы закрепиться, хотя бы удержаться на этих рубежах за рекой. Но и это не так просто. Наши танкисты рвутся все дальше.

Снова и снова свист и бой. Белые клубы дыма встают высокой ватной стеной, которую лучи заката сразу же окрашивают в тот же малиновый цвет.

— Дымовая завеса, — говорит полковник, опуская бинокль.

— Танки! Танки! — раздаются возгласы рядом.

Да, на склоне высоты теперь можно отчетливо разглядеть немецкие танки. Еще недавно они ввели бой. Часть их укрывалась в ложине. Теперь они, низкие, длинные, похожие издали на черных крыс, воровато,

танки ускоряют бег вперед.

— Преследовать! Преследовать! — приказывает полковник, и радио передает этот приказ в эфир.

Немецкая артиллерия усиливает огонь, прикрывая отход своих танков. Работники штаба с волнением наблюдают за полем боя. Разрывы снарядов все ближе, у самых наших танков. Танки умело маневрируют, двигаясь вперед. Но вот один стал. Полковник поднял к глазам бинокль: пойдет или не пойдет?

Танк не двигается с места. Над башней его поднимается дымок. Еще несколько мгновений, и столб пламени вырывается вверх, озаряя ложину, в которой уже начинают сгущаться сумерки. И сразу же — отдаленный звук разрыва; упрямая пушка горящего танка выплевывает снаряд. Еще один... Еще...

— По-нашему... по-танкистски... — едва слышно говорит полковник и снимает каску.

Танкисты молча, с сухими горящими глазами, наблюдают за последним боем товарищей. Кто там, в этом пылающем танке? На вид все танки одинаковы. Имена героев узнают позже, когда экипажи вернутся с поля боя. Кто бы они ни были — они советские танкисты и умирают героями.

Минута... две... Долгие, тягостные. Может быть, откроется люк и покажутся люди? Нет, видно, сейчас там идет особенно горячая схватка. И в танке знают, что для исхода боя важен каждый снаряд, который еще успеет выпустить танк.

Последний выстрел. Столб оранжевого пламени стал еще выше. Словно знамя, стелется он по темносинему небу. Сквозь грохот и вой боя слышны глухие и частые разрывы. Это рвутся неизрасходованные боеприпасы. Там, в танке, все уже кончилось.

Грохот боя перемещается дальше на юг.

Сражение продолжается. Десятки осветительных ракет и сигнальных огней взлетают вверх. Пляшущий фейерверк войны озаряет широкое поле битвы, где в эту ночь решается одна из тех боевых задач, которые в сумме своей определяют исход всей летней кампании.

*Действующая армия.
Июль, 1942*

В. СТАМБУЛОВ

ГЕРМАНСКИЙ ИМПЕРИАЛИЗМ И СОВЕТСКОЕ ГОСУДАРСТВО

Незадолго до Крымской войны один из руководителей австрийской политики бросил памятную фразу: «Мы удивим мир своей неблагодарностью». Это был намек на ту предательскую роль, которую собралась сыграть в надвигавшихся событиях Австрия по отношению к своей защитнице и спасительнице — России. Но не одной Австрии суждено было удивить мир своей неблагодарностью. В этом отношении с ней легко могла поспорить ее соседка — Германия.

Раздробленная, неспособная за два столетия изжить последствия своего поражения в Тридцатилетней войне, разъедаемая теми внутренними раздорами, которые получили в Европе крылатое название «les querelles d'allemands» (немецкие дразни), Германия на протяжении XIX века не раз была обязана своим спасением и сохранением своего независимого существования силе русского оружия или благосклонности русского двора. Само создание германской империи под эгидой Пруссии не могло бы иметь места, если бы этому воспротивилась вполне оправившаяся к тому времени от крымского поражения и обретшая вновь свою великую мощь Россия. Это был период, когда германские правители заискивали перед Россией и добивались не только русской дружбы, но и русского покровительства, когда они клялись, что по проб не забудут оказанных русскими услуг. Постоянно лишь германскому империализму

почувствовать свою силу, как столь смиренно выражаемые знаки благодарности уступили место тщательно скрываемой до тех пор злобной ненависти и зависти к России. Мерилом немецкой признательности может служить Берлинский конгресс и созданный в следующем, 1879 году австро-германский союз, острие которого было целиком направлено против России.

После франко-прусской войны 1870 года вся Западная Европа трепетала в страхе перед немцами. Садовая и Седал, которыми Германия была обязана не столько своей силе, сколько слабости своих противников, заслонили все ее поражения в Семилетней войне и в Наполеоновскую эпоху, а также сравнительно недавнее «ольмюцкое унижение» (1850 год), когда Австрия диктовала свою волю заносчивым пруссакам. Все это, подкрепленное быстрым расцветом немецкого капитализма, получившего мощный импульс благодаря огромной французской контрибуции, давало Германии преувеличенное представление о собственном могуществе. Немецкие честолюбивые замыслы не знали более границ. Если трезвые и осторожные политики, вроде Бисмарка, отдавали себе ясный отчет, что Германия не под силу тягаться с русским колоссом, то целая клика пангерманистских мегаломанов и военных авантюристов презрела уж о широкой экономической, а в случае благоприятных обстоятельств, и

Если прословутый «Драуг нах Остен» открыто разъярился как стремление в направлении Балкад и Багдада, то более или менее замаскированно под ним подразумевали и натиски в сторону Кавказа и Урала. Не говоря уже о воинственных русофобских статьях в ряде органов периодической прессы, Германия наводнялась специальной литературой, заключавшей планы завоевания и освоения «восточных пространств». Россия была могучей страной с тысячелетней высоко развитой государственностью, с великой культурой, но для германских империалистов, государство которых существовало без году неделю, она была лишь «пространством», чем-то вроде населенных дикарями африканских джунглей, нуждавшихся в пришествии немецких «культуртрегеров». Уже в ту пору появились всякие «теории» о том, что «бог создал немцев для господства над миром», что «славяне являются низшей расой, предназначенной служить немецким господам» и тому подобный бред. Уже тогда немецкие хищники бросали алчные взоры на плодородные поля Украины, на богатейшие источники русского сырья, мечтали о порабощении русского народа, с нескрываемым презрением относились ко всему русскому.

Правда, германские правители остерегались еще придавать этим устремлениям официальный характер. «Философия империалистического обогащения, — по меткому выражению А. Луначарского, — была только в зародыше». Но в агрессивных замыслах Германии не приходилось сомневаться. Уже с воцарением Александра III русское правительство учло грозившую опасность и приняло меры к ее предотвращению. Коалиции, созданной Германией против России, была противопоставлена еще более мощная русско-французская коалиция, были воздвигнуты известные барьеры против слишком откровенной немецкой экономической экспансии. Русско-германские отношения обострились. И в конечном счете именно антирусская политика Германии привела ее к страшному разгрому и поражению в первой мировой войне. Но еще за год до того, в самый разгар разо-

России произошло величайшее событие, открывшее новую эру в истории человечества — Великая Октябрьская социалистическая революция.

К осени 1917 года Германия была уже обескровлена, обнаруживала признаки глубокой деморализации, задыхалась в тисках блокады. Армии Германии еще повсюду стояли на неприятельских территориях, но ее наиболее дальновидные государственные деятели отдавали уже себе отчет, что война по существу проиграна, и чем далее Германия будет ее затягивать, тем страшнее будет катастрофа. Эти опасения нашли свое отражение в известной резолюции рейхстага, принятой большинством 212 голосов против 126, за мир «без аннексий и контрибуций». Но правящая клика вовсе не считала еще себя побежденной и не отказывалась от тех завоевательных целей, ради которых она ввергла Европу в войну. «Мирное наступление» рассматривалось лишь как способ внести разлад в ряды противника. Диктатура Гинденбурга — Людендорфа, едва прикрытая фиговым листом канцлерства бесцветного померанского юнкера Михаэлиса, являлась победой крайней военной партии.

Германские империалисты ничего не поняли в совершившихся в России великих событиях. Они считали, что Россия повергнута в прах, и спешили воспользоваться обстоятельствами.

Небывший генерал Гофман, тогдашний фактический руководитель военных операций на Восточном фронте, писал впоследствии в своей напумевшей книге «Война упущенных возможностей»:

«Русский колосс в течение 100 лет в политическом отношении оказывал такое давление на Германию, что нельзя было не испытать известного чувства облегчения при мысли о том, что русское могущество на целый ряд лет уничтожено революцией и большевистским хозяйничаньем».

Германские заправилы не были в состоянии понять, что Великая Октябрьская революция возродила Россию, придала ей небывалые силы, сделала ее непобедимой, что открывшая ей новая эпоха в истории имеет

для судеб русского народа, как и для всего мира, чем десятки победоносных наступлений.

Ночью 26 октября (8 ноября) 1917 года II съезд советов принял знаменитый декрет о мире. Съезд предлагал воюющим странам немедленно заключить перемирие по меньшей мере на три месяца для ведения переговоров о мире, который должен быть справедливым, демократическим, без аннексий и контрибуций, без победителей и побежденных. Это был великий голос советского гуманизма, призывающий государство и народы прекратить страшное кровопролитие. Но это предложение, отражавшее огромную моральную силу только что рожденного нового порядка и отвечающее страстным чаяниям передового человечества, было понято тугоголовыми немецкими милитаристами как проявление слабости и неспособности к дальнейшему сопротивлению. С этого момента разгоревшиеся аппетиты немецких империалистов взяли верх над чувством благоразумия и сделали их неспособными реально оценить создавшееся положение.

Приступая к мирным переговорам с Советской Россией, германские заправилы обращались с ней, как с побежденной страной, хотя никакой победы Германия не одержала.

Они даже не считали нужным придерживаться в переговорах обычных правил элементарной честности и порядочности. Они не гнушались любым обманом или подвохом, чтобы добиться своих разбойничьих целей. Тот же генерал Гофман, руководивший германской делегацией, откровенно хвастает, что немцы без труда согласились на русское, продиктованное лояльностью к союзникам, требование не снимать с Восточного фронта и не перебрасывать на запад новых войсковых соединений в течение всего времени, пока длится перемирие, так как германское командование поспешило произвести эти переброски до начала переговоров. Он с торжеством повествует о коварных аргументах немцев, согласившихся вести переговоры на основе принципа «без аннексий» и нашедших способ потребовать Прибалтику, Польшу и Украину под

ва наций на самоопределение». Такое низкопробное вероломство является типичной чертой германских империалистов.

Таким образом, соглашаясь на мир с Советской Россией, кайзеровская Германия руководствовалась чисто захватническими, грабительскими целями. В ее намерение входило получить в свои руки возможно больше русских территорий, частью непосредственно, а частью насадить там покорные ее воле марионеточные правительства. Что касается самого советского режима, то германские владыки испытывали к нему совершенно звериную ненависть. Этот режим был прямой противоположностью империалистической Германии.

Если в первое время кайзеровская клика надеялась, что советское правительство неустойчиво и должно весьма быстро пасть само собою, то вскоре ей пришлось в этом разочароваться. Советский строй укреплялся не по дням, а по часам. Это положение начало серьезно тревожить германских империалистов.

«С весны 1918 года,— пишет Гофман,— я стал на ту точку зрения, что правильнее было бы выяснить положение дел на востоке, то есть отказаться от мира, пойти походом на Москву, создать какое-нибудь новое правительство, предложив ему лучшие условия мира, нежели в Брест-Литовске, например, вернуть ему в первую голову Польшу, и заключить с этим новым русским правительством союз».

Что касается вероломного нарушения международного акта, под которым они только что торжественно поставили свою подпись, то это несколько не смущало немцев. Взятые ими на себя обязательства всегда были для них лишь «ключками бумаги».

Но они не давали себе еще отчета в прочности советской власти, которую неспособна была теперь свергнуть ни одна сила в мире.

По словам Гофмана, германский военный атташе в Москве, майор Шуберт, первый высказавшийся за решительное выступление против большевиков, полагал, что двух батальонов было бы вполне достаточно «для водворения порядка в Моск-

ства». Сам Гофман был менее оптимистически настроен, чем упомянутый «лояльный» дипломат. Он считал, что для этого понадобится несколько дивизий, которыми Германия располагала на востоке.

Ближайшие события показали немцам, насколько роковыми для них были просчеты относительно сил Советской России. Характер посаженных ими на Украине марионеточных правительств (сначала Петлюры, затем гетмана Скоропадского) никого не мог ввести в заблуждение. Население повсюду встречало выраженные в поштыте в Берлине синие жупаны «украинские» полки иронической песенкой:

От Киева до Берлина
Ще не вмерла Украина,
Гайдамаки ще не сдались
Deutschland, Deutschland über alles.

«Украинская» власть могла существовать, лишь опираясь на силу германских штыков. Для этого потянулась огромная оккупационная армия. Но и эти десятки дивизий, оснащенных артиллерией, броневиками и самолетами, не в силах были сломить сопротивление украинского народа. Немцы прочно держались лишь в больших городах. Вся страна пылала в огне восстаний и партизанского движения. Повстанцы истребляли даже крупные немецкие отряды, пускали под откос поезда, препятствовали выкачке хлеба и продовольствия. Сами немцы вынуждены были впоследствии сознаться, что захват Юга России не дал им тех продовольственных ресурсов, на которые они рассчитывали и в которых так остро нуждалась Германия. В центре Киева среди бела дня был убит сам командующий германскими военными силами генерал Эйхгорн. Под влиянием повального грабжа и мародерства, которым предавались немецкие войска на Украине, а также в результате использования их в качестве карательных отрядов для восстановления власти помещиков, армия разлагалась, теряла дисциплину. Солдатские массы сопоставляли свободный советский строй с каторжным режимом Германии, осознавали, что их заставляют вести захватническую

ми. Те десятки дивизий, которых не хватало Людендорфу для использования летнего прорыва на Западном фронте и которые могли решить участь войны в пользу Германии, были скованы на Украине. Переброска оттуда на запад даже отдельных небольших частей вызвала неожиданные последствия. Побывавшие на советской земле немецкие солдаты вели среди сражающейся против союзников армии пропаганду за немедленное прекращение войны, призывали к восстанию.

«Я того мнения,— пишет Гофман,— что именно эта переброска отдельных солдат из войсковых частей Восточного фронта на Западный имела роковые последствия. Большевистская пропаганда, несомненно, влияла на армию».

Германские трулящиеся видели, что мира они могут добиться лишь путем свержения кайзеровского правительства. В Германии начались волнения. Теперь германские правители думали лишь о спасении собственной шкуры. Сам Людендорф из страха перед неминуемой революцией настойчиво побуждал правительство немедленно заключить перемирие, хотя германская армия все еще находилась на неприятельской территории. 9 ноября монархия была свергнута, а двумя днями позже горделивые германские воюки смиренно капитулировали на милость победителя.

К началу 1922 года Германия находилась в критическом положении. В стране царил страшная экономическая разруха. Нажим Франции, требовавшей интегрального выполнения Версальского договора, становился все жестче, Германия чувствовала всю тяжесть своей международной изоляции. С другой стороны, Советское государство вышло победителем из всех страшных испытаний интервенции и гражданской войны. Оно быстро восстанавливало свое хозяйство, становилось активным и важным фактором мировой политики. В этих условиях наиболее дальновидные германские политики вспомнили заветы Бисмарка. «Апалльский договор, которым были возобновлены дипломатические отношения между Советской Россией и Германией, вывел последнюю из

ее международной изоляции. Открыл путь к экономическим отношениям между обоими государствами, он облегчил в значительной мере и хозяйственное положение Германии. Но для правящей верхушки страны рашпальская политика была лишь средством к достижению ее заглавных целей. Одни видели в ней удобное орудие для шантажа, направленного к облегчению условий Версальского договора, другие надеялись, что она позволит им осуществить экономическую экспансию в советских республиках. Наконец, были и такие, которые враждебно относились к этой политике и яростно проповедывали «крестовый поход» против Советского государства.

Одним из центров этих проповедей сделался пресловутый «Клуб господ», где царил небезызвестный фон Пашен, выступавший там в строго интимном кругу за франко-германский союз для борьбы с большевизмом. Не менее бешеная агитация против Советского Союза велась и в «младо-германском союзе» — «Jungdo». Вождь этой фашистской лиги Маруан писал в 1925 году: «Мы очень озабочены, что коварная пропаганда советской дипломатии находит отклик в кругах германских националистов». Он вел кампанию против известного полковника Николая (начальник германской разведки со времен прошлой войны), обвинял его в том, что он стремится к военному союзу с СССР. «Братья! обратите ваши взоры на восток... Скажите на восток!» — истерически вопил он на собраниях лиги.

К «скачке на восток» призывала махровая клика реакционеров, складывавшаяся вокруг бывшего принца, душой которой был все тот же фон Пашен и бывший адъютант принца, поставщик субсидий гитлеровцам, Арнольд Рехберг. К этой клике принадлежал и генерал Гофман, уже в начале 20-х годов выдвинувший свой бредовый план немедленного нападения на СССР. Одним из вариантов этого плана был поход против Советского Союза объединенной франко-германской армией. Рехберг ездил во Францию предлагать от имени Гофмана командование этой армией маршалу Фошу. Этот факт получал тогда под-

тверждением в интервью с Фомей, опубликованном в «Neues Wicner Journal».

Однако, но говоря уже о Франции, отказавшейся с приходом к власти левого блока от открытой интервенционистской политики, в самой Германии план Гофмана встретил яростную оппозицию в руководстве рейхсвера. Не только «левое» крыло высших военных кругов, как Ситт, Гренер, Шлейхер, Бредов, Гаммерштейн, но и правые, в лице Бауэри, Николан и других, считали нападение на СССР безумием, которое неминуемо привело бы Германию к новой военной катастрофе. Даже такой лютой враг Советского Союза, как Людендорф, сам требовавший незадолго перед тем войны с большевиками, ополчился против плана Гофмана. В свою очередь, король тяжелой промышленности, находившиеся в Советском Союзе сбыт для промышленного оборудования, были против гофманской авантюры. Гофман умер в 1927 году в тот момент, когда открылось уголовное дело с подделкой советских червонцев, в котором он был замешан. Но его плану суждено было восторжествовать после его смерти.

Политической партией, с самого начала ставшей яростной сторонницей плана Гофмана, то есть вооруженного нападения на Советский Союз, явилась созданная Гитлером партия так называемых национал-социалистов. Этому не приходится удивляться, если мы вспомним, что Арнольд Рехберг был одновременно главным вдохновителем Гофмана и посредником между шайкой Гитлера и магнатами Рура в деле получения от последних денежных субсидий. Еще в 1919 году Рехберг вел Гитлера с ничтожным, безважным из Советской России, балтийским студентом Розенбергом. В 1921 году Розенберг становится издателем и редактором приобретенного на добытые Рехбергом деньги листка, ставшего официальным органом гитлеризма, — «Фолькисше беобахтер». С первых же номеров Розенберг публикует там злобный манифест против большевизма и призывает к «крестовому походу» против России. В том же году Розенберг участвует от имени национал-социалистов в международной антисоветской конференции в

Рейхенхофме, где германский оккупационный, бывшая гофмановская маршальница в Кюцеле, а также ряд других лиц обсуждают план войны против Советской России.

В свою очередь, Гитлер под диктовку Рейхберга и его талантливых хозяев пишет в «Моей борьбе»:

«Если мы стремимся увеличить свою территорию в Европе, то это может быть сделано только за счет России. Новая империя поэтому должна будет пойти по пути, намеченному средневековыми германскими рыцарями и орденами, с тем, чтобы завоевать германским мечом ту землю, которая необходима Германии для того, чтобы нация имела свой насущный хлеб».

Эти строки писались тогда, когда Гитлер сидел в тюрьме, когда его партия насчитывала всего несколько сот человек, когда значительная часть германской промышленной олигархии ради непосредственных экономических выгод и различных политических интересов, держалась еще ливши Раппало, когда Германия была еще безоружна. С той поры прошло около десятка лет. Гинденбург, фон Папен и магнаты Рура продолжили Гитлеру путь к власти. В порядке дня вновь были поставлены открыто агрессивные грабительские замыслы на востоке.

В «Моей борьбе» по поводу «крестового похода» против СССР Гитлер писал: «Для проведения этой политики у нас может быть в Европе только один союзник — Англия. Только в том случае, если Англия будет охранять германский тыл, Германия сможет отправиться в новый крестовый поход. И вот немедленно после своего прихода к власти он посылает с пропагандистским визитом в Лондон Розенберга.

Но Розенберг — партийный лидер, а не член правительства. Его переговоры не носят официального характера. И гитлеровское правительство в том же году на международной экономической конференции в Лондоне ставит через своего представителя министра экономики Гугенберга — формальное предложение о предоставлении ему «карт-бланш» на Востоке. Правда, Гитлер посетил дезавуировать Гугенберга и заявил, что его демарш носил чисто личный характер. Но это было сле-

дано лишь тогда, когда Великобритания в ответ на предложение Гугенберга было встречено весьма холодно в междуна-родных кругах и не вызвало никакого сочувствия в Лондоне. Англия отказывалась не только охранять тыл «крестоносцев», но и дать свое благословение на поход.

Главное условие успешности нападения на СССР, о котором говорил Гитлер в «Моей борьбе», отпало. Но Гитлер не отказался от своих планов. Он отыскивает лишь новые способы их осуществления. В 1934 году эти планы принимают столь конкретный характер, что возбуждают тревогу руководящих кругов рейхсвера, прекрасно отдававших себе отчет, что Германия не готова к войне с СССР. Через несколько дней после кровавой бани 30 июня, во время которой под пулями гитлеровских убийц пали два виднейших представителя военных кругов, восставших против плана Гофмана, — Шлейхер и Бредов, группа генералов и высших офицеров рейхсвера обратилась с меморандумом к маршалу Гинденбургу. В этом послании говорилось, что отечество находится в опасности, что скачка к войне с СССР означает обречение на новую катастрофу, что военная мощь России и неблагоприятная для Германии международная обстановка требуют отказа от этого предприятия и что лишь возвращение к традиционной линии Висмарка и политика безопасности на Востоке могут предотвратить несчастье.

Это предостережение осталось глухим вопиющего в пустыне. Оно было и последним серьезным политическим выступлением рейхсвера, обладавшего когда-то, во времена Секта, первенствующим голосом в Германии. Гитлер тогда же принял меры к тому, чтобы отныне рейхсвер стал его послушным и безгласным орудием. Некоторые видные фрондирующие генералы, вроде Гаммерштейна, были удалены с руководящих постов. Другие были подкуплены наградами, повышениями, подарками. Маршал Макензен, пользующийся огромным влиянием в военных кругах, получает от государства в собственности огромное поместье (Брюссель); его старший сын назначается начальником штаба 10-го армейского корпуса, другой сын получает пост

посланника в Будапеште. Опальный Сект вызывается из Китая, где он был инструктором войск Чан Кайши, и ему вновь предоставляется крупный пост в армии и т. д.

Но Гитлер не ограничивается этим. Он вводит в руководство рейхсвера своих креатур, всецело преданных ему людей, «гитлеровцев с первого часа», находившихся до этого времени в пресловутом Wehrpolitisches Amt der N.S.D.A.P. (Военный отдел национал-социалистической партии) и формировавших отряды S.A. и S.S. Это ультрапанучисты и террористы вроде Эппа, Рейхенау, Хазельмайра, Литцмана и др.

Wehrpolitisches Amt упраздняется, но его руководители вливаются в созданный Гитлером в нарушение Версальского договора Генеральный штаб. Этот последний не состоит более из людей старой классической военной немецкой школы, верных последователей испытанных доктрин Клаузевица — Мольтке-старшего — Шлиффена. Теперь там становятся полными господами сторонники бредовых «теорий» Гофмана. Во главе 3-й армии, заранее предназначенной для похода на Австрию, Чехословакию, Украину, назначается генерал Федор фон Бок, бывший офицер главной квартиры кронпринца и его личный друг, пытавшийся в день бегства старого кайзера в Голландию посадить на опустевший трон «верденского мясника».

Позже Гитлер доверяет чистку руководства рейхсвера, удалив слишком «осторожных», осмеливающихся еще возражать против его авантюристических замыслов, — Бека, Бломберга, Фрича. Армия становится слепым, безгласным орудием в руках Гитлера и Геринга. План Гофмана является отныне руководящей официальной доктриной гитлеровской Германии.

Гитлер начал войну с Запада. Но это не означало, чтобы он хоть на минуту отказался от мысли о нападении на Советский Союз. Наоборот, никогда еще германская плутократия, от имени которой он правит, не стремилась столь жадно овладеть «восточным пространством»: советской нефтью, углем, железом, марганцем, советскими землями и хле-

бом, как о момента создания «Третьего рейха». И не при одном из смевшихся в Германии режимах бешеная злоба к России и идеологическая звериная ненависть к порожденному в ней Великой Октябрьской революцией порядку не были так остры, как при Гитлере.

Советское и фашистское государства составляют два противоположных полюса человеческого общества: царство света — и царство мрака, режим свободы — и власть деспотического произвола, гуманизм — и члвкоисконенавистничество, мировой прогресс — и возвращение к средневековому варварству, мирное строительство — и международный разбой.

Властителями судеб Советского государства являются трудящиеся массы; гитлеровской Германией правит жалкая кучка жадных плутократов. Советская система основана на равенстве всех народов, всех национальностей, всех рас. Гитлеризм строит свою государственность на господстве арийской расы. Говоря о будущем порядке в Европе, Гитлер заявляет: «Это будет федерация, но ее члены не будут, конечно, равноправны с немцами. Союз второстепенных народов, не имеющих армий, не ведущих собственной политики, не имеющих собственной экономики, вот в чем будет эта федерация». В другом месте Гитлер писал: «Я никогда не признаю — за другими народами равенства в правах с немецким народом. Наша миссия заключается в том, чтобы подчинять другие народы. Германский народ призван дать миру новый класс господ».

Советское государство с величайшей любовью и уважением относится к мировой культуре и создаст свою собственную величайшую культуру. Об отношении гитлеровцев к культуре дает яркое представление известная фраза из пьесы «Шлагетер» матерого национал-социалиста Ганса Юста:

«Когда я только слышу слово «культура», я спускаю предохранитель на своем револьвере».

С момента своего возникновения Советское государство вело неустанную борьбу за сохранение и укрепление мира. Оно раз навсегда отказалось от завоевательной полити-

ки. Именно оно предложило проект всеобщего полного разоружения. Оно категорически осуждало всякие агрессии. С приходом Гитлера к власти человечество было обречено на страшную бойню. Фашизм открыто прославлял войну, делал ее божественным культом, возводил на степень высшей философской догмы.

«Мы сознательно переходим,— вещал Гитлер,— к политике завоевания новых земель в Европе. Когда мы говорим о завоевании новых земель, мы, конечно, можем иметь в виду в первую очередь только Россию и те окраинные государства, которые ей подчинены».

За 25 лет существования Советского государства там не было написано ни единой строки, призывающей к завоеванию Германии или к нападению на нее. Но в Германии существует огромная литература, посвященная агрессивным планам против Советского Союза.

Ради интересов жадной клики германских империалистов Гитлер разжег страшный мировой пожар. Он пролил потоки крови. Но он ошибся в своих расчетах легко и «молниеносно» победить Советский Союз.

Советские народы ответили на вероломное разбойничье нападение Германии великой отечественной войной. Они встали как один человек на защиту своей дорогой родины и величайших завоеваний Октябрьской революции. Война на Востоке стоила уже Германии таких страшных жертв и испытаний, которые никогда и не снились кровавому Гитлеру и его преступной клике. Эта война будет вестись Советским государством совместно с другими свобододлюбивыми народами мира до окончательной победы, до полного уничтожения гитлеризма.

Осмелившись посягнуть на Советское государство, германские империалисты сами подписали себе смертный приговор.

ДЖЕМС ВИЛЬЯМС

МАСТЕРА КУЛЬТУРЫ И СОВЕТСКИЙ СОЮЗ

«В голову — надежды вспыхнувшего сердца, в сердце — скептицизм усталой головы» — этими словами революционного поэта могло быть охарактеризовано отношение значительной части мастеров культуры к Великой Октябрьской социалистической революции двадцать пять лет тому назад. Сердца таких мастеров культуры, как Анатолий Франс и Бернард Шоу, «вспыхнули надеждой», когда они услышали весть из России, весть о рождении нового общества, основанного на правде и справедливости.

Но случайно такие люди, как Анатолий Франс, Бернард Шоу, Анри Барбюс и Ромен Роллан с первых дней советской власти объявили себя ее горячими сторонниками. Когда Анатолию Франсу вручали Нобелевскую премию, шведский король спросил лауреата, известного всему миру в качестве тонкого скептика и продолжателя дела Вольтера: «Какими убеждениями?», и мэтр, к вящему удивлению своего коронованного собеседника, ответил, что он является коммунистом. Конечно, Анатолий Франс не был коммунистом. Но Анатолий Франс стремился именно в разговоре с тем, кого считал представителем общества старого мира, заявить о своем сочувствии идеалам, которые поблдали на одной шестой части земного шара.

Анри Барбюс, сознание которого выковывалось в огне сражений первой мировой войны, также почувствовал горячую симпатию к Советской России. Преодолевая многие предрассудки, идя к нам сквозь туман религиозно-философских убеж-

дений, сложившихся у него давно, Барбюс увидел у нас маяк свободы и счастья для всего человечества. Более того, он взялся проложить к нему пути для других, кто, как он, находился во власти предрассудков, но не сумел от них освободиться полностью. Барбюс захотел познакомиться поближе с людьми нового общества и как бы завещал мастерам культуры свою замечательную книгу о Сталине, человеке с головою ученого, с лицом рабочего, в одежде простого солдата.

Я помню, в обширной аудиторной лондонского Альберт-холла Бернарда Шоу в 1922 году спросили: «Как вы относитесь к советскому правительству?» Бернард Шоу сказал: «У советского правительства добрые намерения; в осуществлении этих добрых намерений ему мешают другие правительства. Поэтому, вообще относясь к правительствам неблагоприятно, как подоает ирландцу, драматургу и социалисту, я делаю исключение для советского правительства».

Случалось отдельным мастерам культуры в первый момент не понять многого из опыта нашей революции. Не всегда могли разглядеть новую Россию во мгле, которая ее окружала. И писатель Герберт Уэлс, обладающий замечательной фантазией и умеющий видеть облик грядущего в дымке настоящего, оказался одним из тех, для кого новая Россия оставалась все еще загадкой. Но и он хотел понять, искал искренне и честно.

В первые годы после Октябрьской революции наши враги не раз пытались искусственно создать разоб-

ценность между Советской страной и интеллигентнейшим миром. Наши враги знали, что коммунизм производит на душу настоящего творца культуры волнующее впечатление, от которого нельзя освободиться. И поэтому наши враги изображали Октябрьскую революцию как гибель культурных ценностей. Невогда, совсем с других позиций, Гейне писал в предчувствии революционных потрясений: «С ужасом и трепетом думаю я о времени, когда эти мраморные исполины достигнут господства, — своими грубыми руками они беспощадно разобьют все мраморные статуи красоты, столь дорогие моему сердцу; они разрушат все те фантастические и пруршские искусства, которые так любил поэт; они вырубят мои олеандровые роши и станут сажать в них картофель... Увы! Я предвижу все это, и несконная скорбь охватывает меня, когда я думаю о гибели, которую победоносный пролетариат угрожает моим стихам, которые сойдут в могилу вместе со старым романтическим миром».

И наши враги стали изображать дело так, будто в Советской стране на самом деле разбиты «все мраморные статуи красоты», как будто и в жизни в Советской стране вырублены олеандровые роши и в них посажен картофель. Белогвардейские «публицисты», заявляя себя свидетелями упадка культуры, спешили своими клеветническими выступлениями отгнать «усталые головы» мастеров культуры от большевиков. Ленину, Горькому, Луначарскому пришлось проводить немалую разъяснительную работу. Только с течением времени мастерам культуры стало ясно, что именно в Советской стране, как нигде, охраняются памятники культуры, что в Советской стране, как нигде, дорожат преемственностью исторической традиции в тех случаях, когда эта традиция представляет собою лучшее, что есть в народной душе.

Я помню, всего через три года после выступления Бернарда Шоу другой квалифицированный английский интеллигент, профессор Джон Майнард Кейнс, читал в том же Альберт-холле доклад о своем путешествии в СССР по случаю юбилея Академии наук. То было в 1925 году, и Кейнс специально оста-

новился на городе Ленинграде. Он сравнил Ленинград 1925 года с Берлином. «Ленинград,— сказал Кейнс,— похож на человека, знавшего лучшие дни; благородные седины говорят об этом; Берлин напоминает выскокку-мещанина, надевшего новый с иголки к костюм и стремящегося обратить на себя внимание всех окружающих. Но там, где Ленинград держит себя с достоинством, Берлин отличается дерзостью». К словам Кейнса о том, что Ленинград знал лучшие дни, прицепился какой-то белогвардеец, спросивший Кейнса: «Что же большевики сделали с Ленинградом?» Кейнс ответил: «Большевики сохранили Ленинград. Они заботливо охраняют его культурные ценности от разрушения. Они не имеют средств строить дома для населения, но они находят средства для того, чтобы сохранить дворцы и музеи». Видно, Кейнс был оскорблен вмешательством белогвардейца, пытавшегося исказить его слова.

Не один Кейнс, а многие другие, побывавшие в Советском Союзе в течение первого десятилетия после Октябрьской революции, стремились прежде всего убедиться в том, что большевики не являются разрушителями культурных ценностей, и, удивившись в этом, отдавали должное своему восхищению идеями Октябрьской революции. Только немногие, подобные Эптому Синклеру, умели вовсе отбросить в сторону клевету по адресу СССР.

Но вот Советская страна вступила в новую полосу своей истории и от заливты нового государства, от ликвидации разрушений, вызванных мировой и гражданской войнами; перешла к мирному строительству, к созидательной работе. Советская страна показала всему миру образец планового хозяйства, образец организации. В это самое время на пяти шестых мира свирепствовал жесточайший экономический кризис. Многие квалифицированные интеллигенты, мастера культуры, знавшие Россию отсталой в культурном и техническом отношении страной и в первые годы нашей революции относившиеся к России попрежнему безразлично или с недоверием, ста-

ли обращать своё внимание к стране социализма.

Герберт Уэлс в беседе с товарищем Сталиным в 1934 году говорил, что квалифицированный интеллигент, который ранее не стал бы даже прислушиваться к революционным разговорам, теперь очень ими интересуется. Уэлс говорил: «Недавно я был приглашен на обед Королевского общества, нашего крупнейшего английского научного общества. Речь председателя была речью в пользу социального планирования и научного управления. Лет тридцать тому назад там не стали бы даже слушать того, что я говорю. А теперь во главе этого общества стоит человек с революционными взглядами, настаивающий на научной реорганизации человеческого общества».

Если в первые годы советской власти такие люди, как инженер Штейнмец, предложивший Ленину свои знания и свой опыт, были исключением, если призывам и примеру академиков Алексея Баха и Лины Штерн, покинувших Европу для того, чтобы жить и работать в Советском Союзе, последовали немногие, то во втором десятилетии развития Советской страны наступил значительный поворот среди лучшей части технической интеллигенции мира. Недаром заметил о Москве профессор Гарольд Ласки в 1934 году: «Москва стала Меккой для всех сторонников планирования». Множество сочинений на всех языках мира было написано о советском планировании; докторанты американских университетов приезжали в Советский Союз, подобно Кальвину Кулиджу, для того чтобы составить на эту тему очередную диссертацию. А маленькая книжка Ильина «Рассказ о великом плане» разошлась в Соединенных Штатах Америки в миллионе экземпляров: ее читали в деловых конторах, на фабриках и заводах, в публичных библиотеках и более всего в рабочем кабинете интеллигентов. «Усталая голова» старалась превозмочь усталость от жизни и понять, каким образом люди на одной шестой части мира обеспечивают себе благополучие и не знают более страха за свою судьбу в условиях нового, создаваемого ими, общественного строя.

Не было недостатка и теперь в клеветнических измышлениях по адресу Советской страны. Наши враги: разоблачительные фактами, сменили утверждения по поводу разбитых мраморных статуй и вырубленных олеандровых рош другими лживыми заявлениями. Среди этих заявлений главное место занимали мерзкие наветы на тему о том, что советским людям вообще плохо и тяжело жить. Нашлась англо-американская миллионерша, лэди Астор, которая позволила себе в печати предложить такое пари: «Пусть любая английская рабочая семья предпримет на мои деньги переселение в СССР. Если она проживет в этой стране три года и пожелает остаться там, я, лэди Астор, уплачиваю этой семье тысячу фунтов стерлингов; если, как я полагаю, окажется, что семья пожелает вернуться в Англию еще до срока, то проигрыш пари будет подтвержден в форме соответствующего заявления в печати. Я в деньгах не нуждаюсь». Пари было принято, а лэди Астор его блистательно проиграла. Кстати, не защищает ли сын переселившегося в СССР английского металлиста, ставшего ленинградским рабочим, свою прежнюю и новую родину от угрозы со стороны фашизма? Не пошла ли на пользу, в конце концов, та тысяча фунтов стерлингов, которую лэди Астор пришлось все-таки перевести через три года на скромную сберкнижку ленинградского металлиста, в прошлом безработного из Бирмингема? Впрочем, у владельцев Клайденского поместья могут быть на этот счет сомнения и поныне.

Находились, правда, не только миллионеры, но и другие, приезжавшие в СССР, так сказать, с заранее обдуманной намерением, — убедиться в преимуществе своего положения над судьбой советского человека. Были люди, называвшие себя интеллигентами, вроде печальной памяти Андра Жида, которым не нравилась здоровая простота советских людей и которым недоставало свободы декадентских кривляний, свободы для упадочного ингилизма в советской демократии. Они пытались на весь мир прокричать о том, что Советский Союз не устраивает их ни морально, ни материально. Но, желая иметь голос, звонкий, как труба,

эти господа издавали только жалкий шепот. Их словам внимали те, кому любо было их слушать, кто в них нуждался. Это были враги всякой культуры — фашисты, гитлеровцы, показавшие миру свой звериный оскал после прихода их к власти в Германии.

И вот второй период в отношениях мастеров культуры к Советскому Союзу — период внимания к достижениям, к строительству, осуществленному в Советской стране, сменяется третьим периодом. Наступило время, когда от выражения сочувствия и от выражения интереса надо было перейти к решительным действиям в защиту нового мира. Стало ясно, что дерзкая рука фашизма будет занесена на самые основы современной цивилизации и культуры; стало ясно, что гитлеровские бандиты стремятся возродить жесточайшие времена инквизиции, пыток и аутодафе, вернув нас к мрачному средневековью. В борьбе против этой чудовищной угрозы, в борьбе против этой страшной средневековой реакции в мире оказалась сила. И, прежде всего, такой силой явилась одна шестая часть мира — Советский Союз, — готовая противостоять нападению, готовая защищать культуру и цивилизацию.

Мы видели, как такие люди, как Томас Манн, Альберт Эйнштейн, Карл Чапек, Мартин Андерсен-Нексе, настоятель Кентерберийского собора Джонстон и биолог профессор Холдейн в разных странах, но почти одновременно и под влиянием одних и тех же событий вместе с прежними друзьями СССР — мастерами культуры — применили к числу защитников Советского Союза. В то же время двое величайших ученых, обладающих громадным опытом в изучении социальной действительности, супруги Веббы, постарались сделать в глазах интеллигенции коммунизм respectableм и выступили с двухтомным манифестом в пользу СССР, назвав его: «Советский коммунизм — новая цивилизация».

В ответ на клевету о том, как живет в Советской стране, недавно выступил замечательный мастер культуры, американский киноактер Чарли Чаплин. Дело было на митинге, созданном с целью оказания

содействия СССР в его борьбе против гитлеровской Германии. «В течение долгих лет, — сказал Чаплин, — нам говорили, что в Советской России живется плохо. Наступила историческая проверка, и теперь все говорят нам с восхищением, как героически сражаются советские люди. Следовательно, им есть что защищать. Следовательно, они нашли жизнь, которую хотят защищать. И я бы хотел, — заключил Чаплин, — чтобы у нас тоже было желание бороться за свою страну, бороться за американскую демократию и американские идеалы так, как борется русский народ за свою демократию и свои идеалы».

Сегодня мы видим лучших мастеров культуры среди тех, кто участвует в борьбе против гитлеровской Германии, кто является союзником Советской страны в день 25-летнего юбилея его существования не только на словах, но и на деле. Мы знаем английского биолога Холдейна, возглавившего английскую противовоздушную оборону и сделавшего немало для уничтожения гитлеровских воздушных стервятников над Англией. Мы знаем немецкого писателя Томаса Манна, бросившего свои ученые степени и свое положение в лицо палаческому режиму Гитлера и ведущему борьбу не на жизнь, а на смерть с фашизмом. Мы знаем американского киноактера Чарли Чаплина, создавшего фильм «Диктатор» и оправдавшего своей издевкой над изображаемым им Гитлером свою замечательную, полную сарказма фразу: «Я могу простить Адольфу, что он носит такие же усики, как я, но я не могу простить ему, что над ним смеются больше, чем надо мной». Оружие смеха в руках Чарли Чаплина убийственно, и им он разит Гитлера.

Некоторые мастера культуры, как Толлер, С. Цвейг, поспешили в припаде малодушия покончить счеты с жизнью, ибо не верили в близость победы над темными силами реакции. 25-летний юбилей Советского Союза является юбилеем величайшего утверждения жизни. И лучшие люди интеллигенции с высоко поднятой головой, во всеоружии своих знаний и своего таланта, одухотворенные надеждой вспыхнувшего сердца, идут в одном ряду с нами.

А. ГОЛУБЕВ

К ВОПРОСАМ ТАКТИКИ НАСТУПЛЕНИЯ

Шестнадцать месяцев напряженной борьбы с войсками фашистской Германии и ее союзников дали Красной Армии богатый и разнообразный тактический опыт. Этот опыт частью подтвердил правильность тактических положений, существовавших в мирное время, частью потребовали внесения в них крупных изменений.

В тактической области минувший опыт отечественной войны выдвинул три формы действий, имеющих самостоятельное значение: наступление, оборону и преднамеренное отступление с целью выхода из боя.

Овладение каждой из этих форм тактических действий является обязательным для правильного руководства действиями войск на поле боя.

Опыт войны показал, что наступление попрежнему является основным видом действий, имеющих целью нанесение решительного поражения противнику. Все остальные формы действий на войне могут иметь значение лишь как приводящие к ослаблению противника или ставящие войска в выгодное положение для наступления. Далее опыт войны показал, что сам по себе наступательный бой не есть еще полное поражение, а тем более уничтожение противника. Уничтожение противника достигается или в результате окружения его, или путем безостановочного преследования. Таким образом, чтобы быть полностью успешным, наступательный бой должен завершаться или

окружением противника, или перерасти в его преследование.

Оборона применяется тогда, когда наступление невозможно или нецелесообразно. Задача обороны заключается в том, чтобы, опираясь на выгоды местности, организованную систему огня и внезапные контратаки, обескровить противника, привести к крушению его наступления и тем самым подготовить выгодные условия перехода в собственное наступление.

Преднамеренное отступление с целью выхода из боя имеет своей основной задачей вывести из-под ударов противника войска, попавшие в невыгодное положение, с тем, чтобы в последующем или занять там выгодное положение для обороны, или, соединившись с подходящими резервами, перейти в решительное наступление.

Во всех указанных видах действий, как правило, принимают участие различные роды войск. Каждый из них имеет свои сильные и слабые стороны. Успех боевых действий зависит от слаженности работы различных родов войск, правильного взаимодействия между собой, в котором каждый из родов войск с наибольшей полнотой выявляет и применяет свои сильные стороны и, опираясь на помощь других родов войск, обеспечивает от противника свои слабые стороны.

Для современных боевых действий характерно участие в них многочисленных и разнообразных технических средств борьбы. Однако опыт

двенадцатимесячных боев с особой силой снова подчеркивает роль и значение в современном бою пехоты и общевойсковых соединений, основу которых составляют пехотные части. Только пехота оказывается способной выполнять все боевые задачи, на любой местности, в условиях любой погоды и в любое время суток и года. Боевая деятельность пехоты протекает в непрерывном и тесном взаимодействии с артиллерией, танками и авиацией, но только решительное продвижение пехоты в наступлении и ее упорное сопротивление в обороне решают исход боя. Опыт отечественной войны выделяет пять видов пехотных частей: стрелковые, горнострелковые, моторизованные, лыжные и воздушно-десантные. В боях в прибрежных районах и во взаимодействии с морским флотом особое значение приобретает имеющая специальную выучку морская пехота.

Артиллерия и минометы выявили себя как наиболее могущественное наземное средство огневого воздействия на противника. Современный бой — прежде всего огневой бой. Успех в бою невозможен без того или иного подавления огневых средств противника. Подавление огня противника — основная задача артиллерии и минометов. Все действия войск на поле боя должны быть поддержаны артиллерией и минометами. Наиболее решительные и быстрые результаты в бою дает массированное внезапное и гибко управляемое применение артиллерийского и минометного огня.

Танки выявили себя как одно из самых решительных средств наступления и как мощное средство контратак в обороне. Их особенность как боевого средства заключается в высокой подвижности, проходимости, мощном огне, броневой защите и большой силе удара.

Танковые части являются основой танковых соединений, применяемых фронтальным и главным командованием для решения самостоятельных оперативных и тактических задач. Отдельные танковые соединения применяются для решения совместных задач с пехотой и кавалерией и используются в тесном взаимодействии с последними. Успех боевых

действий пехоты и танковых частей определяется их применением в крупных массах и постоянным управлением ими в процессе боя и операции в интересах наступления пехотных или кавалерийских частей.

Авиация выполняет различные задачи; основной из них является боевое содействие наземным войскам. С этой целью боевая авиация поражает войска противника в глубине его расположения, подавляет и уничтожает его огневые средства и живую силу на поле боя. Авиация является также средством разведки и наблюдения над полем боя и используется для высадки воздушных десантов, переброски войск, их снабжения и эвакуации.

• • •

Каждая война в своем начале отражает опыт последней предшествующей ей войны. До нынешней мировой войны наибольший отпечаток на уставы всех армий наложил опыт первой мировой войны 1914—1918 гг. Эта война началась как маневренная война, закончилась как война позиционная. Каждый из этих периодов войны имел свои тактические формы. В начальный период войны войска всех армий развстрывались на широком фронте, имея в частях и подразделениях сравнительно небольшое резервы. Развстрывание на широком фронте и неглубокий боевой порядок в ту пору имели пол собой вполне реальное основание. Части и соединения всех армий имели сравнительно немногочисленную артиллерию. Основным оружием пехоты была винтовка. Пулеметы были немногочисленны и тяжелы. Минометы совершенно отсутствовали. Решающие боя достигались преимущественно огнем винтовок и ударом в штыки. Роль артиллерии сводилась к поддержке наступающей пехоты. В этих условиях, для того чтобы иметь успех в бою, нужно было обеспечить участие в нем наибольшего количества винтовок и артиллерии. Это и приводило к развстрыванию частей и соединений на широком фронте в построениях, близких к линейным. Поскольку бой был скоротечным, он не требовал применения крупных резервов. Все

в первой линии.

Последующее развитие войны вызвало резкое изменение тактических форм действия и применяемых в них боевых порядков частей. Минувреные операции в этой войне постепенно затихали, образовавшиеся фронты оказались сплошь занятыми войсками. За войсками первой линии образовались сильные резервы. Не сумев сломить противника в открытом бою, обе воюющие стороны закрепились в землю. В войсках резко увеличилось количество пулеметов, появились минометы. Оборона стала располагаться в несколько линий. Чтобы сломить такую оборону, необходимо было обеспечить большое численное превосходство в артиллерии и пехоте. Успех боя зависел главным образом от того, в какой мере артиллерия разрушала укрепления противника и обеспечивала наступающую пехоту от его огня. Взятая сама по себе, пехота была бессильна преодолеть сопротивление противника и зависела целиком от огня сопровождающей ее артиллерии. Чтобы обеспечить решение этой задачи, наступающий оказался вынужденным сосредоточивать на участках наступления огромные массы артиллерии. Во всех крупных наступательных операциях второй половины войны 1914—1918 гг. количество артиллерии у наступающего на один километр фронта составляло 80—100 орудий и больше. Однако, несмотря на это, наступающие войска всегда несли большие потери, особенно из числа находившихся в первой линии. Чтобы восполнить потери и восстановить силу наступающих войск, части наступающего стали строиться в глубокий боевой порядок. Дивизии, полки и батальоны строились в два-три эшелона. В армиях дивизии также располагались в два-три, иногда даже в четыре эшелона. Части вторых и третьих предназначались в основном для замены частей первого эшелона, обескровленных потерями. В условиях войны 1914—1918 гг. этот боевой порядок оправдал себя. Такое построение давало возможность проламывать оборону противника. Вторые и третьи эшелоны сменяли обескровленные части первой линии и продолжали ведение боя до конца. Успешность применения глубоких,

первой мировой войне была обусловлена многими причинами.

Важнейшими из них были следующие. При прорыве оборонительных позиций решающую роль играла артиллерия, в огромных массах сосредоточенная к месту предполагаемого прорыва (наступления). От того, как решала свою задачу артиллерия, зависело наступление пехоты. Вооружение пехоты по сравнению с началом войны улучшилось, но не дошло до такой степени, чтобы дать возможность пехоте решать свои задачи самостоятельно. Это приводило к тому, что неиспользование огневых средств вторых и третьих эшелонов не играло существенной роли, поскольку это покрывалось мощью тогдашнего артиллерийского огня. Затем характер тогдашней артиллерии и авиации исключал возможность систематической борьбы с глубиной обороны боевых порядков наступающего противника. Огонь обороны сосредоточивался тогда на первых, головных эшелонах наступающего. Авиация в бою существенной роли не играла. В итоге части, находившиеся во вторых и третьих эшелонах, до входа в бой больших потерь не несли и сохраняли свои силы свежими до фактического участия в бою. До войны 1939—1942 гг. глубокие тактические порядки были взяты за правило во всех армиях, однако ход войны вскрыл не только сильные, но и слабые места такого ведения боя. Глубокий боевой порядок оправдал себя в условиях атаки укрепленных позиций при наличии большого превосходства в танках и особенно в артиллерии и авиации. При борьбе в полевых условиях более резко сказались недостатки этих порядков. Эти недостатки заключались в следующем. Современные пехотные части обладают более мощным вооружением, чем в войне 1914—1918 гг. Благодаря этому вооружению и при условии его искусного применения пехота может вести бой самостоятельно. Между тем, при глубоком построении в исходном положении в бой вступают первоначально только первые эшелоны пехоты. Остальные эшелоны долгое время остаются в бездействии, без возможности применить свое оружие. В итоге полу-

что облетает противнику борьбу с ними. Далее имели место случаи, когда вторые и третьи эшелоны еще до вступления в бой несли большую потерю, чем первые эшелоны. Объясняется это тем, что первые эшелоны наступали в боевых, то есть более разрыхленных, построениях. Вторые и третьи эшелоны, чтобы не терять управления и сохранять данные им направления, должны были следовать за наступающими войсками в более густых порядках, привлекая на себя огонь дальнобойной артиллерии и особенно авиации противника. Таким образом современная война потребовала исключительной гибкости в построении боевых порядков частей. Современный бой не требует отказа от эшелонирования сил в глубину вообще. Но он требует, чтобы ведущие еще бой части обеспечивали возможность участия в бою наибольшего количества сил и средств. В известных условиях эшелонирование наступающих войск может быть менее глубоким, но зато боевой порядок может обладать большей силой огневого воздействия. Что касается эшелонирования войск в глубину, то он может производиться как в тактическом, так и в оперативном масштабах.

Далее опыт текущей войны с особой силой выдвинул требование к боевым порядкам — быть обеспеченными на флангах и стыках от контратак и контрударов противника. Этот опыт показывает, что противник ищет флангов и стыков частей и стремится именно по ним наносить свои удары. Современный бой очень подвижен и прожорлив. Войска, ведущие бой, нуждаются в маневре, своевременном подкреплении и обеспечении. Эти задачи могут быть решены лишь при наличии резервов. Отсюда современные боевые порядки нуждаются в резервах, причем особенно резко встает вопрос о наличии резервов танковых и противотанковых. Без них нельзя достигать устойчивости в бою, трудно развивать и закреплять успех и парировать удары противника.

Современный бой является по-прежнему огневым боем. Вопросы организации и использования огня стоят на первом месте. Современное развитие огневых средств затрудняет

являет большие требования к маневру вне поля боя, то есть оперативному.

Даже полностью укомплектованные и в целом успешно действующие части, иногда способны быстро ослабевать из-за тяжелых потерь, теряя вместе с ними способность к дальнейшему наступлению. Бой требует питаться свежими силами. Уставшие и понесшие потери войска требуют замены и вывода в резерв на пополнение и доукомплектование. Эти задачи в современных условиях наиболее целесообразно решать в рамках крупных соединений.

Опыт наступательных боев дает возможность сделать также поучительные выводы и о месте командира в наступательном бою. Участие в бою различных родов войск, быстрое и резкое изменение обстановки, а также сложность задач, решаемых войсками в процессе боя, предъявляют к руководящему боем командиру высокие требования. Выход командира из строя всегда болезненно отзывался на состоянии и боеспособности войск.

Некоторые уставы довоенного времени, определяя место командира в бою, предъявляли к нему требования находиться (особенно в масштабах взвод — рота) впереди своих войск и вести их лично в атаку. Выполняя это требование, наши командиры дали исключительные образцы личного мужества, отваги и героизма. Однако это одновременно вело и к многочисленным потерям в командном составе. Кроме того, находясь впереди атакующих частей, командиры теряли возможность постоянного наблюдения за ходом боя и управления боевыми действиями всех наступающих войск.

Таким образом, опыт боев показал, что такое положение с местом командира в бою не соответствует больше интересам нашей армии и вытекает из недооценки роли командира как организатора боя, из недопонимания того, что командир является центральной фигурой в боевых порядках войск, что сохранение командира является одним из важнейших условий успеха в бою.

Из опыта боев вытекает, что лучшим местом нахождения командира

рядком своего подразделения, части или соединения, откуда он может наблюдать за ходом боя своих войск. Видеть боевой порядок, согласовывать свои действия с соседями, наблюдать за противником.

* * *

Наступательные бои разворачиваются в разнообразных условиях и носят различные тактические формы. Наибольшие тактические результаты дает бой на окружении. Бой на окружение возникает или в результате обхода и охвата группировок противника с открытых флангов, или путем одновременного прорыва фронта противника на нескольких участках. Последнее достигается фронтальным ударом, организуемым, как правило, из положения непосредственного сопряжения с противником. Опыт отечественной войны показывает, что эта форма действий является наиболее типичным случаем наступления в современных условиях.

Прорыв обороны фронтальным ударом протекает в различных условиях, определяемых в первую очередь временем, имеющимся у противника на подготовку обороны.

При атаке укрепленных позиций атакующие войска первой линии должны стремиться рвать фронт противника на наиболее слабых участках его обороны, стремиться к тому, чтобы, не ввязываясь в длительный бой с сильными опорными пунктами, быстро преодолеть всю глубину обороны противника и выйти в районы, обеспечивающие возможность широких маневренных действий. Сильные опорные пункты блокируются наступающими частями, а затем уничтожаются силами резервов и вторых эшелонов армии. Чем менее укреплены позиции противника, тем большая быстрота и стремительность действий требуется от наступающих войск.

Наоборот, атака сильно укрепленной позиции и укрепленных районов носит исключительно методический характер и должна вестись путем последовательного овладения различными участками оборонительных сооружений неприятельских войск.

ступенчатое на обороняющегося противника требует тщательной подготовки и является той формой действий, где взаимодействие основных средств борьбы — пехота, артиллерия, танки, авиация — находит свое наиболее полное выражение.

Успех наступательного боя определяется проникновением пехоты на всю глубину неприятельских позиций. Все остальные роды войск строят свои действия применительно к наступлению пехотных частей. Обеспечение наступления пехоты должно являться основой для взаимодействия всех родов войск.

Это взаимодействие не во всех боях носило достаточно полный и законченный характер. Причина этого видется в том, что не всюду план взаимодействия призывает весь план боя. Еще имели место частые случаи, когда взаимодействие оказывалось построенным на отдельных эпизодах, в которых различные роды войск вынуждены решать общие задачи.

Так, например, организация взаимодействия артиллерии с пехотой нередко заканчивалась только артиллерийской подготовкой и содействием пехоте в захвате отдельных рубежей и пунктов в процессе наступления.

Опыт отечественной войны ввел в оборот термин «артиллерийского наступления». Этот термин исходит из того, что артиллерия не только готовит атаку пехоты, но и вместе с последней органически участвует во всем наступательном бою от его начала до конца.

Практически в ходе боя определялись три периода артиллерийского наступления: подготовка атаки, поддержка атаки и обеспечение действий пехоты и танков в глубину обороны противника.

Артиллерийская подготовка атаки по времени определялась в двух видах: короткая, измеряемая часами, и длительная, измеряемая днями. Первая обеспечивает внезапность наступления и применяется при атаке полевых укреплений противника; вторая дает сильное разрушение оборонительных сооружений и применяется при наступлении на хорошо укрепленные позиции и укрепленные районы. Как особенность

чественной войны выделилась стрельба прямой наводкой отдельными орудиями по отдельным огненным точкам и сооружениям врага.

Наряду с артиллерией в качестве мощного огневого средства выявился миномет. Количество минометного вооружения в войсках по сравнению с началом войны резко возросло. По силе, интенсивности и моральному воздействию минометный огонь не только не уступает артиллерийскому, но в ряде боев превосходит его. Минометный огонь стал таким же управляемым, как и артиллерийский, и вошел в состав частью в понятие «артиллерийского наступления». Практика боевых действий сформировала роль и значение в бою авиации, ее взаимодействие с наземными войсками. Наибольшее содействие наземным войскам авиация оказывает, участвуя непосредственно вместе с ними в разгроме противника: из поле боя, причем практика показала необходимость и целесообразность перехода в этом содействии от эпизодической (хотя бы и мощной) помощи к систематическому участию авиации в бою. Практическое значение имеет не только количество и тоннаж сброшенных бомб, но и время нахождения авиации над целью. Сброс бомб залпом обычно не дает таких результатов, как воздействие на те же цели тем же количеством бомб, сбрасываемых с нескольких заходов.

Систематичность и неотъемлемость участия авиации в современном бою дали новое понятие — «авиационное наступление». Практически в этом наступлении выявились два периода: подготовка атаки и поддержка атаки и действий пехоты и танков в глубине обороны противника.

В отношении применения танков в наступательном бою опыт показал целесообразность применения их крупными частями во взаимодействии со стрелковыми соединениями, без дробления их отдельными группами по частям и подразделениям этих соединений, причем в качестве основной задачи танков, действующих совместно с пехотой, резко выделялась борьба с пехотой и пехотным оружием врага.

В течение первых шестнадцати месяцев отечественной войны бое-

ственно маневренный характер. Первоначальная оборона врага прорывалась сравнительно легко. Большие трудности встречались при развитии наступления в глубину расположения неприятельских войск. Это было связано с тем, что противник переходил к обороне очагами и, опираясь на них, маневрировал своими резервами, между тем как ударные группировки наступающих войск постепенно рассеивались, теряя свою ударную силу.

Продолжение наступления в этих условиях резко поставило вопрос о восстановлении ударных группировок в процессе наступления, то есть вопрос о перегруппировках в ходе боя. Искусство перегруппировок стало одним из важнейших требований в деятельности командиров различных степеней.

По своим тактическим формам наступательные бои в условиях отечественной войны характерны стремлением к постоянному окружению и полному уничтожению противника. Окружение достигалось преимущественно охватами и обходами группировок противника как результатами предшествующих фронтальных ударов с целью прорыва. Замыкание кольца вокруг окруженных частей неприятеля производилось сравнительно легко. Сложнее обстояло дело с уничтожением окруженного противника. Бои показали, что в современных условиях группировки, находящиеся даже в полном окружении, способны на длительное сопротивление, если им удалось создать организованное сопротивление и сохранить управление войсками. В связи с этим, при борьбе с окруженным противником в качестве основного требования выявилась необходимость последовательного дробления его боевых порядков на отдельные, изолированные друг от друга районы, простреливаемые пулеметным и минометным огнем, и ликвидации этих групп порознь.

Тактический опыт наступательных боев отечественной войны исключительно богат и разнообразен. Мы взяли только некоторые вопросы, которые приобрели особо актуальное значение и которые в ходе войны получили четкое освещение.

Л. Тимофеев

СОВЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА И ВОЙНА

Война в наши двери стучится,
Предательски ломит в окно.
Ну что же,— ведь это случится
Когда-нибудь было должно.
Об этом и в песнях мы пели,
И думали столько годов,
За нами — высокие цели,
Чтоб каждый был драться
готов.

В этих стихах Н. Асеева, написанных в самом начале войны, очень верная мысль: борьба советской литературы с фашизмом началась задолго до его предательского нападения на Советский Союз 22 июня 1941 года.

Основная задача литературы в том, что она в конкретных художественных образах выражает общественные идеалы, общественные стремления своего времени, рисует человека таким, каким он должен быть в жизни. С первых же шагов своих советская литература, вбирающая в себя лучшие традиции мировой классической гуманистической литературы, начиная с рассказов молодого Горького, вступила на путь изображения Человека с большой буквы, человека во всем богатстве его духовной деятельности, его труда, преобразующего мир.

Вот этим непосредственным осуществлением своих основных творческих принципов советская литература во главе с ее родоначальником — Горьким противостояла фашизму с его звериным, античелове-

ческим отношением к жизни. Она внутренне была готова к войне.

Весь мир был поражен в дни войны той потрясающей стойкостью, тем изумительным героизмом, которые проявил советский человек в борьбе с фашизмом. Но для внимательного наблюдателя в тех качествах, которые были обнаружены советским воином, не было принципиально ничего такого, что не проявилось бы ранее в героике будней социалистического строительства. Советский боец вырос в дни мирного труда, в дни строительства советской культуры. В нем сложились и закалились те черты характера, которые в своем наиболее высоком и героическом выражении позволили Красной Армии выдержать разбойничий удар Гитлера.

Военная тема не была сколько-нибудь распространена в советской литературе последних лет. Немногие произведения, затрагивавшие эту тему («На востоке» — Павленко, «Дорога на океан» — Леонова, «Первый удар» — Шпанова), не нашли продолжателей. В центре внимания советских писателей стоял советский человек Сталинских пятилеток — строитель культуры, любовно возделывавший поля и сады своей родины.

«Цена культуры неисчислимо высока,— писал М. Горький,— это цена крови и жизни миллиардов людей, которые несколько тысячелетий работали для того, чтобы создать сокровища науки, искусства». Мысли Горького о культуре представляют собой чрезвычайно глубокое выра-

туры. Для него характерна прежде всего гуманистическая концепция культуры. «Суть культуры — уважение к личности, доверие к ее духовным силам, не превращенным, но возможным и всегда ценным; культурная деятельность — стремление вызвать как можно больше разума и воли, освободить физически поработанного человека, дабы его физическая энергия пошла на выработку энергии духовной».

Пафос культуры для Горького — это прежде всего пафос созидательного труда: «Всю мою жизнь, — говорит он, — я видел настоящими героями только людей, которые любят и умеют работать, которые ставят себе освобождение сил человека для творчества, для украшения нашей земли, для организации новых форм жизни, достойных человека».

Вот почему эпоха социалистического строительства для Горького — это прежде всего период освобождения человека, создания нового человека — человека радостного, освобожденного труда. Вслед за М. Горьким и вся советская литература была воодушевлена идеей творческого труда и развития свободного человека. Центральный образ советской литературы — это образ человека-созидателя, не останавливающегося ни перед какими трудностями, строящего свою жизнь в самых различных областях своей обширной страны, растущего в обстановке трудового героизма. Горные экспедиции и строительство гидростанций, перестройка деревни и создание новых городов на окраинах советской земли — всюду трудился этот человек, всюду крепла его культура, его любовь к своей земле.

Идея патриотизма — центральная идея всей русской литературы. Произведение, с которого она начинается свою историю, — «Слово о полку Игореве», написанное еще в XII веке, представляет собой исключительной по глубине и яркости выражения патриотического чувства призыв к защите русской земли от иноземного нашествия.

С тем большей силой патриотическое чувство русского человека в советскую эпоху, открыв-

го развития и совершенствования.

Этот-то человек — строитель и патриот — и был парисован советскими писателями в предвоенные годы. В нем уже созрели основные черты советского человека: страстная любовь к родине, воля, ломающая все препятствия, стойкость и выдержка. Вот почему еще задолго до войны эта советская концепция человека противостояла фашистским мракобесам, хватавшимся, по их собственным словам, за револювер при слове культура. В разговоре с Раушнингем Гитлер заявил, что «мы живем в конце эпохи разума, — суверенитет мысли является патологической деградацией нормальной жизни». Задача воспитательной работы для него, как известно, состоит в простом «разведении здоровых тел». Геббельс, которого, по его словам, «тошнит от каждого печального слова», Розенберг, умудрившийся даже Сократа объявить «международным социал-демократом своего времени», и другие приспешники Гитлера много труда положили на то, чтобы воспитать тип человека-зверя, в котором мы узнаем анекдотического мальчика Фрица: посмотрев на картинку, изображавшую зверей, терзавших в Риме на арене христиан, он сказал: «Мне жалко вон того тигра, который остался сзади, он остался без еды». Мы имели не так давно случай познакомиться с этим выросшим Фрицем по дневнику его, изданному в Нью-Йорке Куртом Риссом. («I was a nazi Flier». By Gottfried Leske Flight sergeant in the luftwaffe. Ed. by Curt Riess. The Dial Press. New York. 1941).

Готфрид Леске — автор этого дневника — и есть то самое здоровое тело, которое надо было вырастить Гитлеру. Гитлеризм выел его душу, как червь выедает яблоко. Дневник его, охватывающий целый год и занимающий сотни страниц, интересен именно тем, что он во весь рост показывает тип того человека, которого — путем разведения здоровых тел — строится создать фашизм. Этот человек, которому сам Геринг приколол к груди Железный крест, поражает прежде всего своим самодовольством и некультурностью. У него не может

возникнуть и мысли, что на свете может быть что-либо хорошее, кроме германского. Задумавшись о том, кто изобрел парашют (характерно, что он, летчик, этого не знает), Готфрид записывает: «Германцы, вероятно. Все важное изобретено нами». В войне этот человек гитлеровского производства участвует, как мальчишка. Он спокойно регистрирует после налета на Брюссель и Антверпен: «Жители разбегались из домов, пытались спрятаться. Мы ехались настолько низко, что могли наблюдать бегущих. Некоторые имели велосипеды, другие вели детские колясочки. Синевышли, мы обстреляли их ураганным огнем. Они попрятались по канavam вдоль дорог. Однако, это не помогло им». Его приятель, человек того же образа, рассказал ему о том огорчении, которое он испытал, когда над Варшавой поднялся белый флаг: «Удовольствие бомбежки кончилось слишком скоро.» Этот человек, кроме военной литературы, ничего не читает, ибо для него самое лучшее чтение — это его «Фельдцейтунг». Вот таких людей с Уэльсовского острова доктора Моро фабрикует фашизм на горе всему человечеству.

И вот этой-то упробной психологии, этой трагической пародии на человека противостояла с самого ее возникновения советская литература с ее пафосом благородной человеческой личности, воспетой Горьким и Маяковским, Островским и Шолоховым, с ее обаятельными женскими образами, нарисованными Шолоховым, Тренковым и другими советскими писателями, с ее глубочайшим интернационализмом, с ее основными темами — труда, разума, свободы.

Вот в этом противостоянии глубоко гуманистической концепции человека в советской жизни и непрерывного фашистского антигуманизма и заключалась основная подготовка советских писателей к борьбе с гитлеризмом. Самым своим существованием советская литература с ее верой в человека, с ее пафосом созидательного труда, с ее величайшим уважением к мировой культуре обличала фашизм, показывала всему миру его звериную сущность.

Вот почему содержание советской литературы беспощадным светом озаряло и разоблачало все убожество фашизма. В этом свете уже давно стала ясной та упроба, которую нес фашизм всему просвещенному человечеству.

Слышишь,— незадолго до войны спрашивал К. Симонов,—

как порохом пахнут стали
Порядовые статьи и стихи?
Перья штампуют из той же стали,
Которая завтра пойдет на штыки.

Вот почему фашистский удар советская литература встретила спокойно и уверенно, опираясь на весь тот творческий опыт, который она уже накопила в годы своего противостояния фашизму еще до вооруженного с ним столкновения.

Вот почему, когда пришла час битвы с фашизмом, советские писатели, как один, поднялись вместе со всем Советской страной на защиту своей родины, пошли в бой вместе с теми, кого они изображали в своих произведениях.

Оборвалась полемика, закончились литературные споры, борьба литературных направлений. «Сейчас у советской литературы есть только одно направление — на запад», — сказал как то Илья Эренбург. И он был глубоко прав.

С первых же часов войны советские писатели вышли на линию огня. «В первый день великой отечественной войны, — вспоминает украинский писатель А. Корнейчук, — около маленькой комнаты секретаря партбюро Союза писателей Украины стояла необъясненная очередь. Молодые и старые писатели пришли с заявлениями, в которых было не сколько слов: «Прошу парторганизацию послать меня на фронт, чтобы с оружием в руках защищать родную Украину, нашу великую родину, от немецких рабителей». Круглые сутки кипела жизнь в союзе. Здесь днем и ночью рисовали плакаты художники, к ним писали тексты поэты и прозаики. Здесь же создавались фельетоны, одноактные пьесы для сцены и эстрады. Беспрерывно звонил телефон, писателей звали на митинги. Они выступали

Эта картина деятельности писателей Украины типична для советских писателей любой республики Страны Советов. Нельзя найти никакой исторической аналогии тому массовому участию в непосредственной боевой, фронтовой работе, которую развернули советские писатели в дни борьбы народов Союза с гитлеризмом, обгаренным кровью всех народов Европы. Около четверти всего состава Союза писателей работает на фронте. Из 800 членов московской организации писателей ведет работу непосредственно на фронте около 250 человек. Белорусская, Ростовская организации — на фронте почти целиком. Создано огромное количество военных газет — фронтовых, армейских, дивизионных, в каждой из которых работает группа писателей. Огромная работа ведется и в тыловой печати. Не считая многочисленных произведений — очерков, коротких рассказов, описаний, боевых эпизодов и пр., ежедневно появляющихся в периодической прессе, за год войны вышло на одном только русском языке больше тысячи книг, написанных советскими писателями о войне и для войны. А если учесть, что в Союзе 185 народностей и что газеты в нем выходят на 105 языках, журналы — на 36, а книги — на 90, то размах этой работы представляется еще более грандиозным. Слово советского писателя идет в массы не только при помощи печатного станка. Оно распространяется при помощи радио и звукового кино, оно звучит с эстрады в тылу и на фронте, повторяемое многочисленными мастерами художественного чтения, оно поется в песню, которая уже давно стала одним из любимейших жанров советской поэзии. Имя советского писателя можно увидеть и в «Газете Н-ского отряда, действующего в тылу врага», и в листовке, сбрасываемой с самолета, и в газетах, печатающихся для областей, временно оккупированных врагом. А сам советский писатель, если это позволяют ему здоровье и годы, идет среди советских бойцов под огнем неприятельских батарей.

«Я хочу, чтобы штыку приравнили перо», — писал когда-то Маяковский. Этот завет осуществляют сейчас советские писатели.

Во время Севастопольской войны русским солдатам, героям обороны Севастополя, каждый месяц обряды был зачтен за год военной службы. Это было глубоко верно. Значительность событий и сила души человеческого, способной им противостоять, были таковы, что время переживалось защитниками Севастополя иначе, чем обычно, — оно казалось несравненно более плотным, напряженным, весомым. Месяц равнялся году. Человек в двадцать лет, спустя десять месяцев, приобретал опыт и зрелость тридцатипятилетнего. Иным было то, что можно назвать давлением времени.

Атмосферное давление измеряют барометром. Но, если давление становится выше атмосферного, — а оно может достигать до тридцати и более тысяч килограммов на квадратный сантиметр, — то его надо измерять уже новым прибором — манометром.

Давление времени нельзя измерить, конечно, но оно ясно ощутимо, и оно различно в различные эпохи. Каким манометром можно было бы измерить высокое давление наших дней?

Сталь как гранит, влей пламя в вены,
Вдвинь сталь пружин, как сердце,
в прудь, —

писал Валерий Брюсов в годы гражданской войны, обращаясь к советскому человеку. Именно таким должен быть человек в наше время, время великой отечественной войны.

Наши дни — дни наивысшего напряжения. Это дни борьбы, исход которой определяет ход мировой истории на сотни лет, это дни, когда дело организации победы над врагом требует небывалой сосредоточенности воли и сил всей страны.

Давление времени таково, что человек должен собрать все свои силы, чтобы устоять, выдержать, выдюжить, сломить врага. Войну 1914—1918 гг. называли войной нервов. Великая отечественная война — это война принципов величайшей человечности с бредовой фашистской манией всеобщего рабства и уничтожения.

стойкость советского человека, советского воина, опирается не только на техническую мощь Красной Армии, в ней сказались не только национальные черты русского и братских ему народов — мужество, умение воевать в любых условиях, выносливость, верность долгу, — она основана на том новом моральном уровне, на который подняло советского человека великое учение Ленина — Сталина.

Заветы Ленина — этой великой мерой измеряется сейчас величие нашей страны, достоинство каждого советского гражданина, значимость каждого нашего дела.

Ими меряется и наше литературное дело.

Определить, в какой мере служит наша литература своей родине, в какой мере она участвует в общем деле борьбы с врагом, подобравшимся было к сердцу страны, отброшенным от него, но все еще опасным, напрягающим последние силы, — значит определить, в какой мере она верна заветам Ленина, как сумела претворить их в жизнь.

Заветы Ленина — это и есть тот измеритель, который способен и определить высочайшее давление нашей эпохи и показать тот уровень стойкости, который необходим, чтобы выдержать это давление и преодолеть его.

Сущность литературы не только в том, что она в конкретных и ярких формах отражает окружающую нас жизнь. Она и не только в том, что литература прежде всего и больше всего рисует человека во всей полноте и конкретности его жизни. Главное в литературе то, что она воплощает в живых образах идеалы своего времени, в героических примерах раскрывая своему читателю, во имя чего он борется, к чему он стремится.

Эта необходимая для писателя связь с мечтами, стремлениями и чаяниями народных масс требует от него бесподобного отклика на те опасности, которые угрожают идеалам его страны, его народа.

Вот почему так значительна роль литературы сейчас, она должна перевести на язык всех доступных художественных образов идеалы и

рых должны мы жить, во имя которых должны, если надо, идти на смерть. Это — для войны. Эта основная задача поднимает сейчас себе все остальные.

Цена победы — цена крови. Сейчас не настало еще время, чтобы считать мы стали раны, товарищей считать». Бой еще не кончен, враг еще не уничтожен. Но мы можем с гордостью сказать, что к той драгоценной крови, которая пролита за нашу родину, примешана и горячая кровь советских писателей.

В этой живой, неразрывной, кровяной связи нашей литературы с боевой работой Красной Армии, громящей врага, в том, что советский писатель — зачастую боец в точном смысле этого слова, — осуществляется самый важнейший завет Ленина советской литературе.

Художник — по мысли Ленина — имеет право писать лишь о том, что он сам «пережил, передумал, переживал» (т. XXVII, стр. 92), только при этом условии может он создать подлинно художественное, то есть воздействующее на массы, произведение. Искусство, — говорил Ленин Кларе Цеткин, — должно «уйти своими глубочайшими корнями в самую толщу народных масс». Только тогда оно станет «понятно этим массам и любимо ими», только тогда оно сможет «объединять чувства, мысли и волю этих масс, поднимать их» (по сб. «Ленин о литературе», М. 1911, стр. 276).

Этот завет Ленина и осуществляется в той связи советских писателей с фронтом, о которой мы только что говорили. Поэтому-то их слово и приобретает разную силу оружия, поэтому народ внимает ему даже с опасностью для жизни.

Для областей Украины, временно занятых немцами, Политуправление Западного фронта издаст газету «За радянську Україну». На Украине ее попросту любовно называют «Баканка», по имени писателя М. Бджана, который работает в ней вместе с Валлой Васильевой, Александром Корнейчуком и другими. О том, как ценит ее украинский народ, ярко свидетельствует случай, о котором рассказало как-то А. Корнейчук: «В село прибежал мальчик

За радннську Украйну». Двадцать дней взяли наши в руки и пошли по снегу разыскивать газету. Целый день искали, наконец, нашли и прочитали в село». Этот пример — лишь один из бесконечного множества примеров, говорящих о той активной роли, которую наша литература играет в борьбе с врагом, воодушевляя массы, ведя их за собой.

На разных языках, но с единым чувством высокого советского патриотизма советские поэты (Симон Чиковани и Самед Вургун, К. Симонов и А. Твардовский, Хамид Алимджан и Наирн Зарян) и прозаики (Ванда Василевская и И. Эренбург, В. Горбатов и В. Гроссман, Л. Соболев и Ордубады) несут свое слово в массы, выражая их чувства, их волю. Характерно, что виднейшие наши писатели и поэты обратились к публицистическому жанру, создав образцы горячей, зажигающей художественной публицистики.

III

Каковы же те пути, которыми шла наша литература в эти военные месяцы?

Она подсказывалась, естественно, ходом самой войны.

В центре ее на первый план выдвигались жанры оперативные, если так можно выразиться, то есть позволявшие дать наиболее быстрый отчет на события, высказать с наибольшей прямотой чувства, охватившие писателя. Краткий очерк, выхватывавший в стремительном потоке событий отдельный яркий факт, лирическое стихотворение, вырвавшееся патриотический почтем поэта, публицистическая статья, оформившая мысли писателя еще до того, как они уехали отлиться в образную форму, — вот те основные литературные жанры, с которыми советские писатели выступили на страницах печати в первые месяцы войны. Многие из них в качестве военных корреспондентов отдавали свои силы систематическим обзором положения на том или ином участке фронта, что было существенным дополнением к скупым и лаконичным официальным сводкам.

продиктованных машинописке и переданных по телеграфу или доставленных на самолете, под огнем создававшихся строчках уже выступали основные темы, определялись центральные образы, прояснялись творчески подвигавшие эти писателей, намечались те жанры, в которых они могли наиболее полно откликнуться на события дня, часа, почти что минуты.

Так, в первые же дни войны, выдвинулся и окреп своеобразный жанр художественной публицистики, прекрасные образцы которой дали А. Толстой, И. Эренбург, Сергей Ценский, Ванда Василевская. В Грузии художественно-публицистического творчества дал Геронтий Кикодзе, в Армении — Аветик Исаакян, в Азербайджане — Ордубады. В особенности развернулась публицистическая деятельность И. Эренбурга, с огромным подъемом и изобретательностью работающего в этой области. Но главное место занял, конечно, очерк (из тысячи книг, вышедших за год войны, на очереди приходится около четырехсот).

Это, конечно, вполне понятно и закономерно. Советская литература уже имеет в своей истории период, когда очерк выдвинулся буквально на первое место. Это было в начале реконструктивного периода, когда повизна материала потребовала от писателя прежде всего накопления фактов, необходимых для того, чтобы он мог обратиться к художественным обобщениям. Первые книги, которые вышли в начале войны, представляли собой просто сборники боевых эпизодов, частью взятых из сообщений Информбюро, частью из сообщений газетных военных корреспондентов, — настолько велика была необходимость сразу же дать самым широким массам читателей представление о ходе войны, о ее основных, наметившихся в первых же боях особенностях.

Вот почему очерк явился в этот момент наиболее уместным и оперативным жанром наряду с публицистической статьей, лирическим стихотворением и кратким газетным рассказом, близкими ему по характеру прежде всего в смысле быстроты отклика на события.

вех месяцев войны решала две основных задачи. Ей надо было, с одной стороны, произвести, если можно так сказать, проверку новых черт характера советского человека в горнило войны, показать его героизм в небывалой по своему размаху войне. Отсюда, внимание наших писателей было сосредоточено на отдельном эпизоде из жизни советского человека — бойца на войне, на изображении индивидуального подвига. А с другой — важнейшей задачей литературы являлось изображение страшного и отталкивающего облика врага. Надо было решительно покончить с самоуспокоенностью и беспечностью, которые давали себя знать в начале войны. Надо было обнаружить, что несет с собой враг, для того, чтобы показать всю непримиримость нашей героической борьбы с ним. Речь шла о мобилизации ненависти, о собирании материала, который во весь рост показал бы ужас содеянного титлеровскими ордами на нашей земле. Тема ненависти должна была сделаться основной в литературе. Не случайно цикл стихов А. Суркова был назван им: «Я пою ненависть», не случайно Шолохов назвал свой очерк: «Наука ненависти». Вся та волна преступлений, злоб, насилий и убийств, которая хлынула через наши границы, должна была быть показана народным массам Советского Союза. И это было сделано нашими писателями. В первые месяцы войны тема подвига и тема ненависти были основными и решающими в литературе. Они укладывались именно в те оперативные жанры, которые были нащупаны нашими писателями в лихорадочной смене военных событий лета 1941 года. В этом был основной смысл деятельности наших поэтов и прозаиков — И. Эренбурга, К. Симонова, Б. Горбатова, Н. Тихонова, В. Василевской, В. Гроссмана и многих других. Именно этот путь был кратчайшим путем, идя по которому наша литература звала к защите родины, к подвигу, к высшему напряжению патриотического чувства.

В ходе войны эти задачи усложнились, поскольку все более проявлялась самая картина грандиозной

лась летом 1941 года. Все отчетливее вырасталась задача более полного охвата советского человека и его боевой работы, более глубокого и всестороннего изображения войны в целом. «Русская повесть» Павленко открывает собой список произведений уже широкого эпического охвата — поэм, повестей, романов, пьес, — список, который в последние время обогатился такими крупными произведениями, как поэма Твардовского «Василий Теркин», пьеса Симонова «Русские люди», пьеса Корнейчука «Фронт», повести В. Гроссмана «Народ бессмертен» и В. Василевской «Радуга», пьеса Л. Леонова «Нашествие».

Это расширение арсенала повествовательных форм нашей литературы было закономерным переходом от изображения войны в ее эпизодических, так сказать, проявлениях к историческому уже ее осмыслению в целом, к созданию художественных обобщений, к развитию наиболее действенной и доходчивой повествовательной формы.

Наши писатели подошли прежде всего к решению задачи целостного изображения характера советского человека-бойца во всем богатстве тех идей и помыслов, которые ведут его в бой, которые позволили ему потрясти весь мир образцами неслыханного и, что особенно важно, массового героизма. Таково значение образов Теркина в поэме Твардовского; Сафонова, Вали и других в пьесе Симонова «Русские люди»; Игнатьева и Богарева в повести Гроссмана «Народ бессмертен». В то же время повесть В. Василевской «Радуга» дает образец того, что можно назвать широким демократизмом формы. Ее образы, богато обобщенными, охарактеризованы в такой мере просто и выразительно, что найдут дорогу к сердцу самого широкого читателя. В этом отношении «Радуга» В. Василевской открывает перед советскими писателями чрезвычайно важную область работы. Не случайно тираж этой книги достигает 400 000 экземпляров. В повести В. Василевской чрезвычайно остро даны и тема подвига, и тема ненависти. Вообразив себя наиболее существенные темы

решает их с наибольшей простотой, следовательно — с наибольшей силой массового воздействия, что и является мерилью участия писателя в боевой работе наших дней.

Наконец пьеса Корнейчука «Фронт» говорит о том, что советские писатели в своей художественно-обобщающей работе подошли уже и к новому и смелому раскрытию тех недостатков в нашей боевой подготовке, которые обнаружались в ходе войны. Написанная в своеобразной манере, придающей образам большую ясность и четкость, подчеркивающей стремление к типизации изображаемых явлений, эта пьеса также зовет наших писателей на новые творческие пути, к новым темам и характерам, изображение которых помогло бы преодолеть косность, неорганизованность, зазнайство, которые являются помощниками врага, отдаляют час решающей победы над ним.

Таким образом, школа, пройденная советской литературой за 25 лет ее развития, позволила ей четко и быстро перейти на военные рельсы и нащупать те формы работы, которые явились бы наиболее отвечающими требованиям времени.

Но время войны — не время подведения итогов. Точнее, подведение таких итогов имеет сейчас значение лишь в том случае, если оно помогает нам повысить нашу требовательность к работе, приводит к еще большей ее плодотворности, ставит перед ней новые задачи.

С этой точки зрения характеристике основных путей развития советской литературы в дни войны была бы неполной, если бы мы не поставили вопроса о задачах, которые встают перед ней, которые еще не разрешены до конца.

Поняно, что темп нашей жизни сейчас настолько ускорен, в такой степени ставит перед нами все новые и новые вопросы, что и в литературе речь идет не об анализе литературного процесса в его, так сказать, отвлеченном, чисто литературном понимании, а об оценке того, что она сделала для войны. Это необходимо чтобы предъявить к ней еще большие требования.

На исходе первая половина вто-

ремя необычайной исторической уплотненности, определяющее весь ход мировой истории, — естественно, каждого из нас заставило многое продумать, многое понять, подвело ко многим новым вопросам.

Имея за плечами полуторагодовой опыт войны, мы уже имеем возможность представить себе ее не только через индивидуальный опыт бойца, хотя бы и показанного во весь рост, со всем богатством его душевной жизни, но и в тех более общих ее сторонах, понимание которых необходимо для более глубокого отношения к событиям. У нас до сих пор еще нет произведений, в которых война была бы показана не только в отдельных ее эпизодах, а, так сказать, стратегически, с точки зрения общего хода ее, ее перспектив, характеристически той грандиозной работы, которая требуется для того, чтобы без перебора работал колоссальный механизм армии. Война показала, что страна наша, прошедшая школу Сталиньских пятилеток, оказалась в состоянии отразить удары гитлеровской армии, на которую работают все заводы Европы. Это означает, что за время мирного строительства у нас не только были построены гиганты социалистической промышленности, но и были выкованы кадры технической интеллигенции, которая выдержала toughest экзамен войны. Но вся сложность вопросов, связанных с тем, что можно назвать организацией победы, по существу также еще вне поля зрения нашей литературы. Характерно, что тема эта почти не разрабатывается нашими писателями. Немские произведения, Первенцева, Шалипян, Каразевой, Барто и некоторых других авторов, еще далеко не исчерпывают этой важнейшей тематики.

Пьеса Корнейчука «Фронт» указала нашей литературе новый и чрезвычайно важный круг вопросов. Мы в достаточной мере сильны для того, чтобы иметь возможность прямо говорить о своих недостатках и слабостях. Пример пьесы «Фронт» говорит и о том, какое огромное значение имеет такая работа писателя. Между тем до сих пор еще эта пьеса является единичным произведением.

слабости советской литературы. Наоборот, совершенно очевидно, что война, потребовавшая от писателя полного напряжения его сил и способностей, оказалась, в частности, и в том, что творческие возможности наших писателей проявились себя с особенной яркостью. «Нашествие» Леонова — лучшая из его пьес, стихи Твардовского, Симонова, Суркова — наиболее значительное из того, что ими создано. Поэмы Маргариты Алигер «Зоя», Веры Инбер — «Пулковский меридиан» — лучшее из написанного ими.

А. Мазкин

ПИСАТЕЛЬ В СТРОЮ

Немцы, ухотившие в июне 1941 года на фронт, уносили в ранцах, среди прочих обязательных предметов солдатского обихода, пестрые брошюры, в которых подробно излагалась фашистская мудрость войны. «Война — путь к счастью, стальная баня обновления, очищение от скверны» — настойчиво, на один тон повторилась бодливская пропаганда, провозглашавшая войну «священным делом, великим званием». «Человечество погибнет при существовании вечно мира!» — вновь формирующий импульс истории.

Если сравнить этот звериный рык с тоскливыми признаниями в усталости немецкого солдата, еженедельно теперь публикуемыми на страницах газеты «Дас Рейх», картина получится более чем конфузная.

Раньше война была для немцев и божеством, и миссией обновления, и санитарно-гигиенической процедурой, и чего уж больше, «нежным полемым цветком» (по выражению Магнуса Ребера, автора популярной фашистской книги «Семеро против Вердена»), а теперь всю эту смертоубийственную романтику будто ветром сдуло, и самый сдержанный из гитлеровских сподвижников — Роберт Лей — называет войну «...неизбежностью», с которой нельзя не считаться.

ры непрерывно подсказывают нам «копья быстротекущей жизни», которые смеяют друг друга в ходе войны и требуют все новых и новых тем и образов.

И, подобно тому, как заводу, хотя бы он и работал на полную мощность, страна говорит: «Еще снарядов», так и от литературы она требует новых и новых образов, в еще большей степени накаленных огнем ненависти к врагу и любви к родине.

Какой-то Гримм, в мюнхенской газетке, сравнивает войну с гигантским вытрезвителем. Были, мол, у них иллюзии, чад веселья, экстаз, сверхъестественный ритм жизни: «серьезная реальность существования» неуважительно обошлась с этими «мальчишескими идеями», и теперь каждый немец понимает, что война это война.

Из хмельного в вытрезвитель! Вот что значат пятнадцать месяцев кровопролитной войны. Но как бы теперь ни раскаивались немецкие газеты, факт остается фактом — именно Гитлер объявил войну религией современного немца и естественным состоянием немецкого общества.

Немцы скорбят, что война истощила «почву для поэзии». В степных просторах России они потеряли «вкус к самонаблюдению» и даже «поддерживать регулярную связь с домом не у всех хватает характера» («Штуттгартская газета», июль 1942 г.).

Гёббельс опубликовал статью об искусстве импровизации, в которой упрекает немцев в недостатке фантазии. Он строго выговаривает владельцам булочных, пожарным и полицейским за то, что они утратили «волю к рационализации и живут только в силу инерции». Война, за-

Из конструкторов в функционеров. Иными словами, так оболванила, что свела все их существование к нескольким простейшим функциям, менее всего связанным с выражением личной инициативы и воли. «Дух инициативы» окончательно покинул днепровских немцев...

Иностранные наблюдатели говорят, что русские очень умело возместили свои потери. Не стало донецкого угля, появился кубзбасский. Не стало кубанской пшеницы — появилась сибирская. Но мы не просто что-то перемогли, как-то переорганизовали, сбалансировали, соскребли и с великой натугой вытянули. Мы изменили форму существования целых районов и вызвали к жизни все, что дремало под спудом. Можно ли называть столь всестороннее выражение народной самостоятельности всего только процессом возмещения потерь?

Жизненные силы нашего народа никогда еще не проявлялись в таких широких формах, как в дни войны.

Зимой 1941 года, в Ленинграде, архитекторы разработали принципы застройки новых городов на месте сожженных и разрушенных Минска и Киева, Новгорода и Курска. Безо всякого фантазма, трезвые проекты, расчет потребного материала, очередность общественных и жилых зданий, размер зеленых массивов, габарит улиц.

Иногда, который взрывал Днепродзержинск, увез с собой чертежи, и потом, далеко от родных мест, в казахском городке, вносил конструктивные изменения в проект будущей станции у днепровских порогов.

Центральное бюро изобретений, с мая 1941 по июнь 1942 г., зарегистрировало столько важных технических усовершенствований, что простой их перечень составил бы объемистый том.

Русский писатель никогда не стеснялся жизни, никогда не чувствовал себя человеком праздным — пописал и бросил.

Лет тридцать назад немецкий профессор Бреннер выпустил книгу о моральном догмате русской литературы. Жизнь трагична, человеку

равно ему суждено вступить в конфликт с обществом. Такова общепринятая схема современного социального романа. Но западноевропейский роман вступает за человека, чтобы освободить его от всяких обязанностей; человек силен, когда одинок; он свободен, потому что никому и ни в чем не обязан, а русский роман освобождает своего героя от закона несправедливого, чтобы заставить его служить закону праведному, то есть общему и благородному интересу. Любопытно бы знать, куда запрятали теперь фашистские цензоры эту книжку?

Литературу нашу называли кафедрой, с которой раздавалось учительное слово.

Серьезная заинтересованность русской литературы в жизни научила нас, читателей, видеть в каждом ее слове великую нравственную силу.

Вот небезытересная к тому иллюстрация.

Три месяца назад судьба привела меня в Краснодар. Город горел. «Юнкерсы» вели бомбежку по кварталам. Сперва на окраине, у аэродрома, затем в противоположном конце, у самого новороссийского тракта. Над полуразрушенным вокзалом висела немецкая ракета. Трое пожарных у здания комендатуры заливали тлеющие угли.

Освещенный заревом город казался вымершим. Двери домов стояли открытыми настежь. Мы вошли в дом, только что покинутый его обитателями и сохранивший еще все следы внезапно оборвавшейся жизни: смятая и почему-то брошенная в угол постель, забытая игрушка, еще не остывший чайник. На большом канделябре на столе аккуратно лежали тетради. Тут был семидесятистраничный труд о героическом образе женщины в русской литературе, обстоятельное сочинение о «Поднятой целине» и коллективизации, прошурованная папка с размашистой надписью «Анатолий Франс и философия эпикурейства».

Листая второпях эти старые, десятилетней давности тетради Краснодарских студентов, мы неожиданно обнаружили среди них записки самого новейшего происхождения, июньские, июльские и даже августовские.

только что покинувший свой дом шестидесятилетний ученый и педагог Иван Степанович Одинцов (утром мы узнали, что здесь, на улице Шаумяна, он прожил тридцать лет, два сына его на войне, а его самого, тяжело больного, вчера вечером вывезли куда-то в сторону Туапсе). В трудные августовские дни Краснодар И. С. Одинцов не прекращал своих занятий. В сентябре он предположил закончить работу по истории советской литературы.

Вот что мы узнали о его намерениях:

«...Небольшая брошюрка... Пять-шесть листов... Читатель — школьник старших классов... Никаких претензий на научность изложения... Широкий охват фактов и дат... Побольше о поэзии... Характеристика великих традиций. Идея — в эпиграфе из Чернышевского...»

Слова Чернышевского И. С. Одинцов выписал на отдельном листочке бумаги. «Во всех отраслях человеческой деятельности только те направления достигают блестящего развития, которые находятся в живой связи с потребностями общества. То, что не имеет корней в почве жизни, остается вяло и бледно и не только не приобретает истинного значения, но и само по себе, без отношения к действию на общество бывает ничтожно».

Краснодарский ученый-педагог напомнил нам здесь, у самой линии огня, что поэзия всегда современна и действительна, а русская поэзия к тому же еще самая «отзывчивая...» «Всецеловеческий отклик в русском искусстве составляет его высшую характерность».

Писателю до всего есть дело. И в литературу он часто шел только потому, что это был, как ему казалось, самый надежный способ искоренить зло мира, самая доступная форма общественно-революционной деятельности. Чернышевский откровенно и много говорил, что чем стал бы заниматься литературой, и тем менее художественной, если бы перед ним была возможность иной, более прямой политической деятельности.

* * *

Почти четверть века назад Блок в речи перед актерами вспомнил эти

Блока, писателю отныне нет надобности прятаться в литературе, чтобы посвятить себя политике. Литература избавляется от неломовок, намеков и всех прочих средств иную сказания, унижающих ее достоинство. Но чем свободней чувство, выражению писателем, тем тяжелее бремя его долга, тем выше его ответственность за все происходящее.

Это были первые слова о месте писателя в новом обществе, сказанные после Октябрьской революции, и они не изменили вековой традиции русской литературы, отзывчивость и всецеловечность которой всегда простекала не от любопытства и благожелательности, но от сознания своего долга. Однако самое это понятие долга теперь переместилось. Только Горький сразу понял, что традиционная для литературы критического реализма позиция писателя — судья мира и людей, обличителя и негодующего пророка, потеряла свой смысл. Не то что писателю нечего будет обличать или не за кого будет вступиться, но самая жизненная задача его становится иной: он теперь не сторона в споре, не адвокат, но посредник. Литература становится частью великого дела — формирования новой жизни и писатель высокопоставленным и деятельным ее работником.

Разумеется, были и такие, которые считали, что литература это их частное дело и что всякие попытки подчинить ее общереволюционному долгу означают прямое покушение на их личную свободу. Не безехидства задавали они вопрос — что же, нам, нейтральным художникам, придется принести себя в жертву революционным требованиям эпохи? Горький называл поставленный в такой форме вопрос смешным и все-таки отвечал на него утвердительно.

— Да, необходимо, — говорил он. — перевоспитать себя так, чтобы служба социальной революции была личным делом каждой частной единицы, чтобы эта служба давала личности наслаждение!

У революционного писателя должны были сложиться новые отношения с обществом. Прежде всего с его профессии содействовали покров жречества. Жизнь слесаря барьеры, воздвигнутые мешанины индивидуалистической литературой между об-

дством и искусством. Дудин перестал быть «кондитером и косметиком» (Чехов), служащим немалым ценителям прекрасного. Литература вернулась к лучшим традициям русской классики — к ее праздничности и служению общественной задаче.

Если до того популярность писателя могла означать либо народное признание, как, например, у Горького, либо эксцентрическую известность, то теперь сенсационный интерес к личным обстоятельствам жизни писателя почти совсем выдохся. Смешной стала казаться самая игра в артистичность, желание как-то вырядиться, чтобы не смешаться с окружающими. Вообще все стало проще и удобопонятней в литературном деле. Простота эта даже вводила в заблуждение. Казалось, что от писателя теперь только и требуется, чтобы он был примерным гражданином. Простота была такой обманчивой, что некоторые важные эстетические понятия вдруг потеряли свою цену и казались безвкусными и старомодными — вдохновение, призвание, красота.

В конце концов заблуждающиеся поняли или должны были понять, что литература занятие хоть и не для многих избранных, но и не общедоступное. Взгляд на литературу как на обыкновенный труд не означал в глазах читателя признания ее роли. Наоборот, профессия писателя стала еще более уважаемой. И в том, что так случилось, немалая заслуга Горького. Он не только нарушил сословные привилегии профессии и способствовал ее демократизации, вводя в литературу новый мир явлений. Он пошел гораздо дальше и установил новую зависимость между литературой и жизнью.

Что такое литература, живет ли она сама по себе, правильно ли ее называют «зеркалом жизни»? — задумывается Горький еще в конце 80-х годов и отвечает:

«Пассивную роль я считал недостойкой литературы. Мне известно было: «если рожа крива, лезают на зеркало», и я уже догадывался — рожа крива не потому, что желают быть кривыми, а оттого, что в жизни действует такая всех и все уродующая сила, и «отражать» нужно

ею тогда же сказал, что литература есть дело, и притом «важное дело».

В 1933 году в статье «О кочке и точке» он называет самым социалистическим чувством новой интеллигенции — «чувство ответственности».

Сознание ответственности и обязанности литературы Горький пропегандирует всю свою жизнь. Он говорит, что художник «чувственнее» своей страны и своего класса, «ухо, око и сердце его» и что от его социального поведения часто «ависит успех общего дела, культурный расцвет страны, «освященный гением Владимира Ильича Ленина, где неутомимо и чудодейственно работает железная воля Иосифа Сталина».

Никогда еще писатель не был так интересен и близок читателю, как близок и интересен он в наши дни... «никогда он не ценился так высоко грамотной массой, и эта оценка естественна, потому что масса видит, как она сама создает писателей и как отражается она в книгах...» Подтверждение этой мысли Горького мы слышим из разных уст и по разному поводу.

• • •

На прошлогоднем конгрессе Пэнклубов в Лондоне Пристли обратился с приветственным словом к нашему послу Майскому (изложение этой речи напечатано в седьмой книге «Интернациональной литературы», к сожалению, не полностью). Пристли называл русскую литературу «сообществом мира» и очень хорошо объяснил, чем, собственно, отличается положение русского писателя от положения писателя в любой другой стране.

«Мистер Майский, — сказал Пристли, — представляет чрезвычайно эксцентричную страну. Дело в том, что как только советская Россия вступила в войну, мы получили обращение от русских писателей и нас, английских писателей, попросили высказать свои соображения о перспективах войны. Нам показалось это очень странным, потому что мы не привыкли, чтобы с нами обращались, как с настоящими, взрослыми людьми. Мысль, что большая страна

писателям никогда не приходила нам в голову. Здесь в официальных кругах (иногда нам разрешается задерживаться по вечерам и беседовать с официальными лицами) нас спрашивают, над чем вы теперь работаете, и отворачиваются прежде, чем мы успеем ответить. Но в России писателей рассматривают как людей, социально здоровомыслящих, и серьезно относятся к их мнению. И от этого русские сражаются ничуть не хуже».

Писатель — человек вполне здоровомыслящий, — это обстоятельство постоянно удивляло людей, мало что разумеющих в нашей жизни и знающих о ней только по наслышке. В 1925—1926 годах СССР посетила первая иностранная рабочая делегация. В состав делегации входили видные деятели английского профсоюзного движения. Они ездили по угольным районам, побывали на соляных шахтах, подробно знакомились с химией и металлургией Юга и потом отправились в знаменитый Святогорский монастырь, описанный когда-то Чеховым и послуживший летом 1942 года плацдармом для больших танковых сражений.

Монастырь был тогда только что переоборудован в первоклассный санаторий, чуть ли не первый в Донбассе. Английские делегаты приехали поздно вечером и опасались, что все уже разошлось. К их удивлению, в большом, хорошо освещенном зале они увидели почти всех отдыхающих в сборе, о чем-то оживленно беседующих. Оказалось, только что здесь выступал Маяковский, и аудитория оживленно обсуждала его стихи. Собственно, это был спор не о поэзии. Маяковский читал стихи и попутно высказал несколько суждений о новой промышленной архитектуре тогда только еще возрождавшегося Донбасса. Маяковский зло высмеял однообразно-плоскостной, будто бы преследующий единственную цель — соответствия технической целесообразности — «захолустный конструктивизм» и, кажется, первый пустил тогда в ход, ставшее впоследствии популярным, выражение «коробочная архитектура». Он говорил, что архитектор должен считаться не только с тем, что поставлено перед ним как прямая техни-

ловческого восприятия.

Точка зрения Маяковского нашла сторонников, и обсуждение его стихов превратилось в дискуссию об архитектурном будущем Донбасса. Пожилие тридцатилетние не успевали записывать свои впечатления. Через несколько дней, глава делегации говорил нам, журналистам, сопровождавшим его в поездке:

— Вы добились, кажется, самого главного! Вы излечили людей от всетерпящего равнодушия, от апатии, от неопределенности воззрения. Вы превратили литературу в друга общества и притом нелицеприятного и благородного друга! Разве можно представить кого-нибудь из лондонских поэтов, обсуждающим вместе с уэльскими горняками проблемы реконструкции угольных районов Англии!

Влияние литературы на жизнь определяется, конечно, не поведением писателя и его непосредственным участием в государственной жизни страны. Ведь и Короленко был известен не как участник мультанского процесса, а как автор «Истории моего современника» и сибирских таежных рассказов.

Бесспорно, что сила внушения писателя — в его творчестве, в том, как словом своим меняет он поведение человека, его манеру жить. Но говоря о профессии и типе писателя, мы тем самым затрагиваем и самое существенное в его творчестве.

— Писатель-деятель, — говорили англичане, вспоминая Маяковского на трибуне не то столовой, не то клуба Святогорского монастыря.

Конечно, Маяковский мало был похож на певца возвышающего, полумистического страдания, каким всегда представляли себе иностранцы русского писателя. Жить на свете есть для чего. Это сознание жизненной необходимости своей поэзии и определяло его поведение.

Вскоре после смерти Маяковского в харьковской публичной библиотеке им. Короленко был устроен вечер, посвященный его памяти. Местный профессор выступил с докладом о его творчестве, потом актеры читали стихи. Случайно оказавшийся в зале московский литератор поделился своими воспоминаниями — беглыми и малозначительными. Вечер уже

Видно, поинтересовался никому неизвестный человек и попросил слова. Полюбили оратор отрекомандоваться:

— Я, — сказал он, — работник мебельной промышленности!

В президиуме переглянулись. Где-то в зале раздался смехок. Оратор, затетив, что рекомандация его возымела действие, рассмеялся.

— Я не буду читать стихи. Я хочу рассказать об одной моей встрече с Маяковским. Несколько лет назад я оказался его случайным спутником. Мы ехали в одном купе из Харькова в Москву. В пути разговорились, он заинтересовался работой нашей мебельной промышленности и пообещал в следующий свой приезд в Харьков побывать у нас на фабрике. Примерно через год в нашей конторе появился Маяковский. Я растерялся от неожиданности, а потом предложил ему посмотреть образцы нашей мебели. Мы работали тогда по чертежам комиссии по стандартизации предметов нового быта. Склад образцов был большой, хорошо освещенный верхним светом, как для художественной выставки. Маяковский с группой наших мастеров стал обходить выставленные в ряд работы. Он ничего не говорил, но я видел, как лицо его мрачнеет. Примерно на половине зала, у модели стола, он остановился и сказал:

— Мерзость. Это все равно, что скрестить живую лошадь с деревянной.

— Стол был действительно безобразный, в центре его стояла перегородка, одна часть его была похожа на умывальник, другая на канцелярское бюро. Сконфуженные, мы прекратили осмотр. На прощание Маяковский сказал нам:

— Человеку очень неудобно жить в пустой комнате, но, пожалуй, ему еще неудобней жить в комнате, загроможденной хламом. Ваши модели не только бездарные, они наглые, лезут в глаза. Искусство ваше должно состоять в том, чтобы не напоминать о себе. Мебель должна служить человеку, а не путать его дурацкой замысловатостью или барстванным происхождением. А в комиссии по стандартизации сидят просто жулики, они хотят превратить обыкновенную тачку для

видно, думают, что это и есть предмет нового быта.

Маяковского заделало все, что касалось устройства нашей жизни — дом коммуны на Шаболовке, новый спектакль Пролеткульта, совхоз «Гигант», несправедливая и источная заметка вечерней газеты.

Безграничная широта интересов представляет известную опасность для художника; не распылится ли его внимание, не затемят ли случайное и проходящее самую суть жизни. И действительно, для писателя иного типа такая пестрота впечатлений и форма реакции на них могла бы стать губительной. Для Маяковского же это была не только естественная, но и единственно возможная обстановка творчества и не потому, что в мелькании жизни он искал непосредственные источники своей поэзии. Самый характер его дарования требовал непрерывного и деятельного выражения: окажись он где-нибудь в уединении, вне активной сферы жизни, и талант его принял бы другое направление.

Некоторые исследователи творчества Маяковского приписывали ему радикальную идейку насчет упразднения профессии писателя. На самом же деле не было более ревностного охранителя этой профессии, чем Маяковский. Но задачи литературного дела он видел не в свете цеховых предрассудков. И хотя на страницах редактируемого им журнала и печатались статьи о «социальном заказе», Маяковский всей жизнью начисто отрицает этот принцип «купи-продажи». Писатель не поставщик, не одописец, но «служливое перо», не расторопный поденщик, а участник общего дела, участник не только полезный, а жизненно-необходимый.

* * *

Среди писателей октябрьского двадцатипятилетия у Маяковского было много последователей. Были среди них сильные, самостоятельные таланты, были и верификаторы, умелые на все руки, охотно штампующие любые подделки. Но не о поэтической традиции здесь речь. Мы обращаемся к писателям, воспринявшим самую манеру его жизни,

деятельных интересов.

Ильф и Петров были, по прямому-шеству, писатели-моралисты и не в дурном смысле — они не лезли в учителя и не угнетали своей добротелью. Они моралисты потому, что слово их было направлено к нашему нравственному усовершенствованию.

Тот идеал, который рисовался им, мы узнавали не в грубой подкачке — так поступай, а в сатирической картине жизни. И здесь они не просто обращались к нашей совести — подумай, мол, и воздержись от дурного — их смех, не замыкавшийся в кругу курьезов и странностей, способствовал нашему самовоспитанию. Мораль их не категорическая, не предписывающая, а доказывавшая свою правоту.

После приезда из Америки Ильф и Петров в своей публицистике непрерывно пропагандировали идею «сервиса». Вначале казалось непонятным даже, почему их привлекла эта чисто американская черта жизни — наиболее совершеннейшее выражение буржуазного комфорта. И только потом мы сообразили, что «сервис» это вовсе не система обязательных удобств, не мешанский рай, и не принцип обслуживания. Применительно к нам «сервис» означал разумную организацию повседневной жизни, обязательную степень культуры труда, и более того, предупредительное отношение к человеку. Понятие «сервис» соответствовало у них тому, что товарищ Сталин назвал «американской деловитостью». Но «сервис» превращается и в проблему психологическую: то, что у американцев только деловитость, у нас еще и гуманность — «сервис» это не только выгодно, но полезно человеку.

Писатель здесь уже не моралист в обычном смысле слова, он не только объясняет жизнь, но только содействует умственному развитию общества, его этическая идея много шире обыкновенного просветительства: это мораль, направленная к непосредственному вмешательству в жизнь.

Последняя сорок седьмая глава романа-путешествия Ильфа и Петрова кончается прощанием с Америкой. «Маджестик» набрал ходу, январский ветер гнал крупную волну,

этими последними словами «Одиэтажной Америки» скрывается, одержко, обстоятельство, знакомство которым полезно для того, чтобы понять место писателя в нашем обществе.

Дело в том, что «Маджестик» океанский пароход, на котором Ильф и Петров пересекали Атлантику и перь уже в обратном направлении Америки в Бромпу, отправлялся последний рейс. Совсем еще молодой пароход должен был пойти слом. С появлением «Норманди Куини Мэри» и других атлантических гигантов «Маджестик» оказал слишком тихходным — его ре продолжался шесть дней.

Ильф и Петров считали суды «Маджестика» оскорбительной и несправедливой. Пятьдесят шесть тысяч тонн «стали, дерева, козров зеркала» должны были идти на слез из-за конкурентных соображений из-за корыстной коммерции.

Убедившись в том, что «Маджестик» действительно образцово сооружение, Ильф и Петров по приезде в Москву стали хлопотать чтобы Совторгфлот купил этот пароход у иностранной фирмы. Он обоснованно доказывали все выгоды этой сделки, всю необходимость «Маджестика» для нашего флота...

В дореволюционном обществе писатель, погруженный в такого рода интересы, вызвал бы справедливый протест, потому что от такого прагматизма очень легко было перейти к политике «малых дел», скатиться на путь реформизма и вместо идеологии проповедывать чистейший утилитаризм. Хлопоты о покупке «Маджестика» ни в какой мере не были похожи на мелкие действия. Это был нормальный поступок писателя-патриота, который любит и юридическую родину, дающую только право гражданства, а «родина» осязаемая, где ему принадлежат земли, заводы, магазины, банк, друшинуты, аэропланы, театры, книги, где он сам политик и хозяин всего».

Ильф и Петров широко понимал старое правило русской литературы — «писателю до всего есть дело». Они ездили по Америке не как туристы, которым все интересно и не что для них не обязательно, он

деловые люди, ездили как инженеры в Дирборн, как работники холодильной промышленности в Чикаго. Они были дипломатами и инженерами, педагогами и статистиками — и всегда писателями.

Как и Маяковский, Ильф и Петров много путешествовали. Жизнь казалась им неполной, если они не сталкивались с теми новыми для них явлениями, которые должны вызывать всеобщий интерес и принести свою пользу. И в этих путешествиях «в еще неизвестное» оборвалась жизнь обоих. Где-то в пути между Буффало и Кливлендом простудился Ильф и не смог уже избраться от тяжелой болезни. Последний североамериканский рейс Петрова оборвался в пыльной степи у Миллерово. Самолет, зарывшийся в землю, похоронил под своими обломками военного корреспондента.

Гражданское поведение писателя само по себе не есть фактор творчества, оно только важное для него условие, но зато какое же важное!

Однажды на диспуте в Доме печати известный московский литератор заявил, что по его фельетонам привлечено к ответственности более 60 человек. Фельетонист этот мог гордиться своим прокурорским дарованием. Я не знаю, пошел ли под суд хоть один человек, разоблаченный фельетонами Ильфа и Петрова. По всей вероятности, никто. Но идейный эффект их работы был несравненно выше, их нетерпимость к существующему еще моральному неустройству передавалась всем — всякий почувствовал бы себя человеком при мысли, что он хоть чем-то причастен к тому, что о нем высмеивают. Прибавьте к этому, что они не только высмеивали, и защищали важные для общества положительные идеи.

• • •

Если высокополезный результат творчества Ильфа и Петрова не может быть выражен в статистических данных, то тем труднее подсчитать сколько людей изменилось к лучшему под влиянием идей автора «Педагогической поэмы» А. Макаренко. А вместе с тем вся жизнь этого писателя, которого Горький называл нравственным деятелем, была под-

чинена задаче, злободневной и будто вполне доступной обозрению, — воспитанию преступных и трудно-воспитуемых подростков и юношей.

Услуга, оказанная Макаренко обществу, не в его педагогическом эксперименте. Идеи «Педагогической поэмы» оказались такими для нас важными потому, что касались норм поведения человека в социалистическом обществе. Макаренко поставил себе целью разъяснить молодым людям, что есть добро и что есть зло в нашем понимании, и полезные обществу правила поведения превратить в инстинктивную потребность человека. «Педагогическая поэма» это книга о том, как отщепенца и преступника сделали человеком социальным, облагородили его инстинкты так, чтобы из них можно было извлечь наибольшее общественное благо.

Действительные события, положенные в основу «Педагогической поэмы», сперва, как помнится, вводили в смущение: то ли это публицистика на педагогическую тему, то ли мемуары, записи бывалого человека. обстоятельный рассказ руководителя трудовой коммуны о своем педагогическом опыте мало напоминал беллетристический жанр. Должно быть, и сам автор «Педагогической поэмы» не точно представлял себе, можно ли считать его книгу произведением художественной литературы. «Педагогическая поэма» по форме действительно отступала от принципов классического романа, но как всякое произведение искусства она заставляла нас испытать все те чувства, которые владели ее героями. «Поэма» была первой книгой о культурно-воспитательном влиянии труда, о труде как творчестве. К тому же писатель, изображая человека, изуродованного «мерзостью жизни», не просил о снисхождении к нему. Вместо лицемерного правила «понять, чтобы простить» он предлагал формулу действия «понять, чтобы изменить».

Макаренко не мог бы стать автором «Поэмы», если бы вся предшествующая жизнь не подготовила бы его к этому и личный опыт не подсказал бы ему формы трудового воспитания человека.

В литературу Макаренко пришел уже зрелым человеком. Это был

писатель. может быть, одной книги поэмы-исповеди, по книге, которую мог написать только современник — революционер и моральный деятель.

Макаренко воспитывал в человеке идейное отношение к жизни. Он говорил, что слово «идеализм» означает не только чуждую нам философию, но и бескорыстие, истинно-общественный интерес, что такая «идеальность» — есть черта русского характера. Можно ли было придумать более достойный памятник делу Макаренко, чем его предложила сама жизнь. Прошлой зимой, на слете слайперов одной из южных армий, выступил уже немолодой лейтенант, который сообщил о себе, что он был воспитанником Макаренко и что большинство его товарищей по Куряжской колонии, с которыми он постоянно поддерживал связь. — бывшие правонарушители, а потом садоводы и инженеры — теперь доблестно сражаются на фронте. Лейтенант этот прославился в боях под Хортицей.

Итак, мы видим что искусство в нашей стране форма «нравственной деятельности». Объясняя окружающий мир, оно делает нас более зрелыми, способными к самовоспитанию, и возбуждает наши деятельные силы.

* * *

Немецкие бомбы, сброшенные в Сочи, не повредили дома, где жил Николай Островский. Шоссеиная, прежде курортная, дорога проходит неподалеку, но мало кому из писателей Островского, отирающихся на фронт к Туапсе, удается побывать в доме, ставшем до войны местом паломничества нашего юношества. И все-таки почти каждый день у дома-музея собираются группы людей. Случайная остановка в пути позволила им посетить место, где жил писатель.

Не любопытство привлекло сюда двадцатилетнего сержанта из Саранска или моряка-ленинградца, совсем не похожих на экскурсантов, пришедших поглазеть на достопримечательность. Островский для них больше, чем обыкновенный, хотя бы и очень популярный писатель; он необходим им как источник душевной энергии.

На войне человек чаще задумывается над тем, что его окружает, и ищет объяснения явлениям, которые еще недавно совсем не затрагивали его. Трагические картины войны заставляют задуматься о том, откуда у окружающих тебя людей — старой женщины, бежавшей из горящего Краснодара, раненого минера с торпедного катера, пришедшего сюда на костылях, двенадцатилетней девочки с косичками, потерявшей в дороге мать — откуда у них берутся силы, чтобы все вынести и преодолеть. В такие дни особенно хочется быть ближе к тому, кто может служить идеальным образцом поведения, кто нашел в себе мужество справиться с жестокостью своей судьбы. Не утешительства, не просветления ждет саранский сержант от Островского, а примера для себя.

Судьба Островского сложилась так, что никого не удивило бы, если бы он поддался постигнутому его удару и, став писателем, ушел бы в само наблюдение, в подслушивание шорохов, идущих из внешнего, темного для него мира. Но Островский этого не захотел; не захотел загнипнуть и заржаветь себя, заморозить все в себе, чтобы таким образом уйти от тягот жизни. Островский хотел, чтобы жизнь была ключом — только тогда она бывает прекрасна. Он хотел, чтобы она изменялась к лучшему. Активная натура, большевик-преобразователь, Н. Островский, быть может, самый оптимистический из наших писателей. Его непреклонность не просто внушает уважение, она позволяет верить, что и у тебя достанет сил.

* * *

Ленин на Третьем съезде комсомола говорил, что молодой гражданин нашей страны не может жить без норм поведения, что нужно выработать эти нормы и превратить их в новый моральный кодекс. Советская литература, в лучшей своей части, следовала ленинской идее. В этом смысле ее можно назвать школой нравственного воспитания человека. Если теперь «Нью-Йорк Таймс» посвящает свои передовые защитникам Сталинграда и с удивлением спрашивает, откуда берется их сверхчеловеческое мужество, ма

этот вопрос можно ответить, что в формировании характера советских людей принимали участие и наши писатели.

В литературе морально-этического направления видное место принадлежит книгам Аркадия Гайдара, чья повесть о Тимуре придала новый, деловой и, в то же время, романтический характер пионерскому движению.

Тимуровское движение было и игрой, и трудовым занятием, и формой самодисциплины, и школой гражданских чувств. Вначале дети читали повесть Гайдара потому, что было интересно, их увлекали приключения Тимура и его друзей. Потом от чтения они перешли к игре, и от игры к настоящему участию в жизни. Дети не подражали взрослым, они оставались детьми, но в их поступках была убежденность взрослых и, что самое важное, — настоящая коммунистическая идейность. Устанавливалось правило, что содействие человеку — нормальная обязанность, а не добродетель, которой можно хвастаться. Романтика, но никакой наигранности, задушевность, но никакой сентиментальности. Это была действительная школа нравственного воспитания, и она принесла свои реальные плоды. Во время проплогодной оккупации Ростова, на Воропильдовском проспекте, около угла Дмитриевской, несколько дней лежал труп мальчика. Маленький тимуровец пытался ползком штабную машину и был тут же на улице расстрелян. Немцы не позволяли убрать его труп, и по ночам тимуровцы из соседних дворов стояли в карауле и отгоняли собак от тела погибшего товарища.

Гайдар был в числе первых писателей, уехавших на фронт. Он жил в Киеве, в гостинице «Континенталь», и по утрам на трамвае ездил на окраину, где уже начинался фронт. Он ходил в разведку с саперами и вместе со старшиной Дворниковым и связным Ефимкиным охранял мост — над головой было открытое, ревущее гулом моторов и прозябшее смертной небом, а под ногами тридцать метров пустоты: тот самый мост, который он описал в памятном очерке в «Комсомольской правде».

Мы долго не имели сведений о Гайдаре. И вот его жене доста-

вили письмо из партизанского отряда — трагическую весть о смерти и благодарную признательность советской литературе и бесстрапному писателю-воину Аркадию Гайдару.

«Уважаемая тов. Гайдар!

Я пишу это письмо и не знаю, попадет ли оно Вам в руки, потому что отправляю не совсем обычной почтой, и оно может Вас не застать в Москве.

Выполняя просьбу Вашего мужа Гайдара, Аркадия Петровича, сообщая Вам, что он погиб от рук фашистских варваров 26 октября 1941 г. Мне трудно писать эти строки, но я обещаю ему исполнить его просьбу, как будет только возможность сообщить о его смерти Вам. И вот только теперь представилась эта возможность.

Вы знаете, что Аркадий Петрович последнее время был корреспондентом Юго-Западного фронта. До последнего времени он был в Киеве. Когда образовалось окружение, то Гайдару предложили вылететь на самолете, но он отказался и остался в окружении с армией. Когда часть армии отступала, то мы, выходя из окружения, остались в партизанском отряде в Приднепровских лесах. И однажды мы ходили по продукты на свою базу и нарвались на немецкую засаду, где и был убит тов. Гайдар, Аркадий Петрович.

Я кончаю писать, мне трудно теперь вспоминать то, что прошло, потому что мы любили нашего Аркадия Петровича.

До свидания.

Остаюсь С. А.

Это письмо я передаю из временной оккупированной Украины.

Привет всем, всем, всем от товарищей-партизан, знавших его.

Мы обещали отомстить врагу за то, что они его убили, и мы отомстим так, как умел мстить тов. Гайдар. Он всегда храбро дрался и героически погиб».

Русские писатели в дни войны не уронили своей чести, и, когда приходил смертный час, они умирали как солдаты.

* * *

Литература — великая сила в нашем обществе. Служительница жи-

зны, распространительница идей — литература стала нашей пропагандой, нашей совестью, источником информации и средством самовоспитания — через литературу народ узнает себя, своих героев и свои задачи.

Достаточно назвать имя Ильи Эренбурга, чтобы по достоинству оценить значение литературы в дни войны.

Знает ли Эренбург, что книгу его фельетонов выдавали на фронте в награду за боевые заслуги, что немцы в Новочеркасске расстреляли старого учителя за то, что нашли у него «Падение Парижа», что в сталинградском госпитале двадцатилетний политрук, начинающий поэт Михаил Смоленский, умирая, обратился к врачам о просьбой отправить его посмертную рукопись Эренбургу.

Как же приходит к писателю народное признание?

Эренбург взял на себя труд объяснить всем нам, его читателям, рядовым людям, что такое гитлеризм и немецкая армия. Вспомним лето 1941 года. У Эренбурга есть такие строки:

«Что сделали немцы с нашим народом? Были благодушные мечтатели, парни, делившиеся с пленными последней щепоткой махорки, были любители баяна и гуманисты, на всех языках Союза твердившие о братстве, был народ ржи и васильков, теплое дерева и ласки».

Надо было объяснить миролюбивому народу — мечтателям и гуманистам, что такое гитлеровский солдат. И объяснив, что немцы, у которых была музыка и человеколюбивая медицина, это не нынешние немцы — убийцы и жадные колонизаторы, надо было пробудить в человеке, быть может, до того дремавшие в нем силы ненависти, ненависти в которой есть и тнев, и презрение, и брезгливость, и горе, и восторг мести, и любовь к ближнему, и сознание своей силы.

Ненависть не приходит сама собой, ненависть надо выстрадать — эту мысль Эренбург часто повторяет в своих статьях. Именно выстрадать!

Выстрадать — это не просто перенести личное горе. Это значит увидеть людей усталых и умирающих,

разоренные и ожесточенные, это значит охватить размеры бедствий, причиненных войной, это значит понять, что такое смерть — ужаснуться, и тут же притти в себя, не дрогнуть, не взвыть в тоске, найти силы, чтобы противостоять, и не только противостоять, но и решительно выступить за человека и его правое дело. Немистовая, нетерпеливая, выстрадавшая — ненависть Эренбурга!

М. И. Калинин сравнил Эренбурга с бойцом в рукопашном бою. Всегда в соприкосновении с врагом, всегда неутомимый, он взял с первого дня войны такой разбег, что нужно было обладать почти фанатическим упорством, особым «нервным фондом», чтобы не сорваться, не устать, не потерять ритма.

Не так давно Эренбург напечатал в «Красной звезде» статью о том, как война ожесточила сердце человека. Чкаловский сталевар Данил Прытков ходит по ржевскому лесу и убивает немцев, снимает планшеты, кресты, берет оружие и идет дальше. Когда усталый он возвращается в свой блиндаж, старшина подсчитывает его трофеи — пять «Железных крестов», одна медаль, четыре снайперских значка, четыре парабеллума, один автомат, две снайперские винтовки...

«Этот сын уральского казака, наверно, был когда-то обыкновенным мальчишкой, учил таблицу умножения, играл в городки, вырос, научился мастерству, нравился девушкам, ходил в кино, жил, как миллионы юношей. Теперь его лицо стало вдохновенным, строгое и определенное. Он оглох от контузии, но он все время будто пристушивается к музыке боя. Он торопится... В нем огромное нетерпение — нетерпение России!»

В этом рассказе о герое ржевского леса Эренбург незаметно для себя излагает и внутренние мотивы собственного поведения. Эренбург такой же, как Прытков, и он торопится, и в нем нетерпение России, и он не стал бы пить из немецкой фляги, или стрелять из трофейного немецкого автомата — «противно мне из них стрелять...» Но Прытков ходит по лесу и потом все-таки возвратится в землянку и забудется в тяжелом сне, а Эренбург воюет без отдыха, и мы, его читатели, как

старшина в блиндаже, подчитыва-
ем его трофеи.

Во время войны вышло несколько
книг Эренбурга и выйдут еще; каж-
дый день появляются все новые и
новые его статьи — и так будет до
самого конца, до дня победы.
«...Ожесточение, такое ожесточение,
что на сухих губах трещины, что
руки жадно сжимают оружие, что
каждая граната, каждая пуля гово-
рит за всех — убей! Убей! Убей!»
В этом ожесточении — источник сил
Эренбурга.

Пропаганда Эренбурга сильна тем,
что как бы по-разному он ни гово-
рил, он всегда говорит об одном и
том же: он по многу раз возвра-
щается к уже сказанному. В этом
повторении есть своя система — рус-
ский человек должен знать всю
правду о немецком захватчике и
правду всестороннюю. Повторяя.
Эренбург не повторяется. Ненависть
не должна остывать! Еще и еще
подробности о немецких преступлениях,
новое об их колонизаторских
замыслах, важное об их военной
усталости, еще и еще документы,
фотографии, письма. Больше знать,
чтобы сильнее ненавидеть. Нена-
висть должна быть зрячей!

На войне быстро стираются слова,
но слово Эренбурга не знает износу,
оно всегда катит. Это достоинство
не только писателя, но и политика
— в пестроте дня уловить его
злобу, самое главное из того, что
случилось. Будущему историку от-
честливой войны придется внима-
тельно изучать фельетоны Эренбур-
га. Сегодня их читает вся страна и
армия — не только ее интеллиген-
ция, все, кому дороги судьбы стра-
ны и кому удалось раздобыть мо-
сковскую газету.

Летом, кажется, в июле, Эренбург
написал несколько фельетонов о До-
не — их читали в войсках, стоящих
тогда на рубежах Дона. Впечатле-
ние было громадное: писатель из
Москвы, далекий от этих степных
мест, может быть никогда не бы-
вавший в донских краях, так пра-
вильно понял обстановку, настро-
ение, даже пейзаж, так повелительно
и человечно напомнил о священном
солдатском долге, что политики
перед атакой читали бойцам вслух
эти фельетоны. Кому из писателей
выпадала такая честь?

— Узнают ли когда-нибудь рево-
люционные солдаты мои стихи, —
писал Виктор Гюго уже в преклон-
ном возрасте. Русские солдаты зна-
ют своих поэтов.

Общезвестен успех симоновской
лирики. Присхождение этого успех-
а тоже понятно: стихи Симонова
ответили внутренней потребности
человека на войне — разобраться в
своих отношениях с прошлым, по-
размыслить, увидеть себя вновь в
круту чувств довоенного мира. Раз-
думье этой поэзии заразительно —
оно касается тех сторон жизни, ко-
торые никогда не умирают в созна-
нии, они могут некоторое время не
напоминать о себе, но вот неболь-
шой толчок — и возвращается пре-
жняя острота чувства. Это не только
любовь и верность, это молодость,
весь внутренний мир, сама жизнь с
ее неурядицами и увлечениями, с
ее юношеской верой в будущее.

Кто-то хорошо сказал, что на
войне люди учатся слушать тиши-
ну — и в эти минуты тишины стихи
Симонова необходимы. Симонов при-
ходит к читателю не только в ми-
нуты раздумья. Универсальный та-
лант — он и поэт, и драматург, и
очеркист. Очерки Симонова о войне
это не только увлекательный рас-
сказ о виденном, но и объяснение
виденного. О чем бы он ни пи-
сал — о боях под Сталинградом, о
поездке в Феодосию, о полводной
лодке или блиндаже, он всегда пе-
реносит нас в сферу описываемого
действия — нам кажется, будто мы
его спутники, так материально
обозначен мир в его очерках, появ-
ляющихся редко, но зато в самые
напряженные дни войны.

Любопытство Симонова ненасытно:
чтобы удовлетворить его, он не
остановится ни перед какой опас-
ностью. Современник, он хочет быть
очевидцем и участником самого
главного в нашей жизни.

Тоже современник и участник
войны — Вацлава Василевская иначе
видит и иначе описывает мир. Она
тоже хочет быть близкой к событи-
ям, но не для того, чтобы тотчас же
на них откликнуться. Свое призва-
ние она видит в другом — задача
писателя представить мир уже не в

разрозненных событиях. а дать картину общего — весь народ в борьбе.

В. Василевская наблюдает и отвечает выбор. догадывается и ставит цель. Более года пробыв на фронте, В. Василевская написала повесть — «Радуга», которая ответила на самый жизненно важный для нас вопрос, почему непобедим советский народ? Не только потому, что на нашей стороне сила и справедливость, что вместе с нами демократические народы, что миллионы немцев уже перебиты, но и потому, что нельзя победить народ, который не хочет поражения.

Из книги В. Василевской мы узнаем, что хотя линия фронта отодвинулась на восток, война на Украине не прекращалась и не прекращается. Народ не отказался от своих идей и своего порядка — жизнь там не наладилась, хозяйственный быт не сложился, административное устройство не приняло устойчивых форм. Страдания не сломили дух народа — ни один честный украинец не бросил оружия, не сдастся на милость захватчиков — вот главный вывод повести Василевской. Но «Радуга» не просто доставляет нам приятное сознание того, что победа будет за нами. Василевская напоминает о наших обязанностях: каждая строка ее повести торопит — медлить нельзя! Нас ждет Украина!

Известен случай, когда пулеметчик, окруженный и отстреливающийся от целой группы наступающих немцев, на вопрос своего командира (связь с ним поддерживалась до последней минуты): «что будете делать, когда кончатся патроны?» — сказал: — «читать рассказ Бориса Горбатова «О жизни и смерти».

Боец Иван Жеребков прочитал рассказ А. Довженко «Отступник» и «сильная внутренняя борьба захватила его всего, он стал утрюмым, нелюдным и, наконец, не выдержав, обратился к политруку: «Я не Иван Жеребков. — сказал он. — Я Прийма Павел, изменник, дезертир. Я бежал из своей части и случайно, под чужой фамилией, попал к вам. Я предатель. Уничтожьте меня, как тварь. А дети мои — шестеро их — и жена, они не виноваты, не судите их за меня». Рассказав это, Павел Прийма упал лицом на землю и за-

плакал при людях, в жестоком стыде за позор свой, в стыде и раскаянии за преступление» (об этом случае рассказал П. Павленко в своей статье «Торжество»).

Литература стала существенной потребностью человека. Она приходит к нему в трудные минуты и отвечает на его мысли, она служит образцом и напоминает о долге, она вступает за его права и сопровождает его на всем пути сознательной жизни, иногда вплоть до самой смерти.

Краснодарский педагог И. С. Одинцов (позднее в пути мы узнали, что он умер, так и не добравшись до Туаше) был прав, когда писал в своих записках, что русская поэзия всегда была современной и действенной, и что это и есть главная черта литературы социалистического общества. Последняя запись Одинцова гласила следующее: «Что такое инженер человеческих душ? Объяснить это сталинское слово».

Литература оказалась необходимой обществу именно потому, что она стала «инженерией душ», на войне, где жизнь человеческая требует всякую цену, она научила дорожить истинной человечностью. Для этого нужно было понять, что от поведения каждого из нас — без всякого преувеличения — зависит судьба мира.

Русский человек никогда не чувствовал себя так гордо, как во время этой справедливой войны.

* * *

Году в 1935 или 1936 немцы выпустили книжонку — точного названия я не помню, оно было длинное, путаное и темное — смысл же его был такой: военный потенциал немецкой литературы.

Некий доктор Кох объяснял в этой книге своим читателям, что современная ему литература плоха потому, что она не агрессивна, но вот пробьет час войны, и тогда литература обогатится новым опытом и новыми чувствами. Уже одно предвещание близкой войны создаст импульс для поэзии — в таком, примерно, духе рассуждал ученый доктор.

Немцы ведут войну уже более трех лет; шестнадцать месяцев они

доют с нами. Импульсы для поэзии, можно сказать, внушительные. Что же появилось в немецкой литературе?

Несколько мистических романов, легких и грязных, с тайнами превращения, с символикой снов, со всем вздором «браминской мудрости», серия уголовных хроник — одно время заперщенных, а теперь снова получивших массовое распространение; публицистика, типа уже цитированного Магнуса Вебера, — так называемая идеология «крови и почвы». Но и такая душещипательная литература в последние месяцы появляется все реже и реже. Недаром штутгартская газетка жалуется на «оскудение немецкой фантазии».

Просматриваешь немецкие издания — июльские, августовские номера. Вот большая гамбургская газета. Что она печатает по жанру, так сказать литературы. Каннибальские очерки о подвигах несуществующих лейтенантов, единоборствующих с целым батальоном русских — тут обязательно должен быть пейзаж, причем немцы так торопятся к югу, что под Ростовом у них растут лианы (куда девалась хваленая немецкая точность?); потом описание внешности героя — тошнотворно одинаковое, точно все лейтенанты штампуются на пуговичной фабрике; затем несколько упоминаний о довоенных привычках героя — здесь размах уже большой — от футбола до рыбной ловли; далее следует описание самого подвига — тут идет просто звуковая запись: кузнечики жужжали, миномет жужжал, сверху жужжало и снизу жужжало — потом грохало, потом визжало, и, наконец; триста русских удрали, а лейтенант улыбнулся. В эту самую минуту к нему подошел военный корреспондент и спросил его мнение о перспективах войны: когда кончится война и на каких рубежах? Лейтенант улыбнулся еще раз и ответил: самое большое через месяц, а рубежи, он думает, где-нибудь на Урале.

Примерно, такие очерки и представляют жанр военно-документальной литературы. Кроме того, писатели, склонные к публицистике, пишут статьи об «экспансии духа». Но то, что называется «экспансия духа», есть на самом деле подсчет хлебных фондов, и горькие жалобы

на то, что полявскал и — тактико-ская провинция, врид ли, в состоянии будут прокормить части, действующие на южном направлении фронта.

Печатаются романы с продолжением — предпочтительно из солдатской жизни — романы эти наполовину порнография, наполовину мещаская святочная дребедень: молодой рабочий ищет спутницу жизни — на этом поприще его постигают неудачи. Одна неудача, другая, он отчаивается, сходит с круга: начинает посещать злачные места — тут фантазия автора простор. Вместе с ним мы отправляемся в путешествие по гамбургскому дну — калейдоскоп уродств: проститутки с Гаванских островов, матрос — медицинский университет, излечивший сифилис и заболевший им вторично, нравы публичных домов и, конечно, тарифы, где сколько брали. Прододелав такое путешествие, герой попадает на войну — имеется в виду война 1914 года — где-то на полях Франции герой неожиданно догадывается, что он прожил непутевую жизнь. В ту же ночь его ранят. В госпитале он знакомится с чистой девушкой — любовь преобразует старого пропойцу и развратника — отныне начинается идиллия и райские кущи. У счастливых супругов вскоре рождается сын, уродец, недоносок. Но правильное немецкое воспитание спасает мальчика от рахита и других еврейских болезней. Проходит двадцать лет, и престарелые родители наслаждаются счастьем, получая письма от своего первенца — танкиста, сражающегося под Воронежем.

Мораль романа простая — лечите детей от рахита, остерегайтесь алкоголя и дурных знакомств. Все вместе это называется новым реализмом, несущим обновление немецкой литературе.

В духе такого же нового реализма пишутся и стихи. Стихов в немецких газетах много, очень много. Это или модная одно время «поэзия руин» — картины сожженных городов, покинутых жилищ, пустынных дорог, или совершенно мирное слякотство — о вечернем закате, о девушке с лавандой и, иногда, о рыжем ефрейторе с васильком в петлице. Насчет руин в последнее вре-

мы стали писать поменьше, насчет заката и лаванды побольше.

Вот, собственно, и все, что надо сказать о современной гитлеровской литературе. Не зря Геббельс жалуется на оскудение немецкой импровизации, а в специальной военной инструкции говорится, что «литераторы, находящиеся в армии, пишут тревожно мало и все в том же тоне скучной объективности».

Доктор Кох жестоко ошибся. Война не способствовала процветанию литературы в гитлеровской империи. Война похоронила последние иллюзии даже у самых наивернейших бардов тирольского шпика.

* * *

Мы никогда не благословляли войну, не бряцали оружием, не отдавали своих шестилетних сыновей в казармы, не путали Фельдфебеля с Вольтером, не называли луну ориентиром. Мы смотрели в глаза будущему и хорошо знали, что пскуда в мире существуют темные силы хаоса, откуда насилне есть государственньй порядок на огромной части европейского пространства, война может начаться завтра, может быть, даже сегодня. Нашим поэтам

война не казалась нежным цветком. Биологи не видели в ней источник обновления крови, а правительство не обещало нам военной добычи колониальных земель. Никаких иллюзий — война есть война.

Война потребовала от нас нечеловеческого напряжения сил. Мы взорвали Днепротэс, Николаевские нефть и Майкопские промысла. Мы и доли еще совсем недавно, как теки Клейста под Армавром давили своими гусеницами старух и детей. Мы узнали, что такое огонь, тол и смерть.

Лондонские газеты передают содержание беседы видного американца с одной старой московской работницей.

— Должно быть, вы здорово устали? — спросил американец.

— Устали, — ответила женщина.

— Значит, вы хотите мира?

— Не мира, а победы, — поправила американца шестидесятилетняя русская женщина.

Мы не благословляли войну. И выиграв ее, будем вспоминать с уважением и уважением каждый день, который приблизил нас к победе. Война нас не испугала, не истощила нашего воображения и не рождала нашей поэзии.

Редколлегия: *Вс. Вишневский, А. Л. Исаев, В. Лебедев-Кумач, В. Луговской, Е. Михайлова* (отв. секретарь), *А. Новиков-Прибой, М. Соколовский, Л. Тимофеев*

Подписано к печати 18/XI 1942 г. А61337. 12½ печ. л. 18 уч.-авт. л.
В печ. л. 59 600 зн. Тираж 30 000 экз. Цена 5 руб. Зак. 74

18-я типография треста «Полиграфкнига», Москва, Шубинский пер., 10